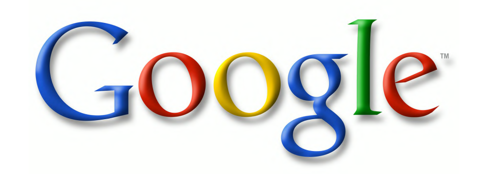


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

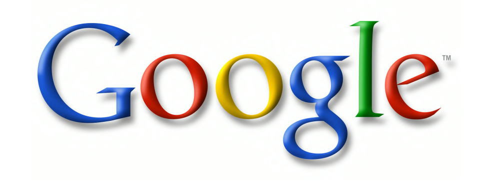
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использоваиия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

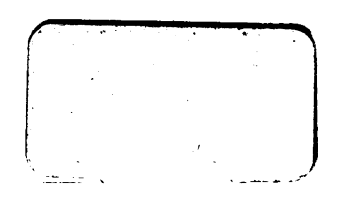
- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`


A 472412 DUPL


PROPERTY OF
University of
Michigan
Libraries
1817
ARTES SCIENTIA VERITAS





ИЗЪ ИСТОРІИ
НАШЕГО
ЛИТЕРАТУРНАГО И ОБЩЕСТВЕННАГО
РАЗВИТІЯ.

МОНОГРАФІИ И КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ

Piatkovskii, Aleksandr Petrovich

А. П. ПЯТКОВСКАГО.

Въ двухъ томахъ.

Томъ I.



САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Р. Голике, по Лиговкѣ, № 22.
1876.

891.79
P582iz
v.1

Текстъ набранъ по 14 листъ и отпечатанъ по 8 листъ въ Типографіи
К Плотникова, по Лиговкѣ, № 22.

61-327108

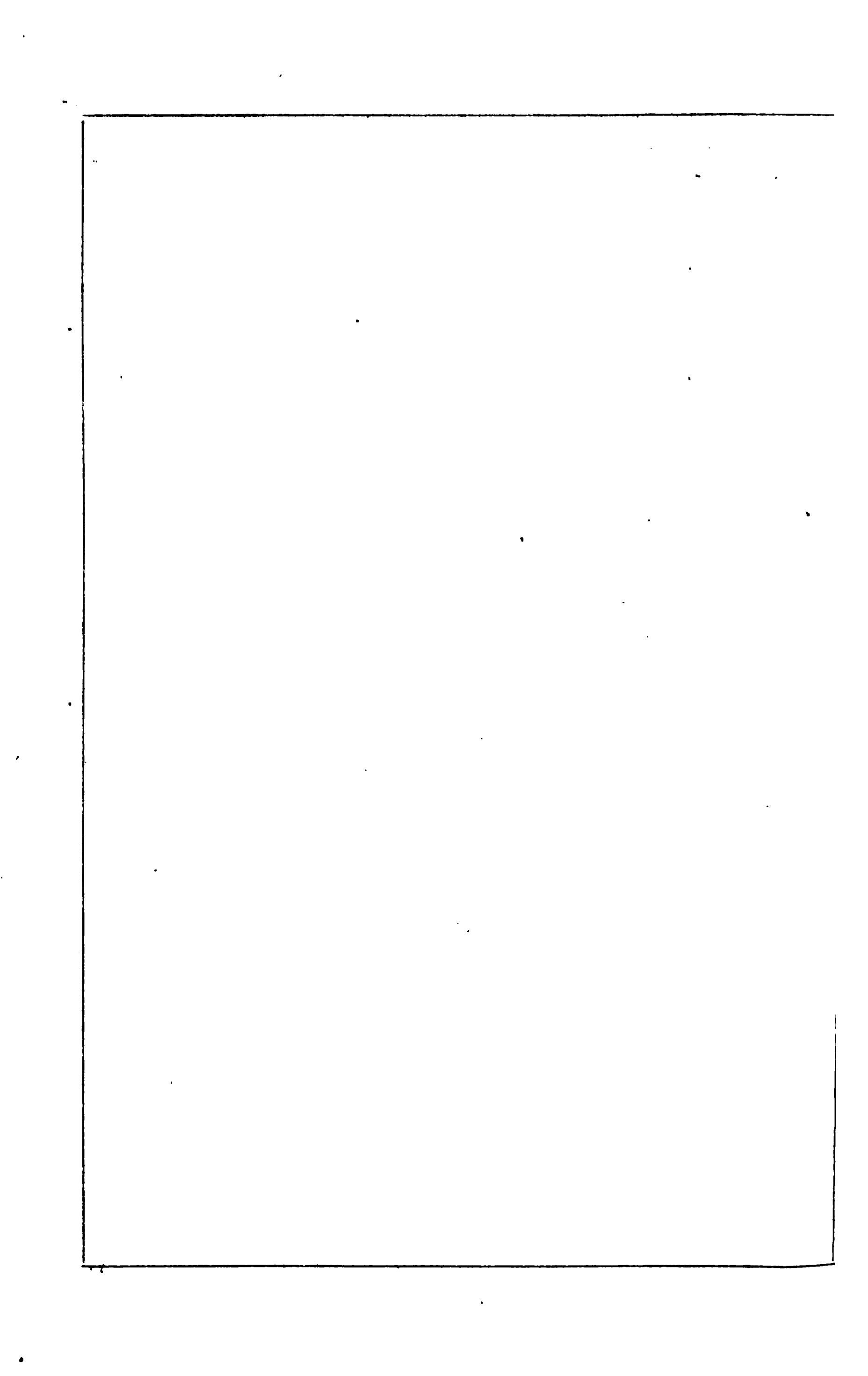
40
2740
P

ОГЛАВЛЕНІЕ

перваго тома.

Важнѣйшія опечатки, замѣченныя при печатаніи I тома:

страниц.	строка.	напечатано:	слѣд. читать:
7	15 св.	преставленіе	представленіе
9	3 св.	доставляли	доставляя
10	4 св. въ прим.	принадлежитъ	принадлежатъ
24	14 св. въ прим.	въ сочиненіи	въ сочиненіяхъ
34	11 св.	подъ	одъ
37	4 св.	практическая	критическая
46	14 св.	восп таемаго	воспитываемаго
62	8 сн.	вынести	вынеси
83	14 сн.	Петра бо	Петра
—	12—	лѣе	болѣе
127	3 сн.	«выгонятъ	«выгонять
131	10 св.	къ ней	къ Аннѣ
168	1 св.	только что этому	этому, только что
253	9 сн.	па	на



ПРЕДИСЛОВІЕ.

Статьи, собранныя мною въ этомъ изданіи, уже были напечатаны, въ свое время, въ разныхъ журналахъ, и выражаютъ собой результатъ моихъ продолжительныхъ занятій русской исторіей и литературой. Взятыя вмѣстѣ, онѣ, по крайнему моему разумѣнію, представляютъ довольно полный, не лишенный систематичности, очеркъ развитія нашей литературы и общественной жизни въ новый періодъ русской исторіи;—и вотъ причина, почему я рѣшился снова напомнить о нихъ читателямъ, заинтересованнымъ тѣмъ предметомъ, который разработывается, болѣе или менѣе подробно, въ предлагаемой на судъ ихъ книгѣ.

Авторъ.

С.-Петербургъ, 5 іюня 1875 г.

О ЖИЗНИ И СОЧИНЕНІЯХЪ Д. И. ФОНЪ-ВИЗИНА.

I.

Предки Фонъ-Визина. Дѣтскіе годы Дениса Ивановича и поступленіе въ университетскую гимназію. Поѣздка въ Петербургъ для представленія И. И. Шувалову. Первые литературные опыты Ф.-Визина. Поступленіе въ иностранную коллегію и служба при кабинетъ-министрѣ И. П. Елагинѣ. Переводъ «Іосифа» и комедія «Бригадиръ». Успѣхъ Бригадира при дворѣ и въ высшемъ петербургскомъ обществѣ. Фонъ-Визинъ въ придворной сферѣ. Порывы религіознаго скептицизма и раскаяніе. Служба при гр. Н. И. Панинѣ. Поѣздки за границу и письма изъ путешествія. «Недоросль». Болѣзнь Ф.-Визина и безъуспѣшное лѣченіе. Ф.-Визинъ и Екатерина II-я. Вопросы Ф.-Визина и отвѣты на нихъ Екатерины II-й. Проектъ сатирическаго журнала: «Другъ честныхъ людей или Стародумъ». Препятствія къ изданію. Переводъ Тацита. Предсмертный вечеръ Фонъ-Визина.

Родъ Фонъ-Визина не коренной русскій, хотя и совершенно обрусѣвшій въ нашей странѣ. Предки его были владѣтелями разныхъ городовъ въ нѣмецкихъ земляхъ, а потомъ—рыцарями братства Меченосцевъ. Только въ царствованіе Ивана Грознаго, во время войны съ Ливоніей, баронъ Петръ Фонъ-Визинъ (или, по старому правописанію, Ѳанъ-Ѳисинъ), взятый въ плѣнъ вмѣстѣ съ сыномъ своимъ Денисомъ, сдѣлался поневолѣ обитателемъ Руси, сохраняя однакожъ свою нѣмецкую религію. Но уже въ царствованіе Алексѣя Михайловича внукъ этого барона принялъ греко-восточное исповѣданіе и названъ въ крещеніи Аѳанасіемъ. Съ тѣхъ поръ потомки плѣннаго барона все болѣе и болѣе утрачивали черты своей нѣмецкой физіономіи: самую частицу ф о н ъ они стали писать слитно

съ своею фамиліей, и это соединеніе удерживается, по ихъ примѣру, многими до настоящаго времени. Отецъ Дениса Ивановича, Иванъ Андреевичъ, служилъ въ ревизіонъ-коллегіи и имѣлъ собственный домъ въ Москвѣ, недалеко отъ университета. Судя по свѣдѣніямъ, сообщеннымъ о немъ въ «Чистосердечномъ признаніи» его сына, это былъ человѣкъ «большаго здраваго разсудка, не имѣвшій случая просвѣтить себя ученіемъ». Изъ массы тогдашнихъ чиновниковъ онъ выдѣлялся двумя качествами: независимостью своего характера, не допускавшей его до низкопоклонства и лести, и честностью по службѣ, благодаря которой онъ не прибавилъ ничего къ своему родовому, въ 500 душъ, имѣнію. «Государь мой,—говорилъ онъ обыкновенно просителю, являвшемуся къ нему съ подарками:—сахарная голова не есть резонъ для обвиненія вашего соперника; извольте ее отнести назадъ, а принесите законное доказательство вашего права». Иванъ Андреевичъ былъ женатъ два раза: въ первый разъ онъ женился по великодушію, чтобы имѣніемъ своей жены, 70-лѣтней старухи, выкупить промотавшагося брата, въ другой—по любви. Отъ этого втораго брака родился у него, въ 1744 г., сынъ Денисъ. Дѣтскіе годы Фонъ-Визина въ домѣ его отца не представляютъ ничего оригинальнаго: мальчикъ, какъ и всѣ его однолѣтки того времени, слушалъ сказки деревенскаго мужика, отъ которыхъ морозъ подиралъ у него по кожѣ, и увидалъ очень скоро карты съ красными задками, услаждавшія досугъ взрослыхъ людей; выучившись рано грамотѣ, онъ, во время всенощныхъ и великопостныхъ службъ на дому, читалъ священныя книги, бормоча и съ трудомъ понимая прочитанное. Иногда отецъ Дениса Ивановича, человѣкъ весьма набожный, разсказывалъ

въ кругу своего семейства назидательныя исторіи, въ родѣ повѣсти о приключеніяхъ Іосифа Прекраснаго и извлекалъ слезы чувствительности у своихъ молодыхъ слушателей. Слѣдуя обычаю того времени, отецъ рано записалъ своего Дениса въ семеновскій полкъ (въ 1754 г.): но будущій авторъ «Бригадира» никогда не несъ дѣйствительныхъ тягостей военной службы. Иностранныхъ учителей не было у Дениса Ивановича, потому что эта роскошь приходилась не по средствамъ его отцу; съ открытіемъ же гимназіи при московскомъ университетѣ, Иванъ Андреевичъ не замедлилъ помѣстить туда своихъ сыновей: Дениса и Павла, бывшаго впослѣдствіи директоромъ этого самаго университета. Ученіе въ новооткрытой гимназіи шло плохо: учители рѣдко ходили въ классы, а если и ходили, то проку отъ ихъ ученія было мало. Преподаватель Чернявскій, обучавшій ариѳметикѣ, пилъ смертную чашу; учитель латинскаго языка, Яремскій, воспитанникъ петербургской академіи наукъ, по нѣскольку мѣсяцевъ не являлся на уроки, и докторъ, котораго посылали къ нему для освидѣтельствованія, находилъ, что онъ или пропалъ изъ дому, или былъ пьянъ съ утра. Не мудрено, что при подобныхъ наставникахъ экзамены въ гимназіи производились такъ, какъ они описаны самимъ Фонъ-Визиномъ въ его мемуарахъ: «Наканунѣ экзамена, говоритъ онъ, дѣлалось приготовленіе: учитель пришелъ въ кафтанѣ, на коемъ было пять пуговицъ, а на камзолѣ четыре. Удивленный сею странностью, спросилъ я учителя о причинѣ. «Пуговицы мои вамъ кажутся смѣшны, говорилъ онъ, но онѣ суть стражи вашей и моей чести, ибо на кафтанѣ значутъ пять склоненій, а на камзолѣ четыре спряженія; итакъ, продолжалъ онъ, ударяя по столу рукою,

извольте слушать всѣ, что̀ говорить стану. Когда станутъ спрашивать о какомъ нибудь имени, какого склоненія, тогда примѣчайте, за которую пуговицу я возьмусь; если за вторую, то смѣло отвѣчайте: втораго склоненія. Съ спряженіями поступайте, смотря на мои камзольныя пуговицы, и никогда ошибки не сдѣлаете [1]). Вслѣдствіе догадливости учителя, экзаменъ изъ латинскаго языка сошелъ съ рукъ благополучно. Менѣе удаченъ былъ экзаменъ изъ географіи, на которомъ ни одинъ изъ учениковъ не отвѣтилъ точно на вопросъ: куда впадаетъ Волга? Кто говорилъ: въ Черное, кто—въ Бѣлое море; Фонъ-Визинъ поступилъ откровеннѣе и прямо сказалъ: не знаю. Но несмотря на недостатокъ трудолюбивыхъ преподавателей, Фонъ-Визинъ учился, сравнительно съ другими, хорошо и успѣлъ вынести изъ гимназіи кое-какія познанія въ латинскомъ и нѣмецкомъ языкахъ, а также въ словесныхъ наукахъ. Начальство отличало его, какъ способнѣйшаго ученика, то награждая медалью, то поручая произнести рѣчь на торжественномъ актѣ, на тему «щедрости и прозорливости Ея Императорскаго Величества, всещедрой музъ основательницы и покровительницы». Въ 1758 г. Иванъ Ивановичъ Мелиссино, тогдашній директоръ университета, задумалъ съѣздить въ Петербургъ для личныхъ объясненій съ кураторомъ—Иваномъ Ивановичемъ Шуваловымъ и взялъ съ собою на показъ десять лучшихъ воспитанниковъ гимназіи. Въ этомъ числѣ были: Яковъ Булгаковъ, Денисъ Фонъ-Визинъ и Григорій Потемкинъ. Въ Петербургѣ Фонъ-Визинъ

[1]) Этимологіи латинскаго языка обучали три преподавателя: Константиновъ, Анничъ и Фрязинъ. Кто изъ нихъ распорядился такъ остроумно—рѣшить нельзя.

поселился у своего дяди и черезъ нѣсколько дней по пріѣздѣ былъ представленъ куратору, который встрѣтилъ юношей весьма ласково, а одного изъ нихъ, именно Фонъ-Визина, подвелъ къ своему знаменитому гостю, Ломоносову. Послѣ обѣда, въ тотъ же день воспитанниковъ повезли во дворецъ, на куртагъ. Интересно впечатлѣніе, произведенное на юношу Фонъ-Визина первымъ пріѣздомъ ко двору, прославленному своимъ блескомъ и пышностью. «Признаюсь искренно, говоритъ онъ, что я удивленъ былъ великолѣпіемъ двора нашей императрицы. Вездѣ сіяющее золото, собраніе людей въ голубыхъ и красныхъ лентахъ, множество дамъ прекрасныхъ, наконецъ огромная музыка—все сіе поразило зрѣніе и слухъ мой, а дворецъ казался мнѣ жилищемъ существа выше смертнаго». Но ничто въ Петербургѣ такъ не поразило Фонъ-Визина, какъ театральныя преставленія, которыя ему случилось видѣть въ первый разъ въ жизни. Давали комедію: Генрихъ и Пернила. «Дѣйствія, произведеннаго во мнѣ театромъ—пишетъ Фонъ-Визинъ въ своемъ «Чистосердечномъ признаніи»,—почти описать невозможно: комедію, видѣнную мною, довольно глупую, считалъ я произведеніемъ величайшаго разума, а актеровъ—великими людьми, коихъ знакомство, думалъ я, составило бы мое благополучіе. Я съ ума было сошелъ отъ радости, узнавъ, что сіи комедіанты вхожи въ домъ дядюшки моего, у котораго я жилъ». Въ домѣ своего дяди Фонъ-Визинъ познакомился съ Ѳедоромъ Григорьевичемъ Волковымъ и Иваномъ Аѳанасьевичемъ Дмитревскимъ. Въ это же время, посѣщая театръ, онъ сблизился съ сыномъ одного знатнаго господина, который сначала былъ съ нимъ очень любезенъ, но потомъ, узнавъ, что новый его

знакомый не говоритъ по французски, сталъ поднимать его на смѣхъ. Впрочемъ Фонъ-Визинъ скоро заставилъ его замолчать своими остротами, а чтобъ не подвергаться впередъ такому глумленію, рѣшился самъ выучиться французскому языку, что̀ отчасти и исполнилъ въ два года, по возвращеніи въ Москву. 26 апрѣля 1759 г., въ день коронаціи Елизаветы Петровны, Фонъ-Визинъ, вмѣстѣ съ другими воспитанниками, былъ произведенъ въ студенты, при торжественномъ собраніи всѣхъ московскихъ сановниковъ. Съ тѣхъ поръ начался для него собственно университетскій курсъ, по философскому факультету, который, одинъ изъ всѣхъ трехъ (еще были открыты факультеты: медицинскій и юридическій), изобиловалъ преподавателями. Между профессорами Фонъ-Визина былъ извѣстный въ свое время Рейхель, авторъ «Исторіи о Японскомъ государствѣ» и издатель журнала: «Собраніе лучшихъ сочиненій». Рейхель обратилъ вниманіе на своего даровитаго слушателя и помѣстилъ въ своемъ журналѣ четыре его переводныя статьи: 1) О зеркалахъ древнихъ; 2) Торгъ семи музъ, 3) О приращеніи рисовальнаго художества и 4) О дѣйствіи и существѣ стихотворства. По рекомендаціи кого-то изъ своихъ профессоровъ, Фонъ-Визинъ добылъ себѣ заказъ отъ московскаго книгопродавца—перевести басни Гольберга, перевелъ ихъ (1761 г.) и получилъ, вмѣсто гонорарія, отъ издателя на 50 рублей иностранныхъ книгъ. Книги эти, по собственному отзыву Фонъ-Визина, были «соблазнительныя и украшенныя скверными эстампами. Онѣ развратили воображеніе и возмутили душу». Рѣзкій переходъ отъ піэтистическихъ воззрѣній патріархальной семьи къ распущенности цинизма имѣлъ вредное вліяніе на организмъ юноши. Около

того же времени Фонъ-Визинъ сталъ развязнѣе на языкъ: острыя насмѣшки и эпиграммы стали облетать всю Москву, доставляли автору ихъ репутацію «злаго и опаснаго мальчишки». Фонъ-Визинъ самъ упоминаетъ, что въ это время онъ написалъ нѣсколько сатиръ, наполненныхъ «острыми ругательствами»; къ сожалѣнію эти первыя вспышки его сатирическаго ума не дошли до насъ во всей цѣлости, кромѣ басни «Лисица-казнодѣй», которая, вѣроятно, была написана около 1762 г. Вскорѣ послѣ басенъ Гольберга, Фонъ-Визинъ, еще будучи студентомъ, началъ переводить (1762г.)—съ нѣмецкаго перевода, а не съ французскаго оригинала,—нравоучительный романъ аббата Террассона: «Геройская добродѣтель или жизнь Сиѳа, царя Египетскаго». Окончаніе перевода сдѣлано было имъ уже въ Петербургѣ, въ 1763—68 гг. Нравоучительные романы, во вкусѣ Телемака и Велизарія, были тогда въ большомъ ходу: изъ нихъ почерпала публика и нравственныя правила, и политическую мудрость; они замѣняли то, что составляетъ теперь отдѣльную отрасль литературы—публицистику. Новый переводъ Фонъ-Визина былъ похваленъ Рейхелемъ въ его журналѣ; но самъ переводчикъ остался недоволенъ своимъ трудомъ и называлъ его несовсѣмъ удачнымъ. Къ университетской же эпохѣ относятся и два другіе его перевода: «Овидіевыхъ превращеній» и Альзиры Вольтера. Послѣдній переводъ, сдѣланный стихами, произвелъ, по словамъ Фонъ-Визина, много шума въ свое время, вѣроятно, благодаря имени Вольтера; но самъ по себѣ онъ былъ очень плохъ, такъ что переводчикъ не отдалъ его ни на театръ, ни въ печать. Даже незнаніе языка обнаружилось здѣсь въ сильной степени; такъ напр. стихъ Вольтера: «les marbres

impuissants en sabres façonnés» Фонъ-Визинъ перевелъ: безсильны марморы, въ песокъ преображенны», при чемъ явно смѣшалъ два сходно-звучащія французскія слова: sabre (сабля, мечъ) и sable (песокъ.) По этому поводу А. С. Хвостовъ [1]) въ своей сатирѣ на Фонъ-Визина, между прочимъ, говоритъ: «нельзя, чтобъ ты **меча** съ **пескомъ** не распозналъ». Въ 1762 г. Фонъ-Визинъ кончилъ курсъ въ университетѣ и, вскорѣ по пріѣздѣ двора въ Москву, опредѣлился на службу въ иностранную коллегію переводчикомъ съ латинскаго, французскаго и нѣмецкаго языковъ [2]). Тогдашній канцлеръ, Мих. Илар. Воронцовъ, поручалъ Фонъ-Визину переводъ важнѣйшихъ бумагъ, а когда пришлось отправить къ герцогинѣ шверинской пожалованный ей орденъ Св. Екатерины, то для этой поѣздки былъ избранъ также молодой переводчикъ, который и заслужилъ благосклонность самой герцогини и нашего министра при

---

[1]) Александръ Семеновичъ Хвостовъ (1753—1820) написалъ нѣсколько шутливыхъ стихотвореній, оставшихся въ рукописи, и Оду къ безсмертію, напеч. въ «Собесѣдникѣ любителей Россійск. Слова». Ему же принадлежитъ: переводъ комедій Теренція (1777), переводъ статей о Португаліи изъ всеобщей географіи Бюшинга и оригинальная комедія: «Оборотень».

[2]) Въ подлинномъ прошеніи, поданномъ Фонъ-Визиномъ въ гос. коллегію иностранныхъ дѣлъ (въ октябрѣ 1762 г.) объ опредѣленіи его въ эту коллегію, онъ писалъ: «Въ 1754 г. написанъ я въ оный (семеновскій) полкъ въ солдаты и отпущенъ для обученія наукъ въ имп. московскій университетъ, въ которомъ обучался латинскому, французскому и нѣмецкому языкамъ и разнымъ наукамъ и за обученіе произведенъ въ полку по порядку до нынѣшняго моего чина, а въ университетѣ студентомъ». Между тѣмъ у кн. Вяземскаго въ «краткой запискѣ о службѣ Ф. В., извлеченной изъ офиціальныхъ бумагъ», сказано, что онъ вступилъ въ службу въ 1755 г. Это невѣрно, потому что 1754 годъ постоянно означается и въ «Спискахъ находящимся у статскихъ дѣлъ... съ показаніемъ каждаго вступленія въ службу и въ настоящій чинъ».

ея дворѣ. Это была первая заграничная поѣздка Фонъ-Визина; послѣ онъ совершилъ ихъ еще три, въ разныя мѣста, то по болѣзни жены, то самъ лѣчась отъ тяжкой болѣзни. 8 октября 1763 г. Фонъ-Визинъ, числясь на службѣ въ иностранной коллегіи, былъ прикомандированъ для нѣкоторыхъ дѣлъ къ кабинетъ-министру Ивану Перфильевичу Елагину и состоялъ при немъ болѣе шести лѣтъ. Служба при Елагинѣ осталась памятна для Фонъ-Визина лишь по однимъ непріятностямъ, перенесеннымъ имъ отъ своего сослуживца, Владиміра Игнатьевича Лукина, извѣстнаго драматическаго писателя того времени. Самъ Елагинъ сначала, повидимому, былъ добръ и ласковъ къ своему подчиненному; но о его служебной карьерѣ заботился весьма мало. Потомъ они и совсѣмъ разссорились. Фонъ-Визинъ въ 1768 г. писалъ къ своимъ родителямъ: «Въ производствѣ моемъ надежды никакой нѣтъ. По крайней мѣрѣ Иванъ Перфильевичъ о томъ, кажется, уже забылъ; напоминаніе же мое было бы излишне. Онъ меня любитъ; да вся его любовь состоитъ въ томъ, кажется, чтобы со мною обѣдать и проводить время. О счастьѣ же моемъ (т. е. о служебной карьерѣ) не рачитъ онъ нимало, да и о своемъ не много помышляетъ»; а въ сентябрѣ того-же года онъ совсѣмъ рѣшился оставить службу у «этого урода», какъ писалъ своему отцу. Что̀ было причиною ссоры Фонъ-Визина съ Лукинымъ: зависть ли Лукина къ дарованіямъ юноши, отбивавшаго у него первенство въ кабинетѣ начальника, насмѣшки ли Фонъ-Визина надъ литературными трудами обидчиваго автора?— рѣшить этотъ вопросъ довольно трудно, тѣмъ болѣе, что мы имѣемъ объ этой ссорѣ только одностороннее свидѣтельство

самого Фонъ-Визина, который могъ быть и несправедливъ къ своему сопернику, если не въ литературѣ, то въ службѣ. Впрочемъ сторону Фонъ-Визина поддерживаютъ въ этомъ случаѣ отзывы лучшихъ сатирическихъ журналовъ екатерининскаго времени, единогласно нападавшихъ на Лукина за его необыкновенную самонадѣянность и литературное самохвальство. Какъ бы то ни было, но Фонъ-Визинъ не щадилъ красокъ для изображенія Лукина въ самомъ дурномъ и ненавистномъ видѣ. «Клянусь вамъ Богомъ—писалъ онъ роднымъ—что невозможно представить себѣ на мысль всѣ тѣ злости, всѣ тѣ бездѣльническія хитрости, которыя употреблялъ Лукинъ къ поврежденію меня въ мысляхъ Ивана Перфильевича и всей его фамиліи. И дѣйствительно онъ сдѣлалъ было то, что я, несмотря ни на бѣдность свою, ни на то, что долженъ службою искать своего счастія, принужденъ былъ оставить службу». Ко времени службы при Елагинѣ относится знакомство Фонъ-Визина съ однимъ княземъ, молодымъ писателемъ, который ввелъ его въ общество людей невѣрующихъ. Лучшее препровожденіе времени въ этомъ обществѣ состояло въ богохуленіи и кощунствѣ. «Въ первомъ, говоритъ Фонъ-Визинъ, не принималъ я никакого участія и содрогался, слыша ругательства безбожниковъ; а въ кощунствѣ игралъ я и самъ не послѣднюю роль... Въ сіе время сочинилъ я посланіе къ Шумилову, въ коемъ нѣкоторые стихи являютъ тогдашнее мое заблужденіе, такъ что отъ сего сочиненія у многихъ прослылъ я безбожникомъ». Ученіе энциклопедистовъ, распространявшееся тогда по Европѣ, проникло и въ Россію; въ немъ замѣтны были зародыши двухъ философскихъ системъ: деистической и соб-

ственно матеріалистической или атеизма. Вольтеръ, не будучи христіаниномъ въ конфессіональномъ смыслѣ, признавалъ еще въ явленіяхъ жизни и природы высшее, регулирующее начало; другіе энциклопедисты, какъ напр. Гельвецій и Дидро, совсѣмъ отвергали деистическій принципъ. Нашъ русскій, доморощенный атеизмъ ведетъ, какъ извѣстно, свою генеалогію отъ Вольтера. Кое-кто читалъ у насъ Гельвеція и читалъ съ пониманіемъ, но большинство такъ называемыхъ волтеріанцевъ придерживалось въ своемъ безбожіи острыхъ фразъ и кощунственныхъ выходокъ противъ религіи. Это было легкомысленное бреттерство, столько же задорное въ молодости, подъ вліяніемъ горячей крови и застольныхъ бесѣдъ, сколько трусливое въ старости, подъ угрозою смертнаго часа и при нетвердой увѣренности въ отсутствіи адскихъ мукъ. Такое кощунство, отнимая у человѣка поддержку простодушныхъ вѣрованій, не давало ему взамѣнъ ничего прочнаго, на чемъ можно было бы остановиться и успокоиться; разрушая нравственные принципы, созданные преданіемъ, не внушало другихъ, которые могли бы служить имъ противовѣсомъ или замѣною. Фонъ-Визинъ, увлекаясь природною остротою ума, падкаго на шутки и эпиграммы, являлся въ атеистическій кружокъ и вторилъ ему, когда рѣчь заходила о религіозныхъ предметахъ; но вскорѣ, послѣ нѣсколькихъ поѣздокъ въ Москву, гдѣ не было для него поддержки въ скептической бесѣдѣ,—прежняя компанія показалась ему далеко не столь пріятной; въ душѣ воскресли и живѣе заговорили воспоминанія дѣтства, осмѣянныя, но ничѣмъ основательно не разрушенныя. Подъ вліяніемъ этой внутренней реакціи онъ сталъ искать душеспасительныхъ бесѣдъ, и

Г. Н. Тепловъ предложилъ ему услуги въ «опредѣленіи системы вѣры». По совѣту Теплова, Фонъ-Визинъ перевелъ отрывки изъ книги Самуэля Кларка: «Доказательства бытія Божія и истины христіанской вѣры» и хотѣлъ приложить ихъ въ концѣ своего «Чистосердечнаго признанія», которое впрочемъ осталось не оконченнымъ.

Въ Петербургѣ же, при Елагинѣ, Фонъ-Визинъ началъ, а въ Москвѣ окончилъ (1766 г.) свою огригинальную комедію «Бригадиръ» и переводъ поэмы Битобе: «Іосифъ». По возвращеніи изъ отпуска Фонъ-Визинъ, кажется, первому Елагину прочелъ своего «Бригадира». Неизвѣстно: понравилась ли пьеса кабинетъ-министру; достовѣрно только, что не онъ первый выдвинулъ впередъ и пьесу, и автора. Както случилось Фонъ-Визину прочитать «Бригадира» въ обществѣ А. И. Бибикова и графа Григорія Григорьевича Орлова; чтеніе понравилось имъ, и Орловъ не преминулъ сообщить объ этой пріятной новости самой императрицѣ. Приглашенный въ Петергофъ, молодой авторъ прочелъ, послѣ бала, свою пьесу государынѣ. Сконфузившись сначала, онъ, ободренный похвалами слушательницы, входилъ болѣе и болѣе въ смыслъ чтенія и, когда окончилъ, то удостоился самаго милостиваго привѣтствія. Съ этой минуты и пьеса, и ея молодой авторъ сдѣлались достояніемъ всѣхъ петербургскихъ салоновъ. Великій князь Павелъ Петровичъ, графы Панины, графы Чернышовы, графъ А. С. Строгановъ, гр. А. П. Шуваловъ, графиня М. А. Румянцова, всѣ наперерывъ желали видѣть автора и слышать пьесу, заслужившую высочайшее одобреніе. Фонъ-Визинъ не зарывалъ въ землю своего таланта: читая хорошо, онъ увлекалъ всю знать своей

пьесой, пока не прошла на нее мода. Не знаемъ, какими отзывами почтили автора Чернышовы, Шуваловъ и др.; но Н. И. Панинъ, впослѣдствіи начальникъ Фонъ-Визина, произнесъ о пьесѣ весьма дѣльное сужденіе: «я вижу, сказалъ онъ автору, что вы очень хорошо нравы наши знаете, ибо бригадирша ваша всѣмъ родня; никто сказать не можетъ, что такую же Акулину Тимоѳеевну не имѣетъ—или бабушку, или тетушку, или какую нибудь свойственницу». Какъ прославленный авторъ Бригадира, Фонъ-Визинъ попалъ на обѣдъ къ одному графу, весьма знатному по чину, считавшемуся умнымъ и просвѣщеннымъ человѣкомъ. «Старый грѣшникъ—писалъ о немъ Фонъ-Визинъ—отвергалъ даже бытіе Вышняго Существа. Я поѣхалъ къ нему съ княземъ (о которомъ мы упоминали выше), надѣясь найти въ немъ, по крайней мѣрѣ, разсуждающаго человѣка; но поведеніе его иное мнѣ показало. Ему вздумалось за обѣдомъ открыть свой образъ мыслей или, лучше сказать, свое безбожіе при слугахъ. Разсужденія его были софистическія и безуміе явное, но со всѣмъ тѣмъ поколебали душу мою».

Вскорѣ Фонъ-Визинъ отправился за духовною помощью къ Г. Н. Теплову. Тепловъ назвалъ Фонъ-Визину еще другаго, подобнаго же атеиста, къ удивленію нашему, оберъ-прокурора св. синода: доказательство, что идеи французской философіи, хотя поверхностно, но довольно широко захватили въ свой кругъ наше высшее общество XVIII-го столѣтія. Этотъ оберъ-прокуроръ былъ даже такимъ рьянымъ пропагандистомъ новаго ученія, что, при встрѣчѣ въ гостинномъ дворѣ съ унтеръ-офицеромъ гвардіи, не преминулъ вразумить его сейчасъ же по вопросу о бытіи Божіемъ. На-

сколько осмысленны были въ то время эти атеистическія бравады, мы объяснили выше. Слѣдуетъ замѣтить, что, отказавшись въ теоріи отъ религіознаго вольнодумства, Фонъ-Визинъ никогда не покидалъ своего политическаго либерализма, что видно напр. изъ переведеннаго имъ (въ 1777 г.) «Похвальнаго слова Марку Аврелію». До болѣзни своей, Фонъ-Визинъ и въ религіозномъ благочестіи не заходилъ очень далеко.

Кромѣ графскихъ салоновъ, Фонъ-Визинъ посѣщалъ въ то же время и литературныя гостинныя, какъ напр. г-жи Мятлевой, у которой собирались по вечерамъ многіе литераторы: Херасковъ, Майковъ, Богдановичъ и др. «Пылкость ума его, необузданное, острое выраженіе всегда всѣхъ раздражало и бѣсило, но со всѣмъ тѣмъ всѣ любили его». (Фонъ-Визинъ, соч. кн. Вяземскаго, стр. 244). Какъ находчивъ былъ Фонъ-Визинъ въ разговорѣ и какъ ловко отражалъ онъ насмѣшку, можно заключить изъ слѣдующаго разсказа: А. С. Хвостовъ, въ стихотвореніи своемъ, назвалъ фонъ-Визина кумомъ музъ. «Можетъ быть,—замѣтилъ Денисъ Ивановичъ при чтеніи этой сатиры,—только навѣрно покумился я съ музами не на крестинахъ автора» [1]).

Придворные балы и маскарады, петербургскія увеселенія и большинство петербургскихъ знакомствъ мало привлекали къ себѣ Фонъ-Визина, не смотря на его общительность и

[1]) Кстати приведемъ еще анекдотъ о Фонъ-Визинѣ. Разсказываютъ, будто слушая чтеніе «Росслава» Я. Б. Княжнина, Фонъ-Визинъ спросилъ наконецъ автора: «Когда-же выростетъ твой герой? Онъ все твердитъ: я—Россъ, я—Россъ! пора-бы ему и перестать рости!» Княжнинъ отвѣчалъ на это: «Мой Росславъ совершенно выростетъ, когда твоего «Бригадира» произведутъ въ генералы».

лихорадочную подвижность ума. Въ натурѣ его всегда таилось какое-то хорошее, симпатическое начало, привлекавшее его только къ людямъ, которые имѣли съ нимъ что нибудь общее, которые могли бы достойно раздѣлять его къ нимъ привязанность. «Одинъ Богъ видитъ, писалъ онъ къ роднымъ изъ Петербурга, какъ мнѣ съ вами хочется увидѣться...»— «Я не лгу, писалъ онъ въ другомъ письмѣ, что здѣсь знакомства еще не сдѣлалъ. Съ кадетскимъ корпусомъ не очень обхожусь, затѣмъ что тамъ большая часть солдаты; а съ академіей—затѣмъ что тамъ большая часть педанты... Да сверхъ того слово знакомство, можетъ быть, вы не такъ понимаете, какъ я. Я хочу, чтобы оно было основаніемъ ou de l'amitié ou de l'amour; однако этого желанія по несчастію недостаточно и ниже тѣни къ исполненію онаго не имѣю».

Въ декабрѣ 1769 года Фонъ-Визинъ перешелъ отъ Елагина въ иностранную коллегію, къ графу Н. И. Панину, которому сталъ извѣстенъ, живя въ Петергофѣ. Это мѣсто было самое видное во всей служебной карьерѣ Фонъ-Визина: онъ былъ, по собственнымъ словамъ, «неотлучно при своемъ благодѣтелѣ до послѣдней минуты его жизни († 31 марта 1783 г.) и, сохраняя къ нему непоколебимую преданность, удостоенъ былъ всегда полной его довѣренности».—Не всѣ служившіе у гр. Панина были такъ честны въ отношеніи къ нему [1]); одинъ изъ нихъ «заплатилъ за всѣ благодѣянія (Панина) всею чернотою души и, снѣдаемъ будучи самолюбіемъ, алчущимъ возвышенія, вредилъ положенію своего

[1]) Кромѣ Фонъ-Визина, занимались при гр. Панинѣ: Петръ Васильевичъ Бакунинъ и Яковъ Яковлевичъ Убри.

благотворителя столько, сколько находилъ то нужнымъ для выгоды своего положенія». Разсказывали прежде и о Фонъ-Визинѣ, что, ходя къ Потемкину, своему бывшему университетскому товарищу, уже вошедшему въ силу, онъ передразнивалъ внѣшній видъ Панина и вообще старался унизить его въ глазахъ временщика; но это слѣдуетъ отнести къ разряду апокрифическихъ сказаній. Фонъ-Визинъ, правда, владѣя большимъ комическимъ талантомъ, любилъ и умѣлъ подтрунить надъ смѣшными сторонами своихъ знакомыхъ, слѣдовательно, онъ могъ дозволить себѣ гдѣ нибудь шутку и насчетъ гр. Панина; но сознательнаго желанія унизить гр. Панина, чтобы подслужиться Потемкину—нельзя допустить уже потому, что первая попытка въ подобномъ смыслѣ была бы тотчасъ передана Панину услужливыми наушниками и непремѣнно разссорила бы его съ Фонъ-Визиномъ. Къ тому же извѣстно, что въ характерѣ Фонъ-Визина совсѣмъ не было двоедушія; онъ никогда не добивался своихъ выгодъ ни посредствомъ личнаго низкопоклонства, ни путемъ своего таланта, и остается чистъ отъ всякаго подобнаго упрека. Не только предъ вельможами, но и предъ самою императрицею онъ держалъ себя независимо и конечно съ бо̀льшимъ правомъ, чѣмъ самъ авторъ приводимыхъ стиховъ, могъ сказать о себѣ:

. . . . . сердца моего товаровъ
За деньги я не продаю.

Отношенія Панина къ Фонъ-Визину оставались всегда самыми дружелюбными съ начала и до конца служебнаго поприща Фонъ-Визина. Что касается до личности самого графа Н. И. Панина, то онъ былъ однимъ изъ образован-

нѣйшихъ людей своего времени и очень даровитымъ государственнымъ человѣкомъ, искусно лавировавшимъ на дипломатическомъ полѣ. «По внутреннимъ дѣламъ — пишетъ о немъ Фонъ-Визинъ — гнушался онъ въ душѣ своей поведеніемъ тѣхъ, кои по своимъ видамъ, невѣжеству и рабству, составляютъ государственный секретъ изъ того, что въ націи благоустроенной должно быть извѣстно всѣмъ и каждому, какъ-то: количество доходовъ, причины налоговъ и проч. Не могъ онъ терпѣть, что по дѣламъ гражданскимъ и уголовнымъ учреждались самовластіемъ частныя комиссіи мимо судебныхъ мѣстъ, установленныхъ защищать невинность и наказывать преступленія». Настаивая на раскрытіи финансоваго положенія страны, ея доходовъ и расходовъ, графъ Панинъ касался самой важной болѣзни екатерининскаго царствованія. Чтобы не говорить голословно, вспомнимъ скандальную исторію банкира Сутерланда, который «былъ со всѣми вельможами въ великой связи, потому что онъ имъ ссужалъ казенныя деньги, которыя принималъ изъ государственнаго казначейства для перевода въ чужіе края по случавшимся тамъ министерскимъ надобностямъ» (Зап. Державина). Одному Потемкину перешло при этомъ 800,000 р., и вся эта сумма впослѣдствіи была принята императрицею на счетъ государственной казны. Вспомнимъ другой случай въ государственномъ заемномъ банкѣ, директоры котораго «вошли между собою въ толь короткую связь, что брали казенныя деньги на покупку брилліантовъ, дабы, продавъ ихъ императрицѣ съ барышемъ, взнести въ казну забранныя ими суммы и сверхъ того имѣть себѣ какой либо прибытокъ» (ibid.) Во внѣшнихъ сношеніяхъ графъ

Панинъ продолжалъ традиціонную Петровскую политику — ослабленія (но не разрушенія) Польши, которая и была наконецъ раздѣлена, вопреки его видамъ, между тремя сосѣдними державами, добивалъ Турцію и стремился ограничить морской деспотизмъ Англіи. Во всѣхъ этихъ дипломатическихъ сношеніяхъ принималъ участіе и Фонъ-Визинъ, который, являясь точнымъ исполнителемъ министерскихъ приказаній, вносилъ, въ тоже время, и свои мысли въ секретарскую работу, проходившую между его рукъ. Изъ частной переписки Фонъ-Визина съ нашими дипломатическими министрами того времени видно, что онъ пользовался довѣріемъ графа Н. И. Панина;—къ его помощи часто прибѣгали помянутыя лица: за полученіемъ орденской ленты, какъ Стакельбергъ, за удовлетвореніемъ личной обиды, какъ Марковъ, за скорѣйшей высылкой денегъ, какъ Зиновьевъ (посланникъ въ Мадридѣ), за прибавкой жалованья духовнику посольства, какъ Булгаковъ. Одинъ посылаетъ ему въ подарокъ бархатный кафтанъ, другой—зубочистки; третій хочетъ «прислать вина шампанскаго», если только пожелаетъ Фонъ-Визинъ и т. д. Даже грубый Сальдернъ (нашъ посолъ въ Варшавѣ), честившій Маркова par les épithètes diffamantes de sot et de miserable,— даже онъ любезничалъ съ Фонъ-Визиномъ въ письмахъ и спрашивалъ его мнѣнія о разныхъ политическихъ событіяхъ.— «Прошу, государь мой,—пишетъ Фонъ-Визину Обрѣсковъ,— когда праздное время излучите, посѣтить моихъ дѣтей, дать имъ хорошія наставленія къ ученію и поведенію, да и учителя ихъ побуждать ко всевозможному ихъ обученію». Особенно дружескій тонъ господствуетъ въ перепискѣ Фонъ-Визина съ Я. И. Булгаковымъ; сохранились также отвѣты на

его письма А. И. Бибикова [1]) и, судя по нимъ, авторъ Бригадира былъ весьма близокъ къ первому покровителю своего таланта (см. у князя Вяземскаго, стр. 72—79).

Кстати замѣтить, что въ ссорѣ секретаря русскаго посольства въ Варшавѣ Маркова съ посланникомъ Сальдерномъ Фонъ-Визинъ взялъ сторону обиженнаго, хотя Сальдернъ былъ въ то время еще очень силенъ въ мнѣніи графа Н. И. Панина. Служа при графѣ Н. И. Панинѣ, Фонъ-Визинъ вступилъ въ переписку съ братомъ его, Петромъ Ивановичемъ [2]), жившимъ въ отставкѣ, въ Москвѣ, при чемъ сообщалъ своему любознательному корреспонденту копіи съ интересныхъ дипломатическихъ бумагъ, конечно, не безъ вѣдома самого министра иностранныхъ дѣлъ. Эти короткія отношенія продолжались и по смерти графа Н. И. Панина.

[1]) Александръ Ильичъ Бибиковъ, генералъ-аншефъ, род. въ Москвѣ въ 1729 г. ум. въ Бугульмѣ въ 1774 г. Служба его началась съ 1746 г.; во время семилѣтней войны онъ былъ полковникомъ и отличился во многихъ сраженіяхъ. Въ 1766 г. костромское дворянство выбрало его депутатомъ въ комиссію для составленія новаго уложенія, а въ слѣдующемъ году императрица назначила его маршаломъ этой комиссіи. Съ іюня 1771 г. Бибиковъ начальствовалъ русскимъ корпусомъ въ Польшѣ, а въ концѣ 1773 г. былъ посланъ противъ Пугачева. Вскорѣ онъ заболѣлъ горячкою и умеръ, не успѣвъ подавить вооруженнаго возстанія.

[2]) Петръ Ивановичъ Панинъ род. въ 1721 г. ум. въ 1789. Онъ участвовалъ въ семилѣтней войнѣ и былъ главнымъ виновникомъ побѣды подъ Франкфуртомъ на Одерѣ. Въ 1769 г. онъ начальствовалъ второй арміей, назначенной противъ турокъ, а впослѣдствіи окончательно усмирилъ мятежъ Пугачева, по смерти А. И. Бибикова. Панинъ извѣстенъ былъ прямотою и честностію своего характера, за что и не пользовался при дворѣ особенною пріязнью. «Я никогда не была охотница до Петра Панина», говорила Екатерина, назначая его противъ Пугачева. Только государственная необходимость заставила императрицу рѣшиться на эту мѣру.

Въ 1773 г. состояніе Фонъ-Визина, жившаго до тѣхъ поръ почти однимъ жалованьемъ, неожиданно увеличилось. Графъ Н. И. Панинъ, окончивъ воспитаніе наслѣдника, получилъ между прочимъ въ награду 9000 душъ крестьянъ въ Бѣлоруссіи и изъ этого числа уступилъ (около 4-хъ тысячъ) тремъ своимъ сотрудникамъ. Между ними Фонъ-Визину досталось при дѣлежѣ 1180 душъ. Около того же времени Фонъ-Визинъ познакомился со вдовой Хлоповой, рожденной Роговиковой, и въ 1774 г. женился на ней, отчасти для того, чтобы прекратить сплетни, которыя стали распускать на счетъ ихъ взаимнаго расположенія. Въ приданое за женою онъ получилъ по тяжбѣ, имъ самимъ веденной, нѣкоторую сумму денегъ и домъ въ Галерной, цѣною въ 20,000 р. На эти средства Фонъ-Визинъ могъ предпринять три путешествія за границу и вести довольно прихотливую жизнь, которая, при дурномъ хозяйствѣ, скоро разстроила его далеко не огромное состояніе. По смерти Фонъ-Визина, жена его, оставленная всѣми знакомыми, много бѣдствовала, выпрашивая изъ нужды денегъ по мелочамъ. О первой поѣздкѣ или, точнѣе, о командировкѣ Фонъ-Визина за границу мы упоминали въ началѣ статьи; во второй разъ (собственно первое путешествіе) ѣздилъ онъ въ 1777—8 годахъ для поправленія здоровья своей жены и проѣхалъ чрезъ Варшаву, Дрезденъ, Франкфуртъ на Майнѣ, Страсбургъ, Ліонъ и Нимъ до Монпелье — цѣли своей поѣздки. Въ Монпелье пробылъ онъ около двухъ мѣсяцевъ для леченія жены и въ концѣ февраля 1778 г. пріѣхалъ въ Парижъ, справедливо почитавшійся центромъ умственной жизни Европы. Плодомъ этой поѣздки были извѣстныя его письма къ сестрѣ, Өедосьѣ

Ивановнѣ (въ замужествѣ Аргамаковой) и къ графу П. И. Панину,—письма, написанныя въ разномъ тонѣ, но исполненныя повтореній, такъ какъ они касаются однихъ и тѣхъ же лицъ и событій. За границей Фонъ-Визинъ держалъ себя, какъ знатный человѣкъ, и, пользуясь конечно своимъ офиціальнымъ положеніемъ при графѣ Н. И. Панинѣ, водилъ знакомство съ мѣстными аристократами и русскими посланниками. Въ Варшавѣ русскій посолъ сдѣлалъ визитъ его женѣ, а на другой день далъ обѣдъ, на которомъ познакомилъ своихъ гостей съ высшимъ польскимъ обществомъ. «Всякій вечеръ — писалъ Фонъ-Визинъ къ своей сестрѣ — мы званы на ассамблеи. Вчера поутру (17 сент. 1777 г.) посолъ пріѣхалъ къ намъ и сидѣлъ до обѣда, что здѣсь за величайшую отличность почитается. Онъ офрировалъ намъ домъ свой такъ, чтобы мы за нашъ собственный почитали. По пріѣздѣ королевскомъ въ первый куртагъ, посолъ ему меня представилъ. Король (Станиславъ-Августъ), подошедъ ко мнѣ, сказалъ съ видомъ весьма ласковымъ, что онъ знаетъ меня давно по репутаціи и весьма радъ видѣть меня въ своей землѣ. Потомъ спрашивалъ меня о здоровьѣ жены моей и долго ли здѣсь останемся... Посолъ нашъ всякій день звалъ меня обѣдать къ себѣ и возилъ меня съ визитами, которые мнѣ и возвращены; словомъ сказать, мы всякій день выѣзжаемъ, и время летитъ нечувствительно». Въ Парижѣ нашъ посланникъ, Барятинскій, самъ прискакалъ верхомъ къ Фонъ-Визину и обошелся съ нимъ, «какъ съ роднымъ братомъ». Здѣсь же Фонъ-Визинъ былъ свидѣтелемъ тріумфа, устроеннаго Вольтеру, и познакомился съ кружкомъ французскихъ писателей, управлявшихъ обще-

ственнымъ мнѣніемъ Европы. Но ни Вольтеръ, ни Дидро [1]), ни Руссо не привлекли къ себѣ его сочувствія, и онъ отзывается о всѣхъ энциклопедистахъ съ неудержимымъ цинизмомъ, доходящимъ даже до бранныхъ выраженій въ родѣ «урода» и «шарлатана»; въ особенности не посчастливилось д'Аламберу [2]), у котораго найдена была «премерзкая фигура и преподленькая физіономія». Источникъ негодованія Фонъ-Визина былъ впрочемъ довольно извинительный: его поразило то обстоятельство, что, по пріѣздѣ въ Парижъ брата одного изъ петербургскихъ временщиковъ, д'Алам-

---

[1]) Дени Дидро (1713—1784 г.) можетъ быть названъ главою энциклопедистовъ на томъ основаніи, что онъ, при участіи многихъ сотрудниковъ, издавалъ вмѣстѣ съ д'Аламберомъ «Энциклопедію», или громадный алфавитный сборникъ статей по всѣмъ наукамъ (Encyclopédie ou dictonnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une societé des gens de lettres). Это изданіе продолжалось въ теченіе 20-ти лѣтъ (1751—1772 г.). Вольтеръ (1694+1778 г.) принималъ живѣйшее участіе въ этой «Энциклопедіи»: онъ давалъ совѣты своимъ друзьямъ въ затруднительныхъ обстоятельствахъ, присылалъ статьи, предлагалъ перенести изданіе въ Лозанну и готовъ былъ употребить для него половину своего состоянія. Кромѣ Вольтера, въ «Энциклопедіи» участвовали: Бюффонъ, Монтескье, Гельвецій (1715+1771), Гольбахъ (1723—1789) и Кондильякъ (1715—1780). Три послѣдніе мыслителя принадлежатъ къ матеріалистической школѣ; ихъ философія выражается въ сочиненіи: Systême de la nature (Гольбаха), De l'esprit (Гельвеція), Traité des sensations (Кондильяка). Самъ Дидро тоже не былъ деистомъ и, если вѣрить разсказамъ, умирая, развивалъ свои отрицательные взгляды.

[2]) д'Аламберъ, род. въ Парижѣ въ 1717 г., ум. въ 1783 г. Знаменитый математикъ и философъ, редакторъ «Энциклопедіи», для которой онъ написалъ: Discours préliminaire. Въ 1758 г. д'Аламберъ оставилъ энциклопедію, и Дидро одинъ продолжалъ вести предпріятіе. Съ 1754 г. д'Аламберъ считался членомъ французской академіи, а въ 1772 году былъ избранъ ея секретаремъ. Между энциклопедистами онъ отличался спокойствіемъ и методичностью въ изложеніи статей, а также безупречнымъ благородствомъ своего личнаго характера.

беръ, Мармонтель и другіе писатели явились «въ передней засвидѣтельствовать свое нижайшее почтеніе» для того, какъ несправедливо полагалъ Фонъ-Визинъ, чтобы получить подарки отъ нашего двора. «Мое душевное почтеніе, говоритъ путешественникъ, совсѣмъ истребилось послѣ такого подлаго поступка». При этомъ строгій критикъ не сообразилъ только, что со стороны д'Аламбера, осыпаннаго любезностями русской императрицы, подобный визитъ къ брату ея приближеннаго былъ, по тогдашнимъ понятіямъ, дѣломъ простой учтивости, и что Мармонтель, котораго сочиненія жгли въ Парижѣ и переводили въ Петербургѣ, тоже могъ питать нелицемѣрное уваженіе къ Екатеринѣ II-й и пожелать выразить ей это уваженіе черезъ посредство близкаго лица. Таковы же были отношенія къ русскому двору Вольтера и Дидро. Окруженные знаками самаго лестнаго вниманія императрицы, они честно слали на Сѣверъ свои гимны и поощренія. Конечно, имъ доставались при этомъ небольшія выгоды (какъ напр., покупка библіотеки у Дидро, съ предоставленіемъ пожизненнаго пользованія ея владѣльцу); но эти выгоды были такъ ничтожны сравнительно съ другими наградами Екатерины II-й, что трудно рѣшиться обозвать ихъ подлостью, имѣя въ виду то, чего могли бы достигнуть эти люди, еслибъ они, въ самомъ дѣлѣ, заботились объ однѣхъ своихъ личныхъ выгодахъ. Д'Аламберъ отказался даже отъ огромнаго жалованья и чести быть при русскомъ дворѣ, чтобы не поступиться нимало своей независимостью. Къ тому же тонкая лесть и похвалы энциклопедистовъ были не безполезны для того дѣла, о которомъ хлопотали они. Но Фонъ-Визинъ уже мало сочувствовалъ тогда философіи французскихъ энцикло-

педистовъ, быть можетъ, и потому, что въ его родимой землѣ расплодилось слишкомъ много Иванушекъ (см. Бригадира), схватившихъ въ Парижѣ одни вершки европейской цивилизаціи. По нѣкоторой близорукости и дурно-направленной страсти къ пересмѣиванью, онъ не оцѣнилъ какъ должно другихъ, полезныхъ сторонъ этой пропаганды, и ея успѣхи, ея нравственныя завоеванія не были дороги для него. Тѣмъ не менѣе, Фонъ-Визинъ признавалъ отчасти заслуги энциклопедистовъ «въ искорененіи предразсудковъ», охотно читалъ ихъ сочиненія и позаимствовался оттуда въ тѣхъ же самыхъ письмахъ изъ путешествія. Подробнѣе объ этомъ мы скажемъ во второй части нашей статьи.

Въ промежутокъ между первымъ и вторымъ путешествіемъ Фонъ-Визинъ написалъ «Недоросля» (1782 г.), который имѣлъ еще болѣе успѣха, чѣмъ «Бригадиръ». Публика, по свидѣтельству современниковъ, «аплодировала эту пьесу (во время представленія) метаніемъ кошельковъ съ деньгами»; высшая знать была тоже ею очень довольна. Потемкину приписываютъ, по этому случаю, извѣстную фразу: «умри, Денисъ, или больше ничего не пиши». И словно повинуясь этому заклятію, Фонъ-Визинъ, дѣйствительно, не написалъ послѣ «Недоросля» ничего, выходящаго изъ ряду. Драматическіе отрывки его: «Выборъ гувернера» и др. появились послѣ «Недоросля», но по блѣдности фигуръ кажутся или копіями съ прежнихъ комедій, или первыми черновыми набросками для серьезной работы. Второе путешествіе Фонъ-Визина заграницу относится къ 1784—5 годамъ. Въ этотъ разъ онъ ѣздилъ собственно въ Италію, гдѣ пробылъ нѣсколько мѣсяцевъ и успѣлъ видѣть почти всѣ главные го-

рода. Здѣсь же купилъ онъ нѣсколько картинъ для торговаго дома Клостермана въ Петербургѣ, съ которымъ вошелъ въ коммерческія дѣла, продолжавшіяся до конца его жизни. Изъ этого путешествія онъ писалъ письма къ своей сестрѣ и въ нихъ осуждалъ Италію съ такою же строгостью, какъ и Францію. Снисхожденіе оказываетъ Фонъ-Визинъ только къ художественнымъ произведеніямъ этой страны. Любуясь ея превосходными бюстами и картинами, онъ изъявляетъ опасеніе, что самъ скоро «превратится въ бюстъ». Барскія привычки Фонъ-Визина, привившіяся къ нему волей-неволею на лонѣ крѣпостныхъ отношеній, обнаружились, какъ въ Парижѣ, такъ и въ Италіи: живя во Франціи, онъ удивлялся, что солдатъ садится рядомъ съ своимъ начальникомъ, чтобъ вмѣстѣ съ нимъ смотрѣть комедію; въ Италіи онъ страдалъ отъ «превеликихъ грубостей» почтальоновъ, доводившихъ его до изступленія. «Еслибъ не жена,—говоритъ онъ по поводу этихъ грубостей, — которая на тотъ часъ меня собою связала, я всеконечно потерялъ бы терпѣніе и кого-нибудь застрѣлилъ бы... Англичане то и дѣло стрѣляютъ почтальоновъ». Скромная и разсчетливая жизнь итальянцевъ не понравилась туристу, привыкшему къ блеску и пышности екатерининскаго двора. «Здѣсь первая дама, пишетъ онъ, изъ Рима, принцесса Санта-Кроче, у которой весь городъ бываетъ на конверсаціи и у которой во время съѣздовъ нѣтъ на крыльцѣ ни плошки. Необходимо надобно, чтобъ гостинный лакей (т. е. слуга гостя) имѣлъ фонарь и помогалъ своему господину взлѣзать на лѣстницу. Надобно проходить множество покоевъ, или, лучше сказать, хлѣвовъ, гдѣ горитъ по лампадочкѣ масла. Гостей ничѣмъ

не потчиваютъ и не только кофе или чаю, ниже воды не подносятъ».

Оставивъ Венецію въ маѣ 1785 г., Фонъ-Визинъ возвратился въ августѣ того же года въ Москву и вскорѣ (29 авг.) пострадалъ отъ паралича, который до конца жизни отнялъ у него свободное употребленіе языка и лѣвой руки и ноги. Кажется, что первое предвѣстіе паралича почувствовалъ Фонъ-Визинъ еще въ Римѣ: по крайней мѣрѣ, въ письмѣ изъ Вѣны (май 1785 г.) онъ жалуется на «слабость нервовъ и онѣмѣніе лѣвой руки и ноги». Уже съ цѣлью «лечиться отъ этихъ непріятныхъ послѣдствій болѣзни проѣхалъ онъ, по совѣту вѣнскаго медика, въ Баденъ, гдѣ принималъ сѣрныя ванны. Послѣ паралича, поразившаго его въ Москвѣ, Фонъ-Визинъ сильно упалъ тѣломъ и духомъ. Куда дѣвались его прежняя бодрость въ житейскихъ невзгодахъ, насмѣшки надъ людскими глупостями, иронія надъ предразсудками! Строгихъ теоретическихъ убѣжденій никогда у него не было и, даже послѣ обращенія къ Самуэлю Кларку, его неистощимый юморъ заходилъ за предѣлы того, что самъ онъ считалъ удобнымъ и открытымъ для насмѣшки. Такъ напр. въ «Недорослѣ» онъ глумился надъ Кутейкинымъ съ его ветхозавѣтнымъ языкомъ; а въ письмахъ изъ Франціи (къ гр. Панину) говорилъ о двухъ принцахъ королевскаго дома, изъ которыхъ: «одинъ имѣетъ великую претензію на царство небесное и о земныхъ вещахъ мало помышляетъ. Попы увѣрили его, что, не отрекшись вовсе отъ здраваго ума, нельзя никакъ понравиться Богу, и онъ дѣлаетъ все возможное, чтобъ стать угодникомъ Божіимъ. Другой побѣдилъ силу

вѣры силою вина: мало людей перепить его могутъ». Но со времени болѣзни такія вольнодумныя поползновенія, упорно сохранившіяся въ немъ отъ юныхъ лѣтъ, наконецъ стали ему казаться предосудительными, и онъ все строже и строже подавлялъ ихъ въ себѣ. Говорятъ, что, сидя въ московской университетской церкви, онъ обращался къ студентамъ съ такою рѣчью, указывая на свои разбитые члены: «Дѣти, возьмите меня въ примѣръ: я наказанъ за вольнодумство; не оскорбляйте Бога ни словами, ни мыслью!» Преданіе это вполнѣ достовѣрно: изъ исповѣди Фонъ-Визина и «разсужденій о суетной жизни человѣческой» видно, что мѣра его самоуниженія была дѣйствительно велика. «Лишился я пораженныхъ членовъ—пишетъ онъ въ «разсужденіи»—въ самое то время, когда, возвратясь изъ чужихъ краевъ, упоенъ былъ мечтою о моихъ знаніяхъ, когда безумное на разумъ мой надѣяніе изъ мѣръ выходило, и когда, казалось, представлялся случай къ возвышенію въ суетную знаменитость. Тогда Всевѣдецъ, зная, что таланты мои могутъ быть болѣе вредны, нежели полезны, отнялъ у меня самого способы изъясняться словесно и письменно, и просвѣтилъ меня въ разсужденіи меня самого». Третье путешествіе Фонъ-Визина было предпринято въ 1786 г. съ спеціальной цѣлью поправить здоровье, разстроенное параличомъ. Пробывъ въ Вѣнѣ нѣсколько мѣсяцевъ, ѣздилъ онъ въ Карлсбадъ лѣчиться цѣлебными водами; изъ Карлсбада отправился въ Тренцинъ въ Венгріи, также для пользованія водами, и возвратился въ Петербургъ въ концѣ сентября 1787 г. Лѣченіе шло неудачно, отчасти потому, что Фонъ-Визинъ частехонько выкланивалъ

себѣ у докторовъ разныя льготы, которыя мѣшали успѣшности леченія. Въ 1789 г., тоже для возстановленія здоровья, Фонъ-Визинъ ѣздилъ въ Ригу, Бальдонъ и Митаву и, судя по его дневнику, испыталъ немало терзаній отъ докторовъ; но все было напрасно: утраченное здоровье такъ навсегда и оставило его. Жена Фонъ-Визина сопутствовала ему во всѣхъ поѣздкахъ за границу и заботливо ухаживала за больнымъ мужемъ, хотя, кажется, имѣла поводы пенять на него въ своей супружеской жизни. Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1786 г. она была въ Петербургѣ съ цѣлью похлопотать о заграничной поѣздкѣ, необходимой для ея мужа; между тѣмъ Фонъ-Визину написали въ Москву, что жена его возстановляетъ всѣхъ противъ него своими жалобами и намѣрена даже просить императрицу о разводѣ. Извѣстіе это встревожило Дениса Ивановича. «Вчера узнавъ о семъ, писалъ онъ къ одному пріятелю своему, я почти вовсе сталъ безъ языка». Пріятель извѣстилъ его, что слухи совершенно ложны: Фонъ-Визинъ успокоился. Дѣйствительно, жена его, купивъ дорожную карету, немедленно пріѣхала въ Москву, и тѣмъ же лѣтомъ они отправились въ Вѣну. Грозившій призракъ скандала быстро разсѣялся; вообще брачный вѣнецъ Фонъ-Визина, не смотря на нѣкоторыя случайныя непріятности, былъ для него довольно легокъ. Въ Ригу и Бальдонъ жена не сопровождала Фонъ-Визина (вѣроятно по домашнимъ препятствіямъ) и въ его дневникѣ упоминается, какъ близкій человѣкъ, нѣкто Михаилъ Алексѣевичъ—можетъ быть, братъ или родственникъ Василія Алексѣевича Аргамакова, женатаго на сестрѣ Фонъ-Визина. Дѣтей у Дениса Ивановича не было.

По смерти гр. Н. И. Панина Фонъ-Визинъ недолго находился на дѣйствительной службѣ и въ чинѣ статскаго совѣтника вышелъ въ отставку [1]). Онъ могъ бы предаться тѣмъ свободнѣе литературной дѣятельности; но на бѣду болѣзнь поразила его физическія силы и умственныя способности. Въ 1788 г. талантъ Фонъ-Визина въ послѣдній разъ вспыхнулъ было новою искрой; въ головѣ его родился планъ сатирическаго журнала подъ названіемъ: «Другъ честныхъ людей или Стародумъ». Но петербургская полиція не разрѣшила этого изданія, и оно остановилось на печатномъ объявленіи, да на нѣсколькихъ заготовленныхъ статьяхъ. Это запрещеніе полиціи показываетъ, что императрица уже вовсе перестала благоволить къ Фонъ-Визину. Мы говорили, что въ немъ не оказалось тѣхъ специфическихъ добродѣтелей придворнаго литератора, которыми владѣлъ съ избыткомъ Державинъ; Фонъ-Визинъ былъ слишкомъ прямъ, слишкомъ угловатъ; мало кланялся и мало унижался. Онъ какъ будто требовалъ, а не выпрашивалъ уваженія къ себѣ и своему таланту. Сверхъ того Фонъ-Визинъ былъ преданъ гр. Н. И. Панину, котораго императрица не любила и тер-

[1]) Въ 1780 г. Фонъ-Визинъ былъ уже канцеляріи совѣтникомъ, а въ 1781 г. назначенъ членомъ «Департамента Правленія Почтовыхъ Дѣлъ», учрежденнаго за годъ до того при иностранной коллегіи. Памятникомъ этой службы сохранился черновой собственноручный набросокъ Фонъ-Визина о почтахъ и ихъ лучшемъ устройствѣ, составляющій повидимому начало обширной офиціальной записки. Черезъ два года почтовое управленіе получило совсѣмъ иное образованіе и «Департаментъ» былъ уничтоженъ; но имени Фонъ-Визина не находится въ числѣ служащихъ лицъ еще раньше: его уже нѣтъ въ адресъ-календарѣ на 1783 г., такъ что вѣроятно Фонъ-Визинъ оставилъ службу тотчасъ посмерти графа Панина (31 марта 1783 г.).

пѣла при себѣ только по необходимости. «Фонъ-Визинъ, говоритъ Н. А. Добролюбовъ, не умѣлъ вполнѣ понять великой Екатерины и, вслѣдствіе этого, онъ не пользовался расположеніемъ при дворѣ. Это былъ, конечно, одинъ изъ умнѣйшихъ и благороднѣйшихъ представителей истиннаго, здраваго направленія мыслей въ Россіи, особенно въ первое время своей литературной дѣятельности, до болѣзни; но его горячія, безкорыстныя стремленія были слишкомъ непрактичны, слишкомъ мало обѣщали существенной пользы предъ судомъ императрицы, чтобы она могла поощрять ихъ. И она сочла за лучшее не обращать на него вниманія, показавъ ему предварительно, что путь, которымъ онъ идетъ, не приведетъ ни къ чему хорошему.» Открытая размолвка вышла по поводу его смѣлыхъ «Вопросовъ», въ которыхъ онъ мѣтилъ на слишкомъ явные и щекотливые недостатки того времени. Но еще прежде того, Фонъ-Визинъ написалъ, по порученію гр. Н. И. Панина, одно политическое разсужденіе для великаго князя, и въ немъ затронулъ основной принципъ нашего государственнаго устройства. Екатерина, узнавъ объ этомъ, сказала въ кругу своихъ приближенныхъ: «плохо мнѣ приходитъ жить! ужъ и г. Фонъ-Визинъ хочетъ учить меня царствовать». Въ 1788 г. Фонъ-Визинъ получилъ отказъ къ изданіи журнала. Въ концѣ жизни онъ переводилъ или собирался переводить Тацита и писалъ по этому случаю къ государынѣ (14 февр. 1790 г.), но отвѣтъ былъ неблагопріятный...

1-го декабря 1792 г. Фонъ-Визинъ умеръ въ Петербургѣ. Вотъ какъ описываетъ И. И. Дмитріевъ свою встрѣчу съ авторомъ «Недоросля» наканунѣ его смерти: «Черезъ Дер-

жавина я сошелся съ Денисомъ Ивановичемъ Фонъ-Визиномъ. По возвращеніи его изъ бѣлорусскаго его помѣстья, онъ просилъ Гаврила Романовича познакомить его со мною. Я не знавалъ его въ лицо, какъ и онъ меня. Назначенъ былъ день свиданія. Въ шесть часовъ пополудни пріѣхалъ Фонъ-Визинъ. Увидя его въ первый разъ, я вздрогнулъ и почувствовалъ всю бѣдность и нищету человѣческую. Онъ вступилъ въ кабинетъ Державина, поддерживаемый двумя молодыми офицерами, выпущенными изъ Шкловскаго кадетскаго корпуса и пріѣхавшими съ нимъ изъ Бѣлоруссіи. Уже онъ не могъ владѣть одною рукою; равно и одна нога одеревенѣла; обѣ поражены были параличомъ; говорилъ съ крайнимъ усиліемъ, и каждое слово произносилъ голосомъ охриплымъ и дикимъ; но большіе глаза его быстро сверкали. Первый, брошенный на меня, взглядъ привелъ меня въ смятеніе. Разговоръ не замѣшкался. Онъ приступилъ ко мнѣ съ вопросами о своихъ сочиненіяхъ: знаю ли я Недоросля? читалъ ли Посланіе къ Шумилову, Лисукознодѣйку, переводъ его «Похвальнаго слова Марку Аврелію»? и такъ далѣе; какъ я нахожу ихъ? — Казалось, что онъ такими вопросами хотѣлъ съ перваго раза вывѣдать свойства ума моего и характера. Наконецъ спросилъ меня и о чужомъ сочиненіи: что̀ я думаю о «Душенькѣ»? «Она—изъ лучшихъ произведеній нашей поэзіи», отвѣчалъ я. «Прелестна!» подтвердилъ онъ съ выразительною улыбкою. Потомъ Фонъ-Визинъ сказалъ хозяину, что онъ привезъ ему свою комедію: Гофмейстеръ [1]); хозяинъ и

[1]) Князь Вяземскій полагаетъ, что эта самая пьеса названа впослѣдствіи: «Выборъ гувернера». Можетъ быть такъ, а можетъ быть и иначе.

хозяйка изъявили желаніе выслушать эту новость. Онъ подалъ знакъ одному изъ своихъ вожатыхъ. Тотъ прочиталъ комедію однимъ духомъ. Въ продолженіе чтенія авторъ глазами, киваніемъ головы, движеніемъ здоровой руки подкрѣплялъ силу тѣхъ выраженій, которыя ему самому нравились. Игривость ума не оставляла его и при болѣзненномъ состояніи тѣла. Несмотря на трудность разсказа, онъ заставлялъ насъ не однажды смѣяться. Во всемъ уѣздѣ, пока онъ жилъ въ деревнѣ, удалось ему найти одного русскаго литератора, городскаго почтмейстера. Онъ выдавалъ себя за жаркаго почитателя Ломоносова. «Которую же изъ одъ его вы признаете лучшею?»—«Ни одной не случилось читать,»—отвѣтствовалъ почтмейстеръ. За то, продолжалъ Фонъ-Визинъ, доѣхавъ до Москвы, я уже не зналъ, куда дѣваться отъ молодыхъ стихотворцевъ. Отъ утра и до вечера, они вокругъ меня роились и жужжали. Однажды докладываютъ мнѣ: пріѣхалъ трагикъ. Принять его, сказалъ я, и чрезъ минуту входитъ авторъ съ пукомъ бумагъ. Послѣ первыхъ привѣтствій и оговорокъ, онъ проситъ меня выслушать трагедію его въ новомъ вкусѣ. Нечего дѣлать, прошу его садиться и читать. Онъ предваряетъ меня, что развязка драмы его будетъ самая необыкновенная; у всѣхъ трагедіи оканчиваются добровольнымъ или насильственнымъ убійствомъ, а его героиня, или главное лицо, умретъ естественною

И. С. Фонъ-Визинъ, родственникъ покойнаго Д. И., сообщилъ намъ, что бумаги Дениса Ивановича сохранялись долгое время въ селѣ Спасскомъ (Клинскаго уѣзда); но лѣтъ 15 назадъ истреблены пожаромъ. Между этими бумагами И. С. помнитъ 2 дѣйствія комедіи (не «Гофмейстеръ» ли?) и 6 ненапечатанныхъ писемъ.

смертью. И въ самомъ дѣлѣ, заключилъ Фонъ-Визинъ, героиня его отъ акта до акта чахла, чахла и наконецъ издохла.—Мы разстались съ нимъ въ одиннадцать часовъ вечера, а на утро онъ былъ уже въ гробѣ».

Перейдемъ къ оцѣнкѣ литературной дѣятельности Фонъ-Визина въ связи съ тою интересною эпохой, которой онъ служитъ у насъ однимъ изъ самыхъ яркихъ представителей.

II.

Развитіе европейской литературы въ новѣйшее время. Философія XVIII вѣка и ея вліяніе на русское общество. Екатерина II-я, какъ послѣдовательница французскихъ энциклопедистовъ. Ея сочиненія съ тенденціозной стороны. Общее направленіе русской литературы того времени. Педагогическіе взгляды, нравственныя и политическія убѣжденія Фонъ-Визина, Художественное достоинство его типовъ и значеніе ихъ въ связи съ характеромъ эпохи.

Русская литература находится, со временъ Петра I-го, въ такой тѣсной зависимости отъ общаго хода и развитія литературы европейской, что изучать первую, не составивъ себѣ предварительнаго понятія о послѣдней, если и возможно, то, по крайней мѣрѣ, вполнѣ безполезно. Только изъ этой связи, соединяющей наше литературное развитіе съ движеніемъ обще-европейской мысли, можемъ мы заимствовать правильный взглядъ на многія самыя крупныя явленія въ исторіи русской словесности. Риторическое направленіе Ломоносова въ его одахъ и раціональное—въ научныхъ изслѣдованіяхъ; господство лже-классцизма въ лирикѣ, эпосѣ и драмѣ; про-

паганда свободомыслія въ лучшихъ произведеніяхъ екатерининскаго вѣка и реакція ему въ разныхъ мѣропріятіяхъ и мистическихъ ученіяхъ; сантиментализмъ, романтизмъ и пр. все это находитъ себѣ смыслъ и объясненіе въ томъ вліяніи, какое оказывало всегда на нашу литературу развитіе мысли на Западѣ Европы. Такимъ образомъ, не приступая еще къ спеціальному разсмотрѣнію литературной дѣятельности Фонъ-Визина, мы должны припомнить состояніе умовъ въ Западной Европѣ, насколько отразилось оно въ литературныхъ произведеніяхъ и философскихъ теоріяхъ того времени.

Духъ пытливости, съ котораго начинается истинная наука, сталъ развиваться почти одновременно въ Англіи и во Франціи и коснулся, первымъ дѣломъ, теологическихъ понятій, завѣщанныхъ стариною; а борьба протестанства съ католицизмомъ въ обѣихъ передовыхъ странахъ Европы много способствовала его усиленію. Для этой борьбы понадобились научныя свѣдѣнія и разумные доводы; но разъ допустивъ ихъ, нельзя уже было остановиться на первомъ шагѣ, и естественное теченіе мыслей увлекало все дальше и дальше на этомъ заманчивомъ пути. Гукеръ (въ концѣ XIV-го столѣтія) обращался отъ преданій къ суду разума, хотя и прибавлялъ, что разумъ отдѣльныхъ лицъ долженъ иногда преклоняться предъ авторитетами; Чиллингвортъ въ своемъ знаменитомъ сочиненіи: Religion of protestants (1637 г.) не признавалъ уже никакихъ исключеній, которыя ограничивали бы права разума. Въ то же время Бэконъ Веруламскій (1561—1626), въ борьбѣ съ схоластикой, поставилъ высшимъ научнымъ принципомъ н а б л ю д е н і е и опытъ естествознанія, за что и названъ былъ отцомъ новѣйшей философіи.

Томасъ Муръ (1480+1535), нарисовалъ въ своей «Утопіи» (1516) идеалъ новаго общественнаго устройства, далеко не похожій на рутинную практику среднихъ вѣковъ. Словомъ, практическая мысль уже была пробуждена въ XVI-мъ вѣкѣ и росла незамѣтно, но послѣдовательно. Въ царствованіе Карла II-го духъ пытливости сдѣлалъ новыя и болѣе обширныя завоеванія, благодаря тому, что этотъ король не оказывалъ никакого стѣсненія умственнымъ успѣхамъ страны. Послѣ сильныхъ нападеній Томаса Гоббеса на современную ортодоксію, Джонъ Локкъ систематизировалъ вполнѣ ученіе эмпиризма въ своемъ «Опытѣ о познавательной способности человѣка» (1689 г.). Въ высшее англійское общество свободная критика, чуждая традиціонныхъ вліяній, вторглась чрезъ посредство двухъ современниковъ-писателей: Шефтсбери (1671—1713.) и Болингброка (1672—1751 г.) Теологія, нравственность и отчасти политика подчинились вліянію разума, который сдѣлался единственнымъ судьею всѣхъ жизненныхъ явленій. Не отрицая высшей воли, господствующей въ мірѣ, англійскіе деисты обращались къ неизмѣннымъ законамъ природы; въ нравственности они становились на практическую точку зрѣнія, признавая нравственнымъ то, что могло приносить пользу въ человѣческомъ обществѣ; въ политикѣ осмѣивали отжившія понятія. Во Франціи реформація, послѣ Варѳоломеевской ночи, какъ религіозная догма, занимала второстепенную роль въ народной жизни. Между тѣмъ идея реформы и свободной критики всего существующаго развивалась въ умахъ, начиная съ Рабле́ (1483—1553), продолжая Монтэнемъ (1533—1593 г.), Шарроломъ и Декартомъ (1596—1650 г.). Первый изъ нихъ осмѣивалъ

съ цинической рѣзкостью безпутство и праздность «аббатовъ, аббатиссъ, монашковъ и папчиковъ», не затрогивая однако самаго принципа ихъ существованія; второй представилъ въ своихъ Essais замѣчательный образчикъ не зараженной мистицизмомъ философіи житейскаго знанія; Шарронъ (въ книгѣ: De la sagesse) построилъ уже цѣлую систему нравственности безъ теологической примѣси: «Мы должны возвыситься, говорилъ онъ, надъ притязаніями враждебныхъ сектъ и довольствоваться практическою религіей, состоящей въ исполненіи обязанностей жизни.» Правленіе Ришелье—деспота въ политикѣ и прогрессиста въ религіи—было весьма сподручно для развитія конфессіональной терпимости. Декартъ, этотъ (по словамъ Бокля) великій разрушитель старыхъ преданій, въ своей философской системѣ, отправлялся единственно отъ разума, какъ исходнаго пункта всѣхъ человѣческихъ познаній, и съ замѣчательной твердостью высказалъ слѣдующее основное положеніе своей школы: «если мы хотимъ узнать всѣ истины, которыя можемъ знать, то прежде всего должны освободиться отъ предразсудковъ и поставить себѣ цѣлью отвергнуть до новаго испытанія все, что мы приняли прежде. Вотъ почему мы должны выводить наши мнѣнія изъ насъ самихъ. Мы не должны произносить сужденія о предметѣ, котораго не понимаемъ ясно и точно, ибо такое сужденіе, даже и правильное, есть только случайность; оно лишено прочнаго основанія, на которомъ могло бы опираться.»

Дальнѣйшее развитіе свободныхъ идей досталось на долю Франціи, находившейся еще подъ «старымъ правленіемъ» (ancien regime) въ то время, когда Англія пользовалась уже сравнительно свободными учрежденіями. Этотъ гнетъ извнѣ

только усиливалъ внутренній напоръ прогрессивной мысли. Въ XVIII столѣтіи скептическіе умы во Франціи взялись уже за проблему кореннаго переустройства общества: къ критикѣ факта присоединились, подъ вліяніемъ свободы мысли и политическихъ учрежденій Англіи, практическія стремленія къ преобразованію. Монтескье въ своихъ «Персидскихъ письмахъ» подвергнулъ критикѣ разнообразныя установленія въ Европѣ, особенно во Франціи; онъ же впослѣдствіи (l'Esprit des lois), увлекшись англійскою конституціей, отстаивалъ ограниченную монархію, въ противоположность порядку, существовавшему въ его отечествѣ. Одновременно съ нимъ началъ свою литературную дѣятельность Вольтеръ, имя котораго служитъ донынѣ знаменемъ всей «литературы освобожденія» XVIII-го вѣка. Въ своихъ драмахъ, памфлетахъ, ученыхъ разсужденіяхъ, Вольтеръ яснѣе высказалъ и популяризировалъ тѣ скептическія идеи, которыя встрѣчались, въ различныхъ дозахъ, у его французскихъ и англійскихъ предшественниковъ. Никто лучше его не умѣлъ однимъ словомъ, одною язвительною насмѣшкой пошатнуть цѣлый строй господствовавшихъ понятій; никто не стоялъ такъ высоко въ мнѣніи образованной Европы и не имѣлъ на нее такого могучаго и, во многихъ отношеніяхъ, благодѣтельнаго вліянія. Не слишкомъ сильный, какъ философъ и теоретикъ, Вольтеръ бралъ верхъ надъ другими писателями разнообразіемъ и блескомъ своего таланта.—Англійская умѣренность и сдержанность мысли были забыты во Франціи: деизмъ Локка не устоялъ противъ рѣзкой діалектики французскихъ философовъ. Съ 1758 г. (когда появилась книга Гельвеція: de l'Esprit), атеистическій образъ мыслей сталъ

быстро распространяться во Франціи. Гельвецій въ своемъ философскомъ изслѣдованіи говоритъ, что разница между человѣкомъ и животнымъ низшей породы есть результатъ различія въ ихъ внѣшней формѣ; строеніе тѣла есть единственная причина превосходства; наши мысли суть продуктъ двухъ способностей: способности получать впечатлѣнія отъ внѣшнихъ предметовъ и способности помнить полученное впечатлѣніе. Наши добродѣтели и пороки суть только результатъ нашихъ страстей, а страсти порождаются нашей физической чувствительностью къ наслажденію или страданію. Физической чувствительности обязаны люди наслажденіемъ или страданіемъ—отсюда чувство личнаго интереса (эгоизма) и стремленіе жить въ обществѣ подъ охраною и при взаимной помощи другихъ людей. Когда составилось общество, явилось понятіе объ общемъ интересѣ, безъ котораго общество не могло бы удержаться; а такъ какъ дѣйствія человѣческія бываютъ справедливы и не справедливы лишь настолько, насколько они содѣйствуютъ этому общему интересу, то установилось мѣрило, по которому отличается спрадливость отъ несправедливости. Дальше Гельвецій разсматриваетъ происхожденіе изъ того же источника (de la sensibilité physique) всѣхъ другихъ чувствъ, управляющихъ дѣйствіями человѣка: такъ онъ говоритъ, что честолюбіе и дружба суть исключительно произведенія физическаго чувства, что люди стремятся къ славѣ или изъ удовольствія, которое они надѣются получить отъ обладанія ею, или какъ къ средству для послѣдовательнаго доставленія себѣ другихъ удовольствій. Эгоизмъ есть величайшій двигатель и производитель всего; даже мать, оплакивающая потерю своего ребенка, побуж-

дается къ этому эгоизмомъ: она плачетъ оттого, что лишена удовольствія и видитъ предъ собой пустоту, которую ей трудно наполнить. Атеизмъ открыто защищался д'Аламберомъ, Дидро, Кондильякомъ, Кондорсе, Лаландомъ, Лапласомъ, Мирабо. Въ 1764 году — разсказываетъ Дидро — англійскій писатель Юмъ прибылъ въ Парижъ и въ домѣ барона Гольбаха встрѣтилъ знаменитѣйшихъ французскихъ ученыхъ того времени. Въ бесѣдѣ съ ними Юмъ сталъ представлять доводы противъ возможности существованія атеистовъ въ настоящемъ значеніи этого слова. «Что касается до меня, говорилъ онъ, я никогда не встрѣчалъ атеиста».— «Вы были довольно несчастливы,—возразилъ на это Гольбахъ,—въ настоящее время вы видите ихъ здѣсь за столомъ семнадцать».—Съ политическими вопросами случилось тоже, что и съ религіозными: идеи Монтескье скоро перестали удовлетворять умы. Гельвецій нападалъ уже на мечтательность его системы; но сильнѣе вооружился противъ нея Ж. Ж. Руссо. Точно также прогрессировала во Франціи идея нормальнаго воспитанія, высказанная англійскимъ эмпирикомъ Локкомъ. Отнесясь критически ко всему существующему порядку, Локкъ обратилъ вниманіе на современныя ему школы, откуда выходили полу-невѣжественные защитники этого порядка; примѣнивъ къ нимъ требованія здраваго смысла, онъ, конечно, остался ими весьма недоволенъ. Воспитаніе въ то время, потерявъ всякое образовательное значеніе, стало равносильнымъ обученію, а обученіе почти ограничивалось усвоеніемъ формъ латинскаго языка и правильнымъ употребленіемъ его въ разговорѣ и письмѣ. Десятки лѣтъ посвящались такому притупляющему занятію.

Въ извѣстномъ разговорѣ Эразма (Ciceronianus sive de optimo dicendi genere) Нозопонъ говоритъ, что онъ семь лѣтъ читаетъ исключительно одного Цицерона и выучиваетъ его почти наизусть, потомъ семь лѣтъ употребляетъ на подражаніе Цицерону, для чего всѣ слова изъ произведеній послѣдняго собираетъ въ алфавитномъ порядкѣ въ одинъ лексиконъ, въ другой—также въ алфавитномъ порядкѣ всѣ фразы Цицерона, въ третій—всѣ стопы (pedes), которыми онъ начинаетъ и оканчиваетъ періоды и т. д. и т. д. Пренебрегая развитіемъ естественной любознательности дитяти, обращенной совсѣмъ не назадъ, въ древній міръ, а скорѣе на все окружающее его, строгіе дидаскалы прибѣгали къ принужденію и бичу, какъ къ единственному возбудителю учебнаго рвенія. Противъ этой крайности впервые возсталъ Монтэнь всею силою своего убѣжденія и остроумія. Въ его Essais двѣ главы (24 и 25) посвящены нападкамъ на эту дрессировку, неправильно называемую воспитаніемъ. Свобода, чуждая всякаго принужденія, и самостоятельное образованіе дитяти посредствомъ упражненія въ предметахъ, его интересующихъ—вотъ, по мнѣнію Монтэня, два важнѣйшія условія воспитанія; воспитатель долженъ не подавлять свободную дѣятельность своего питомца, а только помогать и руководить ею; отказывая дѣтямъ въ подобной дѣятельности, мы воспитываемъ въ нихъ рабство и трусость. Поэтому Монтэнь возстаетъ противъ всѣхъ сильныхъ принудительныхъ мѣръ, особенно противъ тѣлеснаго наказанія; дѣтскіе проступки своей дочери онъ искоренялъ одними кроткими убѣжденіями. «Я не видалъ иныхъ послѣдствій отъ розогъ—говоритъ онъ—кромѣ робости и злобнаго упрямства; я же-

лъ бы кроткимъ обращеніемъ возбудить въ своихъ дѣтяхъ живую любовь и непритворное расположеніе къ себѣ». Локкъ, врачъ и практическій воспитатель, принялъ и распространилъ основные взгляды Монтэня, изложивъ ихъ въ отдѣльномъ сочиненіи, въ стройномъ порядкѣ и системѣ (Some thougths concerning education). «Власть надъ дѣтьми, говоритъ этотъ мыслитель, будетъ тѣмъ вѣрнѣе, чѣмъ болѣе она основана на кротости и довѣріи». Важнѣйшая обязанность воспитанія состоитъ въ томъ, чтобы сообщить душѣ воспитанника истинное направленіе, согласное съ разумомъ и благородствомъ человѣческой природы. Для достиженія такого результата, все воспитаніе раздѣлялось на три части: собственно обученіе, нравственное развитіе и укрѣпленіе физическихъ силъ. На первомъ мѣстѣ стояло нравственное развитіе, которое полагалось въ «умѣньѣ человѣка отказываться отъ собственныхъ желаній, дѣйствовать только соотвѣтственно рѣшенію разума, вопреки собственнымъ наклонностямъ». Средство къ этому — пріученіе, своевременное и постепенное упражненіе ребенка. «Кто въ молодости, говоритъ Локкъ, не пріучился подчинять своей воли разуму другихъ, тому трудно будетъ впослѣдствіи подчиниться своему собственному». Если дѣти провинятся въ дурныхъ поступкахъ, то Локкъ совѣтуетъ дѣйствовать на нихъ преимущественно стыдомъ и порицаніемъ, такъ какъ «вниманіе и презрѣніе другихъ людей суть могущественнѣйшія между всѣми возбужденіями души». Онъ порицаетъ побои и другіе роды рабскихъ и тѣлесныхъ наказаній, бывшихъ тогда во всеобщемъ употребленіи, но дѣлаетъ впрочемъ одну уступку, дозволяя прибѣгать къ розгѣ въ слу-

чаѣ упорнаго сопротивленія и упрямства. Правила физическаго воспитанія, направленныя исключительно къ укрѣпленію тѣла, излагаются Локкомъ съ знаніемъ и подробностью опытнаго врача. Обученіе въ собственномъ смыслѣ поставлено Локкомъ въ самыя тѣсныя границы. «Вы удивляетесь,—пишетъ онъ въ своей книгѣ,—что я говорю о познаніяхъ въ самомъ концѣ, а удивитесь еще болѣе, если я вамъ скажу, что я считаю ихъ самымъ маловажнымъ дѣломъ... Воспитатель долженъ помнить, что его обязанность не состоитъ въ томъ, чтобы учить своего воспитанника всему, что человѣкъ можетъ знать, а скорѣе, чтобы возбудить въ немъ любовь и уваженіе ко всему достойному познанія и сообщить ему надлежащее руководство къ пріобрѣтенію познаній и дальнѣйшему образованію себя, если онъ будетъ имѣть къ тому охоту». Мысль Локка, отчасти вѣрная въ томъ отношеніи, что не слѣдуетъ загромождать умъ ребенка массою непереваренныхъ фактовъ, можетъ подвергнуться серьезному возраженію въ томъ смыслѣ, что нельзя «возбудить въ ребенкѣ любовь къ наукѣ», сообщая изъ нея только маловажныя свѣдѣнія, т. е. клочки и верхушки, связанные между собою одною предвзятою идеею. По теоріи Локка, знаніе и нравственное развитіе не имѣютъ одно съ другимъ ничего общаго; тогда какъ, на самомъ дѣлѣ, сумма познаній человѣка оказываетъ несравненно сильнѣйшее вліяніе на его нравственную сторону, чѣмъ всѣ голословныя, хотя бы и весьма благонамѣренныя сентенціи. Понятія о нравственности расширяются сообразно съ умственнымъ кругозоромъ каждой личности:—слѣдовательно развитіе ума научными свѣдѣніями, и притомъ не

поверхностными, составляетъ важнѣйшій элементъ въ истинно-человѣческомъ воспитаніи. Конечно, мы разумѣемъ здѣсь не сухую номенклатуру фактовъ, лишенныхъ всякаго разумнаго вывода, но именно трезвый взглядъ на природу и человѣка, опирающійся на возможно большее количество научныхъ данныхъ.

Педагогическая теорія Локка, попавъ во Францію, подверглась тутъ радикальному измѣненію. Локкъ, отстаивая свободу личности въ воспитаніи, считаетъ пріученіе и даже изрѣдка страхъ наказанія довольно дѣйствительными воспитательными средствами; онъ не возстаетъ прямо противъ существующихъ преданій и оффиціальной нравственности, и своими уступками примиряетъ съ собой всѣхъ враговъ рѣшительнаго переворота. Руссо, въ своемъ Эмилѣ (1762 г.), отрицаетъ уже всякое постороннее вліяніе на духовную сторону ребенка: то, что Локкъ называетъ систематическимъ пріученіемъ къ житейскому порядку и извѣстному образу мыслей—въ глазахъ женевскаго философа является нравственнымъ насиліемъ одного человѣка надъ другимъ. Руссо съ насмѣшкой говоритъ, что при такомъ насиліи воспитанникъ обращается въ «манежную лошадь», что его натуру «выворачиваютъ и гнутъ на всѣ лады». Къ воспитанію Руссо примѣнилъ свой основной взглядъ, что все выходитъ прекраснымъ изъ рукъ природы и обезображивается подъ вліяніемъ «предразсудковъ, авторитета и дурнаго примѣра». Увлекаясь страстнымъ порывомъ къ лучшему, геніальный мечтатель осудилъ всю европейскую цивилизацію за то, что она служила, во многихъ случаяхъ, только лоскомъ для прикрытія прежняго невѣжества и алчныхъ инстинктовъ. Эти

неразборчивыя нападки на всю европейскую цивилизацію, за ея случайныя и временныя направленія, начались еще со временъ Монтэня, который доказывалъ, что занятія науками изнѣживаютъ нравы, ослабляя мужество и бодрость духа, и подтверждалъ свою мысль примѣромъ могущественной въ то время Турецкой имперіи, въ которой цѣнилось только оружіе и презирались науки. Но такую парадоксальную мысль нельзя было доказать логическимъ и холоднымъ образомъ, потому и проповѣдь Монтэня не имѣла послѣдователей; Руссо же своимъ стремительнымъ краснорѣчіемъ увлекъ за собою многія пылкія головы и впечатлительныя сердца. Въ примѣненіи къ педагогикѣ эта мысль сослужила большую услугу, эмансипировавъ до возможныхъ предѣловъ личность воспитаемаго; слабая сторона ея заключалась въ томъ, что она не давала никакого регулятора для практическаго веденія дѣла, ибо нельзя считать опорною точкой—мечтательныя свойства дѣтской природы, изолированной отъ всего окружающаго.

Вліяніе «освободительной литературы» XVIII-го вѣка на всю Европу было громадно. Не только частные люди и независимые мыслители, но даже могущественные монархи и ихъ министры увлеклись новыми идеями, обѣщавшими такъ много добра человѣческимъ обществамъ. Фридрихъ II-й, Іосифъ II, Леопольдъ Тосканскій, Помбаль въ Португаліи, Аранда въ Испаніи, старались согласовать свое правленіе съ духомъ новыхъ началъ, проповѣдуемыхъ французскими публицистами. Имя Вольтера окружено было почетомъ необыкновеннымъ: его Ферней сдѣлался литературнымъ дворомъ, къ которому отправляемы были почетные посланники.

Фернейскій мудрецъ, наслаждаясь блескомъ своего двора, говорилъ съ гордостью возвеличеннаго таланта:

. . . . . mon ermitage
Voyait dans son enceinte arriver à grands flots
De cent divers pays les belles, les héros,
Des rimeurs, des savants, des têtes couronnés.

Екатерина II-я, смолоду зачитывавшаяся Вольтеромъ, также принадлежала къ числу поклонницъ его таланта и, вступивъ на престолъ, вошла въ прямыя сношенія какъ съ нимъ, такъ и съ другими литературными знаменитостями того времени. Пріемъ, оказанный ею Дидро, описанъ этимъ послѣднимъ въ письмахъ къ друзьямъ. (Mémoires correspondances et ouvrages inédits de Diderot, 1831). «Дверь кабинета государыни—писалъ онъ отъ 15 іюня 1774 г.—отперта для меня ежедневно отъ трехъ часовъ пополудни до пяти, а иногда и дò шести. Вхожу. Меня сажаютъ, и я разговариваю такъ же свободно, какъ съ вами. Выходя, я вынужденъ сознаться, что я имѣлъ душу раба въ землѣ такъ называемыхъ свободныхъ людей, и что я позналъ въ себѣ душу свободнаго человѣка въ землѣ такъ называемыхъ варваровъ. Ахъ, друзья мои, что за государыня, что за необыкновенная женщина! Нельзя заподозрить похвалу мою, ибо я обвелъ щедрость ея самыми тѣсными границами». «Возвращаюсь къ вамъ,—пишетъ онъ въ другомъ письмѣ—обремененный почестями. Если бы я пожелалъ черпать полными пригоршнями въ царской шкатулкѣ, то, вѣроятно, дѣло отъ меня зависѣло; но я предпочелъ заставить молчать петербургскихъ злоязычниковъ и дать вѣру въ меня парижскимъ невѣрующимъ. Всѣ мысли, наполнявшія голову мою при отъѣздѣ изъ Парижа, разсѣялись въ первую ночь

пріѣзда въ Петербургъ. Поведеніе мое отъ того стало честнѣе и возвышеннѣе. Ничего не надѣясь и не опасаясь, я могъ говорить, какъ мнѣ угодно было». Щедрость Екатерины, о которой упоминаетъ Дидро, была имъ дѣйствительно «обведена довольно тѣсными границами» и состояла въ томъ, что императрица подарила ему цвѣтное платье для придворныхъ визитовъ, шубу, подбитую богатымъ мѣхомъ, перстень съ портретомъ своимъ, и заплатила издержки его поѣздки, совершавшейся далеко «не по барски». Но нѣтъ сомнѣнія, что императрица, не скупившаяся на награды, предлагала ему гораздо болѣе матеріальныхъ выгодъ, которыя Дидро отклонилъ отъ себя честнымъ образомъ, чтобы не возбудить дурныхъ толковъ со стороны «петербургскихъ злоязычниковъ» и своихъ парижскихъ враговъ. Столько же любезна была императрица къ Циммерману и д'Аламберу. Упрашивая д'Аламбера принять на себя воспитаніе великаго князя Павла Петровича, Екатерина писала ему: «быть рожденнымъ или призваннымъ на то, чтобы содѣйствовать благу и даже образованію цѣлаго народа и отказаться отъ этого—значитъ, какъ мнѣ кажется, отказаться отъ возможности дѣлать добро, которое такъ вамъ по сердцу. Философія ваша основана на человѣколюбіи; позвольте сказать вамъ, что не соглашаться служить ему, когда служить можно—значитъ, упускать изъ виду свою цѣль. Я такъ хорошо знаю васъ, какъ человѣка честнаго, что не могу приписать вашъ отказъ тщеславію; я знаю, что единственная его причина—любовь къ спокойствію, нужному для ученыхъ занятій и дружбы. Но что же мѣшаетъ? Пріѣзжайте съ вашими друзьями: обѣщаю вамъ всѣ удовольствія

и удобства жизни, какія только отъ меня зависятъ; можетъ быть, вы найдете здѣсь болѣе покоя и свободы, нежели у васъ». Въ письмѣ къ Циммерману (доктору и автору извѣстной въ свое время книги: «Объ уединеніи»), котораго она тоже приглашала въ Россію, императрица высказываетъ прямо свою политическую исповѣдь: «я уважала философію (философію энциклопедистовъ), потому что въ душѣ моей была всегда отмѣнной республиканкой. Признаюсь, что такое расположеніе души съ моею неограниченною властью покажется, можетъ быть, чуднымъ противорѣчіемъ; однакожъ въ Россіи никто не скажетъ, чтобы я власть свою въ зло употребляла» [1]). Въ началѣ своего царствованія, прежде чѣмъ французскія идеи стали получать практическое осуществленіе по иниціативѣ самого народа, Екатерина II была вѣрна, хотя отчасти, высказываемымъ ею принципамъ: слѣдуя правилу, что въ законодательствѣ страны должны участвовать всѣ тѣ лица, до которыхъ оно касается, императрица созываетъ извѣстную коммисію для составленія уложенія и пишетъ для нея наказъ (1767 г.), въ который вводитъ многое изъ Беккаріи и Монтескье [2]). Въ Наказѣ говорится о равенствѣ всѣхъ сословій и лицъ передъ закономъ, о безнравственности мучительныхъ казней, о пользѣ нормальнаго воспитанія, чуждаго лжи и насилія, и т. п. «Мы думаемъ—говорила Екатерина II—и за славу себѣ вмѣняемъ сказать, что мы сотворены для на-

---

1) См. Сочин. императрицы Екатерины II, т. 3, стр. 465 (Спб 1850).

2) Такъ напр. § 207 главы X-ой Наказа переведенъ изъ Беккаріи (см. Des délits et des peines, édit. 1856, p 89). Въ главѣ V и XIV-ой многіе пункты переведены изъ книги Монтескье: Esprit des lois.

шего народа. Боже сохрани, чтобъ былъ какой народъ больше процвѣтающъ на землѣ». «Эти законы—писала она по тому же поводу къ Вольтеру—проникнуты духомъ терпимости: они не будутъ никого преслѣдовать, убивать или сжигать на кострѣ». Толки объ уничтоженіи крѣпостнаго права слышатся въ засѣданіяхъ созванной правительствомъ коммиссіи; вольное экономическое общество (основанное въ 1765 г.) поднимаетъ тотъ же вопросъ и выдаетъ премію (назначенную самою императрицею) за лучшее сочиненіе о свободномъ трудѣ. Въ то же время Бецкій (въ 1764—1767 г.) подаетъ государынѣ свои доклады о воспитаніи юношества въ духѣ современной цивилизаціи и предлагаетъ создать «новую породу» дѣтей, отдѣливъ ее съ молодыхъ лѣтъ отъ зараженнаго предразсудками поколѣнія отцовъ. Въ комедіи: «О время!» (1772 г.) императрица осмѣиваетъ суевѣріе, ханжество и пустоту женскаго образованія; въ сказкѣ о царевичѣ Хлорѣ (1782 г.) предохраняетъ своихъ внуковъ отъ вліянія льстивой и развратной придворной толпы; въ Инструкціи кн. Салтыкову (1784 г.) приказываетъ внушать этимъ внукамъ «благоволеніе къ роду человѣческому, человѣколюбіе, уваженіе ближняго, почтеніе къ человѣчеству, осторожность въ поведеніи, чтобъ не пренебрегать, не презирать никого, но показывать каждому учтивость и приличное уваженіе». Это уваженіе предписывалось распространять даже на «служителей и простолюдиновъ, чтобъ съ ними не говорили повелительно и съ пренебреженіемъ или возвышая голосъ, или со спѣсью, но съ благоволеніемъ, пристойнымъ къ человѣчеству вообще». Какъ въ своихъ политическихъ взглядахъ Екатерина II руководствовалась со-

чиненіями Монтескье и Беккаріи, такъ точно ея воспитательная теорія находится въ близкомъ сродствѣ съ идеями Монтэня и Локка. Преимущественно пользовалась она книгою Локка о воспитаніи, заимствуя впрочемъ нѣкоторыя второстепенныя указанія изъ «Эмиля» Руссо. Доклады Бецкаго составлены также подъ вліяніемъ названныхъ писателей. Въ «Инструкціи князю Салтыкову» императрица, согласно мнѣнію Локка, выставляетъ на первый планъ нравственное начало въ воспитаніи, много заботится о физическомъ развитіи воспитываемыхъ и отводитъ очень мало мѣста собственно дидактической части, т. е. обогащенію ума научными познаніями. «Здравое тѣло и умонаклоненіе къ добру составляютъ все воспитаніе», сказано во введеніи къ инструкціи, «ученіе же или знаніе да будетъ имъ (великимъ князьямъ) единственно отвращеніемъ отъ праздности и способомъ къ спознанію естественныхъ ихъ способностей, и дабы привыкли къ труду и прилежанію». Принужденіе изгонялось императрицею изъ круга воспитательныхъ средствъ. «Отнюдь ихъ высочествъ—пишетъ она въ той же Инструкціи — не принуждать къ ученію, но представлять имъ, что учатся ради себя и для своей пользы.» Словесный выговоръ, презрительное обращеніе, съ цѣлью возбудить стыдъ въ ребенкѣ—вотъ, по ея мнѣнію, достаточныя мѣры для успѣха педагогическаго дѣла. Руководствуясь Локкомъ, она допускаетъ тѣлесное наказаніе (по крайней мѣрѣ дѣлаетъ намекъ на него въ одномъ пунктѣ своей Инструкціи), но и то единственно въ случаѣ лжи, поддерживаемой съ упрямствомъ. Въ сказкѣ о Февеѣ (1782 г.) Екатерина II описываетъ подробно воспитаніе царевича, которое было ве-

дено въ духѣ инструкціи и направляемо къ нравственному совершенствованію питомца. Тотъ же взглядъ на воспитаніе, какъ на средство противодѣйствовать нравственному упадку людей, отражается въ «Быляхъ и небылицахъ». «Всѣ теперешніе пороки,—говорится здѣсь,—ничего не значутъ; они схожи на стекающее полноводіе; вода же, пришедъ въ прежнія границы и берега свои, возъимѣетъ теченіе естественнѣе прежняго. Берега суть воспитаніе». Въ своихъ докладахъ Бецкій также жалуется на упадокъ нравственнаго элемента въ воспитаніи: «опытъ доказалъ, что одинъ только украшенный или просвѣщенный разумъ не производитъ еще добраго, прямаго гражданина; напротивъ онъ становится вреднымъ для того, у кого съ юныхъ лѣтъ не вкоренена въ сердцѣ добродѣтель. Отъ небреженія нравственности, отъ ежедневныхъ дурныхъ примѣровъ привыкаетъ онъ къ мотовству, своевольству, безчестному лакомству и непослушанію. При такомъ недостаткѣ нравственнаго воспитанія напрасно ласкать себя ожиданіемъ истинныхъ успѣховъ въ наукахъ и искусствахъ». Но нравственное воспитаніе, по взгляду Екатерины и ея приближенныхъ, не было цѣлью само въ себѣ, какъ напр. въ знаменитомъ «филантропинѣ» Базедова: гуманитарная сторона его подчинялась государственнымъ соображеніямъ; изъ этой школы должны были выходить не только люди, развитые общечеловѣческими идями, но притомъ дѣятели извѣстнаго закала, пригодные для правительственныхъ цѣлей. Въ этомъ отношеніи педагогическая система Екатерины и Бецкаго приближается къ теоріи французскихъ физіократовъ, которая возникла тогда же изъ педагогическаго настроенія вѣка и

состояла въ томъ, что государство обязано не только управлять народомъ, но и давать ему извѣстную нравственную физіономію. Этотъ взглядъ подробно развитъ французскимъ министромъ Тюрго въ запискѣ его, поданной Людовику XVI (1775 г.). Корень всѣхъ золъ, господствовавшихъ въ современной жизни, Тюрго полагаетъ въ отсутствіи плотнаго государственнаго состава. Чтобы уничтожить духъ разъединенія между различными классами общества, изъ которыхъ каждый преслѣдуетъ свои спеціальные, узко-понятые интересы, Тюрго совѣтуетъ прибѣгнуть къ новой, централизованной системѣ воспитанія и ею слить во-едино разнородные слои общества. Для этой цѣли долженъ быть учрежденъ «совѣтъ народнаго образованія», который дѣйствовалъ бы въ извѣстномъ духѣ, по однимъ опредѣленнымъ правиламъ, завѣдуя всѣми школами въ государствѣ. Подъ его наблюденіемъ должны быть составлены учебныя руководства. Два недостатка усматривалъ Тюрго въ тогдашнемъ образованіи: развитіе спеціальнаго образованія въ ущербъ общему, гражданскому, и отсутствіе нравственнаго элемента. «У насъ — говоритъ онъ—есть методы и учрежденія для образованія геометровъ, физиковъ, живописцевъ—и нѣтъ ничего подобнаго для образованія гражданъ». Генеральный планъ воспитанія, задуманный Екатериною II, сходенъ въ основныхъ чертахъ съ воззрѣніями физіократовъ, хотя и не составляетъ подражанія имъ: подобно физіократамъ, она придавала воспитанію государственныя цѣли; подобно имъ, заботилась больше о нравственномъ направленіи и гражданскомъ развитіи въ извѣстномъ смыслѣ, чѣмъ о спеціальной подготовкѣ къ одному опредѣленному занятію. По этому

плану, заведены были у насъ закрытыя учебныя заведенія: воспитательный домъ въ Москвѣ (1763 г.), воспитательное общество благородныхъ дѣвицъ при Смольномъ монастырѣ (1764 г.) и при немъ такое же общество для дѣвицъ мѣщанскаго званія (1765 г.); при сухопутномъ кадетскомъ корпусѣ учреждено училище для образованія мѣщанскихъ дѣтей (1772 г.). Правительство намѣрено было основать подобныя заведенія во всѣхъ значительнѣйшихъ городахъ Россіи, и лишь за неимѣніемъ матеріальныхъ средствъ къ тому, завело открытыя народныя училища—главныя или четырехклассныя и малыя или двухклассныя. По поводу званія, которое ожидало питомцевъ воспитательнаго дома, Бецкій говорилъ: «извѣстно, что въ государствѣ (русскомъ) два чина только установлено: дворяне и крѣпостные; но какъ по привилегіямъ, жалованнымъ сему учрежденію, воспитанники и потомки ихъ вольными пребудутъ, то они, слѣдовательно, составятъ третій чинъ въ государствѣ». Правительство много хлопотало объ учрежденіи у насъ этого третьяго чина или средняго сословія (tiers état), которое должно было наполнить пространство, раздѣлявшее два главные класса русскаго общества и составить современемъ умственную силу, интеллигенцію страны. Къ третьему чину Наказъ относитъ: 1) не дворянъ и не хлѣбопашцевъ, упражняющихся въ художествахъ, наукахъ, мореплаваніи, торговлѣ и ремеслахъ; 2) не дворянъ, вышедшихъ изъ воспитательныхъ домовъ и училищъ духовныхъ и свѣтскихъ; 3) дѣтей приказныхъ. Желаніе установить единообразное преподаваніе въ училищахъ внушило императрицѣ указъ отъ 7 сентября 1782 г., которымъ учреждалась особая комис-

сія народныхъ училищъ для надзора за всѣми школами въ имперіи. Придавая воспитанію такой государственный характеръ, Екатерина II довершала дѣло Петра Вел., который заимствовалъ изъ Европы матеріальные плоды цивилизаціи и только отчасти заботился о нравственномъ развитіи общества посредствомъ школъ и литературныхъ произведеній. У Петра Великаго нравственныя цѣли стояли на второмъ планѣ: ему нужны были прежде всего моряки, инженеры, артиллеристы, т. е. спеціально подготовленные труженики реформы; Екатерина же поставила на первомъ мѣстѣ гражданское развитіе своихъ подданныхъ—опять-таки въ кругѣ ея собственныхъ политическихъ предначертаній. Слѣдуя этимъ предначертаніямъ, она заимствовала изъ западной литературы не все то, что было въ ней логически выработаннаго въ теоріи, но только то, что можно было согласовать съ удобствами ея личной власти и съ характеромъ привиллегированнаго кружка. Крѣпостное право во всѣхъ его видахъ и развѣтвленіяхъ такъ и осталось нетронутымъ; раздѣленіе сословій на привиллегированныя и непривиллегированныя удержано въ Наказѣ; къ чести, служащей по мнѣнію Монтескье отличительнымъ признакомъ монархій, прибавлена добродѣтель, господствующая въ народныхъ правленіяхъ. Также и въ воспитаніи: мнѣніе Локка о безплодности сухой морали отвергнуто Екатериною, и въ Инструкціи поставлено нравоученіе, какъ особый, самостоятельный предметъ преподаванія. Когда же императрица замѣтила, что свободная мысль, которой открытъ былъ доступъ въ ея имперію, не останавливается предъ внѣшними границами, а пробуетъ заглянуть и за

нихъ,—то она прибѣгла къ репрессивнымъ мѣрамъ. Для примѣра можно указать на осужденіе книги Радищева и трагедіи Княжнина, также на дѣятельность извѣстнаго Шешковскаго [1]).

Тѣмъ не менѣе, покровительство, оказанное императрицею философскому направленію вѣка, отразилось замѣтнымъ образомъ на всей русской литературѣ XVIII-го вѣка. Въ похвальныхъ рѣчахъ и даже въ церковныхъ проповѣдяхъ (какъ напр. у митрополита Платона) слышатся отголоски западныхъ идей; литературная дѣятельность Новикова, въ лучшемъ ея періодѣ, проникнута либеральнымъ духомъ; въ трагедіяхъ— Николева: «Сорена и Замиръ» (предст. въ 1785 г.) и Княжнина: «Вадимъ Новгородскій» (напеч. въ 1793 г.), наконецъ въ извѣстной книгѣ Радищева: «Путешествіе изъ Петербурга въ Москву» (1790 г.) тѣ же идеи выразились, мѣстами, въ живой и увлекательной формѣ. Княгиня Дашкова сообщаетъ въ своихъ «Запискахъ», что чтеніе энциклопедистовъ составляло съ раннихъ лѣтъ ея любимое занятіе, и что книгу Гельвеція: «De l'esprit» она прочитала два раза съ цѣлью глубже вникнуть въ смыслъ его философіи. И. В. Лопухинъ, въ своихъ мемуарахъ, также не скрываетъ отъ насъ своихъ увлеченій французскими писателями. «Я охотно читывалъ, говоритъ онъ, Вольтеровы насмѣшки, Руссовы опроверженія и т. п. Читая извѣстную книгу Système de la nature (Гольбаха), съ восхищеніемъ читалъ я въ концѣ ея извлеченіе

[1]) См. статью о Радищевѣ въ Рус. Вѣстн. 1858 г № 23, и статьи г. Лонгинова: «Матеріалы для исторіи русскаго просвѣщенія и литературы въ концѣ XVIII-го вѣка» въ Рус. Вѣстникѣ 1858 г. №№ 4 и 15, 1859 г. № 15 и 1860 г. № 4.

всей книги подъ именемъ устава натуры (code de la nature). Я перевелъ уставъ этотъ, любовался своимъ переводомъ. Напечатать его нельзя было: я расположился разсѣевать его въ рукописяхъ». Вскорѣ потомъ Лопухинъ раскаялся, сжегъ свои тетрадки и даже написалъ опроверженіе на книгу Гельвеція, подъ названіемъ: «Разсужденіе о злоупотребленіи разума нѣкоторыми новыми писателями» (напеч. въ 1780 г.). Это чистосердечное признаніе Лопухина сильно напоминаетъ намъ такое же точно признаніе Фонъ-Визина; оба эти факта доказываютъ съ одной стороны, что французскія идеи были весьма распространены въ тогдашнемъ образованномъ обществѣ, а съ другой, что онѣ плохо усвоивались и легко вытѣснялись идеями противоположнаго порядка. Державинъ, сначала восхвалявшій Екатерину II за то, что она «даетъ свободу мыслить и разумѣть себя, цѣнить», впослѣдствіи, въ стихотвореніи: «Колесница», упрекалъ французскихъ королей за «излишнюю доброту» и потворство «просвѣщенью философовъ». Если въ литературныхъ дѣятеляхъ того времени мы находимъ такъ мало послѣдовательности, то понятно, что въ обыденной жизни французское вліяніе порождало въ большомъ числѣ бригадирскихъ сынковъ, Иванушекъ, которые болтали неосмысленныя фразы о бракѣ и отношеніяхъ къ родителямъ, подслушанныя въ кругу лицъ, знакомыхъ съ ходячими воззрѣніями французскихъ мыслителей. Въ словахъ Иванушки объ уваженіи къ родителямъ отражается въ комической формѣ мысль Гельвеція; тотъ же Иванушка говоритъ, что онъ «зналъ fort honnetes gens, которые божбу ни во что становятъ».

Литературная дѣятельность Фонъ-Визина относится вся

къ царствованію Екатерины II-й; его лучшія произведенія появились въ цвѣтущее время этого царствованія и носятъ на себѣ явные слѣды того общаго характера, который отмѣчаетъ собой цѣлый періодъ въ развитіи русской литературы. Педагогическія и политическія воззрѣнія Фонъ-Визина, высказываемыя въ его комедіяхъ, заимствованы имъ или прямо изъ французскихъ источниковъ, или посредственно, изъ сочиненій Екатерины II-й. Представителями этихъ воззрѣній служатъ такъ-называемыя моральныя лица въ его пьесахъ: Стародумъ, Правдинъ и Милонъ—въ «Недорослѣ», Добролюбовъ въ «Бригадирѣ», Нельстецовъ въ «Выборѣ гувернера», Здравомыслъ въ «Разговорѣ у княгини Халдиной». Стародумъ — главное лицо между ними: въ журналѣ «Другъ честныхъ людей» отъ его имени высказываются многія весьма важныя политическія мысли, въ «Письмѣ къ Стародуму» Фонъ-Визинъ самъ признается, что личности Стародума обязанъ отчасти «Недоросль» своимъ успѣхомъ на сценѣ и въ печати. Очевидно, что эта роль была чисто-тенденціозной вставкой въ комедіи, и Стародумъ высказывалъ мысли, казавшіяся тогда передовыми и современными. Это обстоятельство должно опредѣлить и нашъ взглядъ на личность Стародума. Стародумъ — не брюзга и не ретроградъ, смотрящій съ ужасомъ на умственное движеніе своего вѣка; онъ далеко не похожъ на тѣхъ питомцевъ Петровскаго времени (въ родѣ Неплюева), которые не признавали въ новыхъ людяхъ ничего путнаго. Точно также Стародумъ не напоминаетъ намъ (вопреки мнѣнію г. Галахова) «почтенную личность отца Фонъ-Визина». Дѣло въ томъ, что отецъ Фонъ-Визина, какъ это видно изъ «Чистосердечнаго призна-

нія» и изъ переписки съ нимъ его сына, не имѣлъ и понятія о новомъ направленіи умовъ въ XVIII вѣкѣ; его библіотека ограничивалась одпѣми книгами назидательнаго содержанія, изъ которыхъ по вечерамъ читалъ онъ отрывки своимъ дѣтямъ. Онъ былъ, правда, честный и нравственный человѣкъ, но этими двумя чертами еще не опредѣляется вполнѣ характеръ Стародума. Не налегая слишкомъ на этимологію слова, мы должны признать, что Стародумъ, хотя и хвалитъ старое время, но заимствовалъ сущность своихъ воззрѣній изъ тѣхъ источниковъ, которыхъ не было прежде въ наличности; ссылаясь на доблести Петровскаго вѣка, онъ говоритъ не какъ сынъ этого вѣка и защитникъ, но какъ полемизаторъ съ цѣлью освѣтить дурныя стороны современнаго общества. Ему надо было прикрыть нападки свои авторитетомъ великаго императора, любившаго грубую простоту и безъискуственность отношеній. Но мысли Стародума о высокомъ значеніи и неприкосновенности человѣческой личности, его горячія филиппики за свободу (въ сценѣ съ Правдинымъ) — все это новыя явленія, которыя не имѣютъ корня въ Петровскомъ времени, но являются результатомъ «освободительной философіи» XVIII вѣка. Короче сказать, Стародумъ—это самъ Фонъ-Визинъ, отчасти раздѣлявшій идеи французскихъ писателей, но ограничивавшій ихъ преимущественно съ религіозно-нравственной стороны. Выражая свою любовь къ племянницѣ, Софьѣ, Стародумъ говоритъ, что онъ «видитъ и почитаетъ въ ней добродѣтель, украшенную разсудкомъ просвѣщеннымъ» (дѣйств. 4, явл. I); разсуждая о вліяніи новыхъ писателей на умы, онъ признаетъ, что они «искореняютъ сильно предразсудки, но

воротятъ съ корня добродѣтель», то есть не даютъ прочныхъ нравственныхъ основъ, которыми такъ дорожитъ Стародумъ.

Разсмотримъ же педагогическія, нравственныя и политическія убѣжденія Стародума, или, что тоже, самого Фонъ-Визина.

Отъ воспитанія юношества Стародумъ требуетъ, прежде всего, нравственнаго воздѣйствія на природу воспитываемыхъ, чтобы образовать въ нихъ добродѣтельныхъ и честныхъ людей и вѣрныхъ слугъ своему отечеству. «Я желалъ бы—говоритъ онъ—чтобъ при всѣхъ наукахъ не забывалась главная цѣль всѣхъ занятій человѣческихъ—благонравіе. Наука въ развращенномъ человѣкѣ есть лютое оружіе дѣлать зло. Просвѣщеніе возвышаетъ одну добродѣтельную душу. Я хотѣлъ бы, напр., чтобы при воспитаніи сына знатнаго господина наставникъ его разогнулъ ему исторію и указалъ въ ней два мѣста: въ одномъ какъ великіе люди способствовали благу своего отечества; въ другомъ, какъ вельможа недостойный, употребившій во зло свою довѣренность и силу, съ высоты пышной своей знатности низвергся въ бездну презрѣнія и поношенія». (Нед., д. V, явл. I). «Воспитаніе,—по мнѣнію Стародума,—должно быть залогомъ государственнаго благосостоянія: ну, что можетъ выйти изъ Митрофанушки?» Оно должно имѣть цѣлью гражданское преуспѣяніе общества, а не подготовку спеціалистовъ: «богослововъ, живописцевъ, столяровъ» — какъ говоритъ самъ Фонъ-Визинъ въ письмѣ къ Панину (П. И.). Государственному элементу въ воспитаніи и общественной жизни Фонъ-Визинъ придавалъ большое значеніе: сторон-

никъ правительства, замышлявшаго многія важныя реформы, онъ склоненъ былъ расширять кругъ его вліянія и задавать ему задачи, лежащія на самомъ обществѣ при болѣе нормальныхъ отправленіяхъ общественной жизни. Обѣ комедіи Фонъ-Визина оканчиваются вмѣшательствомъ власти: въ одномъ случаѣ (въ «Бригадирѣ») «вышнее правосудіе», къ которому прямо обратился Добролюбовъ, возвращаетъ ему отнятое имущество; въ другомъ (въ «Недорослѣ») Правдинъ чиновникъ изъ намѣстнической канцеляріи, прекращаетъ злоупотребленія помѣщичьей власти и отсылаетъ на службу бездѣльника-дворянина. Въ комедіи: «Выборъ гувернера» мѣстный предводитель дворянства изгоняетъ изъ своего уѣзда самозванца-педагога. Обученію въ тѣсномъ смыслѣ, то есть развитію ума познаніями, Фонъ-Визинъ отводитъ также мало мѣста, какъ и Екатерина II-я въ своей «Инструкціи». «На умы мода, говоритъ Стародумъ (въ «Недорослѣ»), на знанія мода, какъ на пряжки, на пуговицы... Умъ, коли онъ только умъ, самая бездѣлица. Съ пребѣглыми умами видимъ мы худыхъ мужей, худыхъ отцевъ, худыхъ гражданъ». Объ односторонности этого направленія въ педагогикѣ, слишкомъ очевиднаго въ настоящее время, мы сказали уже нѣсколько словъ въ своемъ мѣстѣ. Изъ отношеній Стародума къ Софьѣ видно также, какъ много цѣнилъ онъ чувство самоуваженія въ своей воспитанницѣ и какъ мягко и благотворно было его педагогическое вліяніе на нее. О принужденіи и суровыхъ мѣрахъ въ воспитаніи тутъ не можетъ быть и рѣчи. Простирая свое вліяніе и на зрѣлый возрастъ Софьи, Стародумъ объясняетъ ей, что «въ ней самой находится твердое основаніе ея счастія», что

сознаніе своего собственнаго достоинства не должно покидать ее и въ супружествѣ, когда, по общему взгляду того времени, личность жены должна была стушевываться и раболѣпствовать предъ личностью мужа. Въ ея мужѣ онъ надѣялся увидѣть «искренняго и снисходительнаго друга, а не грубаго и развращеннаго тирана»,—человѣка достойнаго ея сердца, который могъ бы свободно овладѣть ея волей и ея помыслами. «Надобно, мой другъ, говоритъ онъ, чтобъ мужъ твой повиновался разсудку, а ты мужу, и будете оба совершенно благополучны». Счастіе супружеской жизни не зависитъ, по его мнѣнію, ни отъ знатности, ни отъ богатства; большая часть несчастныхъ браковъ отъ того и происходитъ, что въ нихъ обращается вниманіе только на чины и матеріальныя средства, а не на сердечную склонность жениха и невѣсты. Не устраняя вполнѣ въ бракѣ преобладанія мужа надъ женою, Стародумъ желаетъ, по крайней мѣрѣ, смягчить и облагородить его взаимнымъ уваженіемъ. Эта скромная попытка, конечно, заслуживаетъ вниманія въ такую пору, когда такъ часты были мужья въ родѣ Гвоздилова (Бригад., д. 4, явл. 2), которые «разсерчавъ за что-нибудь, а больше хмѣльные, гвоздили своихъ женъ ни дай, ни вынести за что». Согласно взгляду Стародума, въ комедіи «Бригадиръ» Софья, влюбленная въ Добролюбова, «не устрашается малаго его достатка», находя въ немъ любовь и почтеніе къ себѣ. Отстаивать полную равноправность жены съ мужемъ, Фонъ-Визинъ не рѣшился, боясь войти въ слишкомъ рѣзкое противорѣчіе съ господствовавшими представленіями о бракѣ и нравственности. Нравственныя правила Фонъ-Визина, подвергнувшіяся значительной перемѣнѣ

съ конца шестидесятыхъ годовъ, опирались на религіозныя основанія. Сознаніе долга въ человѣкѣ есть, по мнѣнію Стародума, «тотъ священный обѣтъ, которымъ обязаны мы всѣмъ тѣмъ, съ кѣмъ живемъ и отъ кого зависимъ». «Сколько я понимаю,—писалъ Фонъ-Визинъ въ письмѣ къ графу П. И. Панину изъ Ахена, отъ 18-го сентября 1778 г.—вся система нынѣшнихъ философовъ состоитъ въ томъ, чтобъ люди были добродѣтельны независимо отъ религіи; но они, которые ничему не вѣрятъ, доказываютъ ли собою возможность своей системы? Кто изъ мудрыхъ вѣка сего, побѣдивъ всѣ предразсудки, остался честнымъ человѣкомъ? Кто изъ нихъ, отрицая бытіе Божіе, не сдѣлалъ интереса единымъ божествомъ своимъ и не готовъ жертвовать ему всею моралью... Истинно, нѣтъ никакой нужды входить съ ними въ изъясненія, почему считаютъ они религію недостойною быть основаніемъ моральныхъ человѣческихъ дѣйствій». Фонъ-Визинъ даже совсѣмъ изгналъ личный интересъ изъ своей нравственной системы, замѣнивъ его другимъ стимуломъ. Но нападая на исходную точку нравственной философіи своего времени, Фонъ-Визинъ отдавалъ ей дань въ своемъ приговорѣ о вліяніи клерикальной партіи во Франціи на воспитаніе высшаго общества. «Первыя особы въ государствѣ—пишетъ онъ въ томъ же письмѣ къ графу Панину—не могутъ никогда много разниться отъ безсловесныхъ «и объясняетъ это тѣмъ, что съ раннихъ лѣтъ «вселяются въ нихъ предразсудки, подавляющіе смыслъ младенческій».

Въ своихъ политическихъ взглядахъ Фонъ-Визинъ болѣе сближался съ французскими мыслителями, чѣмъ въ вопро-

сахъ религіи и нравственности. Въ письмахъ изъ Франціи къ графу Панину Фонъ-Визинъ порицаетъ королевское правительство за lettres de cachet, за don gratuit, вынуждаемый силою, за нерадѣніе о провинціяхъ. Все это вызывало уже рѣзкія нападки передовыхъ французскихъ мыслителей. «Слушай, другъ мой! говоритъ Стародумъ Правдину (Нед., д. V, явл. I): великій государь есть государь премудрый. Его дѣло показать людямъ прямое ихъ благо. Слава премудрости его та, чтобы править людьми, потому что управляться съ истуканами нѣтъ премудрости... Достойный престола государь стремится возвысить души своихъ подданныхъ». Это «возвышеніе душъ» сильно занимало Фонъ-Визина въ теченіе всей его жизни. Главнымъ средствомъ къ тому Фонъ-Визинъ считалъ: распространеніе въ обществѣ, по иниціативѣ верховной власти, правильныхъ понятій о политическихъ правахъ и обязанностяхъ, отмѣну нѣкоторыхъ стѣснительныхъ формъ и условій государственной жизни и, наконецъ, свободу мыслить и изъясняться, при которой частные люди, то есть писатели, считали бы за долгъ «возвысить громкій голосъ противъ злоупотребленій и предразсудковъ, вредящихъ отечеству», не боясь «ни одной робкой души, обитающей въ тѣлѣ знатнаго вельможи». Разсуждая о причинахъ, препятствующихъ у насъ развитію ораторскихъ талантовъ, Стародумъ (см. Другъ честн. людей, письмо изъ Москвы, февр. 1788 г.) сожалѣетъ, что «мы не имѣемъ тѣхъ народныхъ собраній, кои витіи большую дверь къ славѣ отворяютъ, и гдѣ побѣда краснорѣчія не пустою хвалой, но претурою, архонціями и консульствами вознаграждается. Демосѳенъ и Цицеронъ въ той землѣ, гдѣ даръ

краснорѣчія въ однихъ похвальныхъ словахъ ограниченъ, были бы риторы не лучше Максима Тирянина, а Прокоповичъ, Ломоносовъ и проч. въ Аѳинахъ и Римѣ были бы Демосѳены и Цицероны»... Свобода и «право повиноваться единымъ законамъ» не исключали, по мысли Фонъ-Визина (также какъ и Екатерины II въ «Наказѣ») раздѣленія народа на сословія, съ предпочтеніемъ одного класса другому. Полное равенство состояній казалось Фонъ-Визину праздною мечтою. «Нигдѣ и никогда, — говоритъ Нельстецовъ въ «Выборѣ гувернера»,—не бывали и быть не могутъ такіе законы, кои бы частнаго человѣка счастливымъ сдѣлали. Необходимо, чтобы одна часть подданныхъ чѣмъ нибудь жертвовала: слѣдственно, равенство состояній и быть не можетъ. Оно есть вымыселъ ложныхъ философовъ». Дворянскому классу Фонъ-Визинъ отводилъ первое мѣсто въ государствѣ, но требовалъ отъ него особенныхъ заслугъ передъ отечествомъ и добродѣтели, затмѣвающей всѣ достоинства другихъ сословій. «Еслибъ такъ должность исполняли, какъ объ ней твердятъ,—говоритъ Стародумъ,—всякое состояніе людей осталось бы при своемъ любочестіи и было бы совершенно счастливо. Дворянинъ, напримѣръ, считалъ бы за первое безчестье не дѣлать ничего, когда есть ему столько дѣла: есть люди, которымъ помогать, есть отечество, которому служить. Тогда не было бы такихъ дворянъ, которыхъ благородство, можно сказать, погребено съ ихъ предками».

Своими переводами, изъ которыхъ три «Похвальное слово Марку Аврелію», «Жизнь Сиѳа» и «Торгующее дворянство» особенно характеристичны для оцѣнки литературной дѣятельности Фонъ-Визина, онъ развивалъ и дополнялъ тѣ же мысли

о лучшемъ политическомъ устройствѣ. Въ первомъ изъ этихъ переводовъ, въ длинной похвальной рѣчи стоическаго философа Аполлонія, Маркъ Аврелій ставится въ образецъ государямъ за его мудрое и кроткое правленіе. По взгляду Марка Аврелія, «человѣкъ рожденъ свободнымъ, но, въ необходимости быть управляемъ, покорился законамъ, но никогда не покорялся прихотямъ государскимъ». Въ «Жизни Сиѳа» мемфисскій жрецъ, въ своей надгробной рѣчи царицѣ, превозносилъ ее, какъ мудрую правительницу, которая «добродѣтель свою посвящала благополучію своихъ подданныхъ», издавала премудрыя узаконенія и проч. Умершая царица «знатныхъ особъ честь сохранить старалась, но притомъ не допускала ихъ преступить предѣлы должнаго себѣ повиновенія, народныя тягости облегчала своимъ милосердіемъ. Судьи не были грабители царскаго сокровища, и всякій подданный несъ требуемую отъ него государю дань самопроизвольно, зная, что она даръ не судьямъ, но самому царю». Въ брошюрѣ о «Торгующемъ дворянствѣ» авторъ полемизируетъ съ «храбрымъ дворяниномъ», маркизомъ де-Лассе, который доказывалъ, что дворянству унизительно заниматься торговлею и что если дворяне сдѣлаются хоть на время купцами, то въ нихъ пропадетъ рыцарскій духъ, составляющій гордость и украшеніе Франціи. Въ своемъ отвѣтѣ авторъ говоритъ, что во Франціи гораздо больше дворянъ, чѣмъ сколько нужно ихъ для офицерскихъ мѣстъ въ арміи, слѣдовательно бо̀льшая часть ихъ могла бы, безъ ущерба для государства, обратиться къ купеческой дѣятельности и содѣйствовать обогащенію страны. Бѣдный дворянинъ, для котораго нѣтъ мѣста на войнѣ, могъ бы сказать, по мнѣнію автора, своему воспитателю: «ты съ юныхъ

лѣтъ сказывалъ намъ, что счастія своего должны искать мы единою войною. Уже научились мы смѣяться надъ неблагородными людьми, поднимать оружіе, обижать сосѣдей, и совершенно къ войнѣ пріуготованы... Но видимъ, что съ тѣхъ поръ, какъ старшій братъ нашъ туда посланъ, терпимъ мы въ платьѣ недостатокъ, и какія трудности имѣли мы къ снисканію сего поруческаго мѣста! Можетъ быть, безъ покровительства нашего благодѣтеля мы бы и въ томъ успѣха не имѣли: Уже триста лѣтъ не посѣщаетъ счастіе нашъ старый замокъ и ожидать онаго надежды не имѣемъ. Что намъ дѣлать шпагою, когда кромѣ голода не имѣемъ мы другихъ непріятелей?» Брошюра эта появилась въ то время, когда во Франціи раздавались голоса противъ феодальныхъ привилегій и среднее сословіе готовилось выступить на сцену. Толки о среднемъ состояніи или «третьемъ чинѣ» зашли и въ нашу литературу: въ «Наказѣ» Екатерины, въ докладахъ Бецкаго мы видимъ упоминаніе объ немъ. Во время этихъ толковъ Фонъ-Визинъ перевелъ цѣлую книгу (оставшуюся неизданной) «О среднемъ сословіи» и написалъ свое разсужденіе о немъ. Онъ, какъ видно, желалъ возвысить и облагородить средній классъ, присоединивъ къ нему даже многія дворянскія фамиліи, не имѣющія крупной поземельной собственности. Есть основаніе думать, что, сочувствуя взглядамъ графа Н. И. Панина, пристрастнаго къ аристократическому принципу, Фонъ-Визинъ не прочь былъ бы видѣть и въ Россіи нѣчто въ родѣ англійской аристократіи *).—

*) Въ запискахъ М. А. Фонъ-Визина (стр. 47—48) разсказывается, что Д. И., съ согласія и частію по указаніямъ графа Панина, составилъ проектъ новаго государственнаго устройства, по которому крѣпостное право осуж-

Въ своихъ вопросахъ Екатеринѣ II-й Фонъ-Визинъ также затрогивалъ государственные вопросы: между прочимъ, онъ говорилъ о награжденіи дворянскимъ достоинствомъ особенно отличившихся купцовъ (вопр. 4) и о той пользѣ, какую могла бы принести гласность въ судебныхъ дѣлахъ (вопр. 5). Но эта же переписка доказываетъ намъ, какъ мало было самостоятельности въ его литературныхъ требованіяхъ: стоило только напомнить Фонъ-Визину о «свободоязычіи» и «образцовомъ послушаніи», какъ изъ просвѣщеннаго мыслителя и критика общественныхъ явленій онъ становился подсудимымъ, обязаннымъ оправдываться. Новое направленіе, распространявшееся тогда у насъ, до тѣхъ поръ только пользовалось льготами, пока отъ него не отказались въ высшихъ кружкахъ нашего общества.

Что касается до художественнаго достоинства произведеній Фонъ-Визина, до полноты и жизненности типовъ, выведенныхъ имъ въ двухъ комедіяхъ—то объ этомъ такъ много говорилось въ русской литературѣ, что намъ остается только подвести краткій итогъ всему сказанному и прибавить нѣсколько словъ о разработкѣ этихъ типовъ въ другихъ современныхъ произведеніяхъ. О «моральныхъ лицахъ» въ комедіяхъ Фонъ-Визина мы высказали уже наше мнѣніе. Слѣдуетъ прибавить, что вообще такія лица, весьма интересныя для исторіи умственнаго развитія своего вѣка, составляютъ недостатокъ пьесы со стороны драматическаго движенія. Крас-

далось на постепенное уничтоженіе, предполагались различныя измѣненія въ составѣ сената и проч. Отъ этого проекта сохранилось только одно введеніе. Вѣроятно, это и было то политическое сочиненіе, о которомъ упоминаетъ князь Вяземскій въ своемъ замѣчательномъ трудѣ о «Фонъ-Визинѣ».

горячо высказывая свои мысли и чувства, они несо-всѣмъ умѣстны въ художественной конструкціи драмы и составляютъ какъ бы излишній придатокъ, нужный не для хода дѣйствія, а для того только, чтобы познакомить публику съ воззрѣніями самого автора. Это не живыя, одушевленныя фигуры, а тенденціи автора, облеченныя въ драматическій костюмъ для удобнѣйшаго вліянія на партеръ: Фонъ-Визину надо было сочинять для нихъ реальный образъ, а не брать его изъ дѣйствительности. Совсѣмъ другое дѣло—тѣ полныя комизма личности, которыя живутъ, мыслятъ по-своему и свободно движутся въ пьесахъ, доставляя и теперь большое наслажденіе читателю. Тутъ автору не приходилось выдумывать искусственныхъ образовъ: сама жизнь подсказывала ему и руководила его талантомъ. Личности эти: Простакова, Митрофанушка, Скотининъ, Еремѣевна и учителя Митрофанушки—въ «Недорослѣ»; Бригадиръ съ женой и сыномъ Иванушкой, Совѣтникъ и Совѣтница—въ «Бригадирѣ». Не смотря на нѣкоторую шаржировку и наклонность къ каррикатурѣ въ обѣихъ пьесахъ, дѣйствующія лица, названныя нами, выручаютъ ихъ въ художественномъ смыслѣ, какъ цѣльные типы, блистательно заключающіе въ себѣ различныя проявленія тогдашней семейной и общественной жизни. Воспитаніе Митрофанушки или, лучше сказать, одно питаніе, по выраженію Сорванцова въ «Разговорѣ у кн. Халдиной», исключительныя заботы матери о томъ, чтобы сынокъ ея кушалъ какъ можно больше и учился какъ можно меньше—все это почерпнуто прямо изъ русскихъ нравовъ XVIII-го столѣтія и подтверждается десятками указаній въ сатирическихъ журналахъ, мемуарахъ и комедіяхъ того вре-

мени. Разсужденія Простаковой о безполезности наукъ, нападки Скотинина на грамоту коренились глубоко въ русскомъ обществѣ, не вдругъ уступая мѣсто новымъ взглядамъ, проповѣдуемымъ самимъ правительствомъ. Въ комедіяхъ Екатерины II мы встрѣчаемъ лицъ, которыя недоумѣваютъ: зачѣмъ это правительство учитъ грамотѣ «подкидышковъ» воспитательнаго дома; много раньше у Кантемира осмѣяны старички, толкующіе:

Живали мы прежъ сего, не зная латыни,
Гораздо обильнѣе, чѣмъ живемъ мы нынѣ;
Гораздо въ невѣжествѣ больше хлѣба жали,
Перенявъ чужой языкъ, свой хлѣбъ потеряли.

Уступая необходимости учить чему-нибудь своего сына, Простакова нанимаетъ ему русскихъ учителей, но ей все кажется, что они замучатъ Митрофанушку. Больше удовлетворяетъ ее нѣмецъ Вральманъ, не докучавшій барскому сынку никакою книжною премудростью. И надо сказать, что этотъ Вральманъ поступалъ весьма благоразумно: вздумай онъ принуждать или уговаривать Митрофанушку къ занятіямъ—онъ могъ-бы пострадать такъ, какъ пострадалъ въ одномъ разсказѣ «Всякой Всячины» *) учитель французъ, вздумавшій прибѣгнуть къ энергическимъ мѣрамъ. Бабушка, матушка и нянюшка въ родѣ Еремѣевны чуть было не выцарапали ему глаза. Въ противоположность материнскому баловству Простаковой, встрѣчаемъ мы отеческую строгость Бригадира, который обѣщается изуродовать своего взрослаго сына. Подобныя обѣщанія часто сбывались въ тѣ дни, какъ это опять ви-

---

*) Въ изданіи «Всякой Всячины», еженедѣльнаго сатирическаго листка, принимала участіе сама императрица Екатерина II.

димъ мы изъ сатирическихъ журналовъ. Жестокость Простаковой въ обращеніи съ своими крестьянами («дамъ же я зорю канальямъ людямъ!») нимало не преувеличена Фонъ-Визиномъ. Въ доказательство приведемъ хоть мнѣніе Безразсуда (въ «Трутнѣ») о своихъ крѣпостныхъ: «я господинъ, они мои рабы; они для того сотворены, чтобы, претерпѣвая всякія нужды, день и ночь работать и исполнять мою волю исправнымъ платежемъ оброка; они, памятуя мое и свое состояніе, должны трепетать моего взора».

Но кромѣ лицъ стараго покроя, упорныхъ въ своей преданности старинѣ, мы находимъ у Фонъ-Визина и новаторовъ, которые отбросили дѣдовскія привычки и вкусили кое-чего отъ плодовъ европейской цивилизаціи. Иванушка и Совѣтница въ «Бригадирѣ» сѣтуютъ на свою судьбу за то, что они родились не въ Парижѣ и не имѣютъ возможности говорить на французскомъ діалектѣ. Это другая сторона тогдашней жизни, не уступающая первой въ своемъ комизмѣ. Если Бригадирша такъ первобытно проста и недальновидна, что не понимаетъ «амурнаго» объясненія Совѣтника и только тогда озлобляется, когда ей растолковываютъ просьбу влюбленнаго,—то Совѣтница, наоборотъ, такъ свѣтски развязна, что норовитъ затѣять интригу подъ носомъ у своего мужа и жалѣетъ лишь о томъ, что всѣ «сосѣди неучи и живутъ обнявшись съ своими женами». Бригадирша ничего не знаетъ, кромѣ хозяйства и скопленія денегъ, Совѣтница—ничего, кромѣ туалета и мотовства; одна воспитана на «Домостроѣ», другая—на модныхъ картинкахъ. Въ наукѣ обѣ онѣ сильны одинаково. Словомъ, Совѣтница—одна изъ тѣхъ щеголихъ, на которыхъ часто нападалъ Новиковъ въ своихъ журна-

лахъ. Въ его «Живописцѣ» мы встрѣчаемъ такое описаніе: «Щеголиха говоритъ: какъ глупы тѣ люди, которые въ наукахъ самыя прекрасныя лѣта погубляютъ. Ужесть какъ смѣшны ученые мужчины, а наши сестры ученыя—о! онѣ то совершенныя дуры. Безпримѣрно, какъ онѣ смѣшны! Не для географіи одарила насъ природа красотою лица, не для математики дано намъ острое и проницательное понятіе; не для исторіи награждены мы плѣняющимъ голосомъ, не для физики вложены въ насъ нѣжныя сердца. Для чего же одарены мы сими преимуществами? — чтобъ были обожаемы. Въ словѣ: «умѣть нравиться» всѣ наши заключаются науки». Личность Совѣтника также вѣрна дѣйствительности. Ханжа и взяточникъ, толкующій указы на сто ладовъ, онъ есть представитель той многоглавой гидры лихоимства, противъ которой вооружилась Екатерина II въ своемъ знаменитомъ манифестѣ отъ 18-го іюля 1762 г. Изъ ея словъ видно, что «самые малые судьи, управители и разные къ досмотрамъ приставленные командиры берутъ съ бѣдныхъ самыхъ людей не токмо за дѣла безвинныя, дѣлая привязки по силѣ будто указовъ, въ самомъ дѣлѣ во зло только ими истолкованныхъ, и раззоряя за то ихъ домы и имѣнія, но и за такія, которыя не инако, какъ нашего благоволенія и милости высочайшей достойны» и проч.

Эти краснорѣчивыя строки находятъ себѣ оправданіе во всѣхъ литературныхъ произведеніяхъ екатерининскаго вѣка.

ОСЬМНАДЦАТЫЙ ВѢКЪ ВЪ РУССКОЙ ИСТОРІИ.

(Осьмнадцатый вѣкъ. Историческій сборникъ, издаваемый Петромъ Бартеневымъ. Москва. Три книги. 1868—1869 г.).

I.

Г. Бартеневъ, издатель извѣстнаго «Русскаго Архива», выпускаетъ уже 3-й томъ особаго историческаго сборника, посвященнаго исключительно людямъ и событіямъ «петербургскаго періода» русской исторіи. Сюда входятъ матеріалы, составляющіе, такъ сказать, избытокъ «Русскаго Архива»—преимущественно большія статьи, неудобныя для помѣщенія въ періодическомъ изданіи, которое отличается, какъ извѣстно, нарочито-тощими размѣрами. Этотъ избытокъ г. Бартеневъ старается группировать въ порядкѣ, пригодномъ для изслѣдователя: такимъ образомъ, первый томъ наполненъ почти весь статьями и мелкими свѣдѣніями, касающимися царствованія императрицы Екатерины II-й; во второмъ томѣ собраны, за немногими исключеніями, матеріалы для исторіи Петра II-го, Анны Іоанновны и Елизаветы Петровны; третій томъ, составленный разнообразнѣе первыхъ, предлагаетъ новые любопытные документы изъ временъ Анны Іоанновны, Екатерины II-й и Павла Петровича. Кромѣ того, въ третьемъ томѣ помѣщена отдѣльная, не безъинтересная статья объ Екатеринѣ I-й, за-

ключающая въ себѣ новый для русской публики разсказъ о сближеніи Петра съ своей второю супругою. Всѣ эти данныя, — за собираніе которыхъ нельзя не выразить благодарности г. Бартеневу, хотя его личное участіе и ограничивается здѣсь одними коротенькими и не всегда умѣстными подстрочными примѣчаніями, — всѣ эти письма, рапорты, реляціи и судебные протоколы, даже напечатанные сырьемъ, безъ всякой прагматической обработки или съ обработкой крайне слабою и, мѣстами, фальшивою, заключаютъ, однако, сами въ себѣ такія любопытныя и важныя черты нашего общественнаго и политическаго быта минувшаго времени, что по нимъ легко становится возсоздать себѣ точную историческую картину той мишурно-блестящей эпохи, которую Лермонтовъ запечатлѣлъ въ нашей памяти своими выразительными стихами:

Была пора, боярская пора!
Тѣснилась знать въ роскошные покои,
    Былая знать минувшаго двора,
Забытыхъ дѣлъ померкшіе герои.
Музыкой тамъ гремѣли вечера,
    Въ Невѣ дробился блескъ высокихъ оконъ,
Напудренный мелькалъ и вился локонъ.
И часто ножка съ краснымъ каблучкомъ
    Условный знакъ давала подъ столомъ,
А старички въ звѣздахъ и брилліантахъ
Судили рѣзко о тогдашнихъ франтахъ...

И франты, и старцы, и гордыя красавицы съ ихъ могущественными повелителями, всѣ «забытыя дѣла» и «померкшіе герои» очерчиваются, мало-по-малу, такими вѣрными и рѣзкими штрихами, что недалеко уже то время, когда къ нимъ можно будетъ относиться—съ одной стороны безъ

диѳирамбической казенщины и неуклюжей марсоманіи историковъ «древляго благочестія», а съ другой—безъ пошленькаго зубоскальства и анекдотическаго пустомельства разныхъ новѣйшихъ историковъ, которые разыскиваютъ съ упорствомъ полицейскихъ сыщиковъ: въ какой церкви вѣнчалась съ Разумовскимъ Елизавета Петровна, во что обошлось ей подвѣнечное платье, разыскиваютъ и излагаютъ все это съ достодолжною точностью, приправляя свое изложеніе то пряными шуточками, то философскими афоризмами въ родѣ того, что яйца, дескать, курицу не учатъ. Но за этими мелочами и козявками новѣйшіе историки, совершенно обдѣленные способностью анализировать факты и обобщать идеи, не примѣчаютъ настоящаго слона, т. е. внутренняго смысла развязно повѣствуемыхъ ими событій. Какая изъ двухъ крайностей хуже: устряловскіе ли coups d'oeil или пикантные анекдоты въ родѣ Балакирева—выбирать довольно трудно; намъ кажется только, что обѣ онѣ отжили или, по крайней мѣрѣ, отживаютъ свой вѣкъ. Мы, конечно, не имѣемъ цѣлью, въ небольшомъ историческомъ очеркѣ, уловить и охарактеризовать всѣ существеннѣйшіе мотивы нашей исторической трагикомедіи XVIII столѣтія: такой трудъ потребовалъ бы, во всякомъ случаѣ, обширнаго спеціальнаго изслѣдованія, чтобы охватить съ приличною полнотою эпоху, богатую различными пертурбаціями; мы хотимъ только намѣтить слегка тѣ крупные пункты, на которыхъ, по нашему мнѣнію, должно преимущественно останавливаться вниманіе историковъ-прагматистовъ.

Прежде всего въ нашей задачѣ представляется вопросъ о власти и престолонаслѣдіи. До Петра I характеръ власти

московскаго государя приближался къ патріархальному деспотизму азіатскихъ владыкъ, съ тою же сильною примѣсью теократическаго элемента. Іоаннъ Грозный недаромъ считалъ настоящими, «заправскими» государями только себя, да турецкаго султана, а къ польскому королю, ограниченному волею народа, чувствовалъ полнѣйшее, ничѣмъ нескрываемое, пренебреженіе. Самый титулъ царя, принятый Іоанномъ, чтобы отличить себя, по объему власти, отъ великихъ князей, примѣнялся прежде къ монгольскому хану и выражалъ понятіе безусловнаго, деспотическаго господства. Въ своемъ спорѣ съ княземъ Курбскимъ, признававшимъ за Москвою только тотъ типъ власти, который сложился въ Россіи въ удѣльныя времена, — Іоаннъ съ негодованіемъ отвергаетъ какъ политическое, такъ и нравственное ограниченіе своего произвола, при чемъ ссылается, главнымъ образомъ, на перетолкованные имъ тексты св. писанія и на примѣры византійскихъ монарховъ. «Тіи всѣ—пишетъ онъ объ иностранныхъ государяхъ въ своемъ нескладномъ и бранчивомъ посланіи—царствіи своими не владѣютъ: како имъ повелятъ работные ихъ, такъ и владѣютъ; а россійское самодержавство изначала сами владѣютъ всѣми царствы, а не бояре и вельможи. И того въ своей злобѣ не могъ еси разсудити, нарицая благочестіемъ, еже подъ властію нарицаемаго попа и вашего злочестія повелѣнія самодержству быть! А се по твоему разуму нечестіе, еже отъ Бога данной намъ власти своимъ владѣти и не восхотѣхомъ подъ властію быти попа и вашего злодѣянія... Или убо сіе свѣтло: попу и прегордымъ, лукавымъ рабомъ владѣти, царю же токмо предсѣданіемъ и царствія честію почтенну быти, властію же ни-

чѣмъ же лучше быти раба?» Въ этихъ словахъ явно отразился совѣтъ, данный царю Вассіаномъ: «Аще хочеши самодержцемъ быти, не держи себѣ совѣтника ни единаго мудрѣйшаго себя: понеже самъ еси всѣхъ лучше; тако будеши твердъ на царствѣ, и все имѣти будеши въ рукахъ своихъ! Аще же будеши имѣти мудрѣйшихъ близу себя, по нуждѣ будеши послушенъ имъ». Петръ Великій, принявъ власть при другихъ обстоятельствахъ и намѣреваясь воспользоваться ею для иныхъ цѣлей, пересталъ удовлетворяться и тѣмъ теоретическимъ фундаментомъ, который подвели подъ нее иконописные московскіе государи. Сбросивъ съ себя парчевый архіерейскій нарядъ древнихъ царей, Петръ задумалъ секуляризировать и самую свою власть, поставивъ ее на другія, болѣе современныя начала. Съ этою цѣлью онъ обращался уже къ европейской литературѣ и оттуда почерпалъ необходимые для него доводы и примѣры. Изъ европейскихъ писателей того времени всѣхъ больше пользовался его сочувствіемъ Самуилъ Пуффендорфъ, который, по словамъ Шерра, «впервые сдѣлалъ естественное и международное право предметомъ академическаго изученія». Теорію государственной власти Пуффендорфъ выводилъ изъ естественныхъ законовъ человѣческаго общежитія и, давая этой власти почти безграничную юрисдикцію надъ отдѣльною личностью, требовалъ однако, чтобы правители отдавали себѣ отчетъ въ своихъ поступкахъ, направляя ихъ къ возможно большей пользѣ народа, который, въ свою очередь, хотя «съ почтеніемъ», но вправѣ былъ—заявлять свои нужды и возражать противъ несвоевременныхъ государственныхъ мѣръ. Книги Пуффендорфа, «сладостно отъ всѣхъ

чтомыя», переводились на русскій языкъ по распоряженію самого Петра. Въ одной изъ этихъ книгъ, разсуждая о «должностяхъ человѣка и гражданина», Пуффендорфъ касался фундаментальнаго вопроса въ естественномъ правѣ—о происхожденіи закона и о степени обязательности его для общества. «Понеже—говоритъ онъ—дѣйствія человѣческія отъ воли происходятъ, воли же каждаго человѣка не всегда себѣ подобныя, но разныхъ въ разная идутъ, того ради для благочинія и изрядства въ родѣ человѣческомъ потребно было правилу нѣкоему быти, которому бы оныя воли согласовалися. Инако бы, аще бы въ таковой свободности воли и въ такой приклонности и хотѣніи различности всякъ безъ разсужденія къ извѣстному правилу, еже бы хотѣлъ — творилъ, невозможно было бы не быти великому смѣшенію и безчинію въ родѣ человѣческомъ. Правило оное именуется закономъ, который есть декретъ или установленіе, которымъ начальствующіе подчиненнаго обязываютъ, дабы по оному уставу свои дѣйствія согласовалъ».

«Налагается же обязательство умамъ человѣческимъ—продолжаетъ онъ—собственно отъ начальствующаго, то есть таковаго, который не токмо имѣетъ власть нѣкое бѣдство противляющимся содѣлать, но который **имѣетъ праведныя причины, для чего, по мнѣнію своему, воли нашея свободности хощетъ употребляти.** Таковая бо власть, аще въ которомъ есть, когда аще изволеніе свое объявитъ, то подобаетъ, дабы умъ человѣческій со страхомъ и почтеніемъ къ тому присталъ: со страхомъ для власти, а съ почтеніемъ разсуждая причины, которыя бы безъ страха подвизать должны къ исполненію

и воспріятію воли его. Кто бы ни единой причины показать не можетъ, для чего мнѣ, и не хотящу, обязательство хощетъ наложити, кромѣ единаго насилія, той мене устрашити можетъ, дабы зла вящаго удаляяся, ему повиновался; но когда страхъ минуетъ, тогда все могу паче по моей волѣ, нежели по его дѣлать... причины же, для которыхъ кто праведно требовати можетъ, дабы другій былъ ему подчиненъ, сія суть: аще отъ того сему великія благодѣянія явлены; аще явится, что той благожелаетъ ему и о немъ смотрѣніе вящее имѣетъ, нежели бы онъ о себѣ моглъ имѣти. Такожде аще самимъ дѣломъ подъ его правленіемъ долженъ быть, и егда самъ себѣ добровольно подчинилъ и подъ правленіемъ тѣмъ быть восхотѣлъ». Если мы сопоставимъ эти взгляды съ мнѣніями Милля, который, во имя свободы и человѣческихъ правъ, доводитъ до минимума власть государства надъ личностью,—то ихъ философія, безъ сомнѣнія, покажется теперь довольно ограниченной и незамысловатой; но съ другой стороны ее невозможно и сравнивать съ недопускающей никакихъ возраженій силлогистикой московскаго царя. Такова же разница и въ политической дѣятельности Петра и Іоанна Грознаго, хотя недальновидные анекдотисты стараются поставить ихъ на одну доску, приравнивая даже безсмысленное и звѣрское убійство сына Іоанномъ къ строго-мотивированной и весьма понятной въ государственномъ смыслѣ карѣ надъ царевичемъ Алексѣемъ. Увлекался или нѣтъ первый русскій императоръ въ своихъ преобразовательныхъ планахъ, всегда ли хороши и дѣйстви тельны были средства, употребленныя имъ для

достиженія своихъ цѣлей? — это подлежитъ суду историческoй критики; но неоспоримо то, что онъ имѣлъ болѣе или менѣе «праведныя причины», т.-е. раціональныя основанія для своихъ дѣйствій, что онъ надѣялся ими «явить благодѣянія» своему народу и что, наконецъ, всѣ мыслящіе люди того времени были положительно на его сторонѣ, хотя онъ и не забывалъ—по ученію Пуффендорфа—«нѣкое бѣдство противляющимся содѣлать». Пользуясь на практикѣ безграничною властью, перешедшей къ нему отъ предковъ, во всей ея обширности и нерѣдко со всѣми злоупотребленіями, ей свойственными, Петръ, въ то же время, указывалъ для нея такіе мотивы и оправданія, которые не имѣютъ ничего общаго съ самоуслаждающимся тиранствомъ лже-игумена Александровской слободы. Кромѣ Пуффендорфа, Петръ пользовался краснорѣчіемъ извѣстнаго Өеофана Прокоповича,—и этотъ послѣдній, защищая съ церковной каѳедры передъ своими слушателями нововводимыя реформы, не ограничивался одними текстами, но присоединялъ къ нимъ научныя доказательства и соображенія здраваго разума. «Аще же—говоритъ онъ въ одной проповѣди о происхожденіи власти въ государствѣ—когда обрѣтаемъ нѣкое грубое народище безглавное (хотя и не весьма такое, ибо во всякомъ домовствѣ свой правитель есть) таковыхъ человѣкъ скотомъ обычнѣ уподобляемъ и описуемъ ихъ сею притчею: ни царя, ни закона. Извѣстно убо имамы, яко власть верховная отъ самаго естества начало и вину пріемлетъ, а еже отъ естества, то отъ самого Бога, создателя естества». Въ этихъ словахъ Прокоповичъ ссылается уже на естественное право, которое разработывалось въ то время Пуффендорфомъ и насаждалось въ Россіи

рукой самого правительства. Замѣтимъ еще, что Екатерина, въ лучшій періодъ своей дѣятельности, справедливо считала себя продолжательницей Петрова дѣла:—какъ онъ искалъ для себя поддержки въ идеяхъ, выработанныхъ передовыми европейскими мыслителями, такъ точно и она (съ тѣми же уклоненіями на практикѣ) вдохновлялась идеями, заимствованными у французскихъ энциклопедистовъ. И тотъ, и другая внесли много хорошаго въ русскую жизнь, и оба нерѣдко измѣняли себѣ отражая въ своей дѣятельности вліяніе обстановки, глубоко испорченной крѣпостнымъ и политическимъ рабствомъ.

Всматриваясь глубже въ характеръ и отправленія государственной власти при Петрѣ I мы найдемъ въ ней сходство— не съ азіатскимъ тиранствомъ Іоанна Грознаго, но съ безсмѣнной желѣзной диктатурой, которая возникаетъ въ исторіи въ моментъ крутаго перелома всѣхъ общественныхъ отношеній, какъ напримѣръ при Кромвелѣ или въ первую французскую революцію. О Петрѣ не безъ основанія говорятъ, что онъ произвелъ революцію—не снизу, а сверху. Своимъ государственнымъ авторитетомъ онъ пользуется только для того, чтобы смѣлѣе и глубже провести занимающую его идею, внѣ которой для него не существуетъ ни правды, ни спасенія; лично для себя ему ничего не нужно, кромѣ простаго кафтана, одноколки и бутылки пива. Онъ работаетъ топоромъ на верфи вовсе не для забавы, чтобы убить праздное время: у него, дѣйствительно, мозоли не сходятъ съ рукъ, и онъ влюбленъ въ морское дѣло, какъ и во всю вообще европейскую культуру, представлявшую такой рѣзкій контрастъ съ нашей отечественной дикостью. Это—настоящій фанатикъ мысли, крѣпко запавшей ему въ голову; фанатикъ пламеннаго желанія—

сдвинуть Россію съ той узкой колеи, въ которую загнало ее невѣжество въ соединеніи съ ничѣмъ невозмутимымъ китайскимъ самодовольствомъ. Идея реформы, смутно бродившая до Петра въ немногихъ умахъ, сдѣлалась при немъ идеей воинствующей: ею опредѣлялъ преобразователь сво и отношенія не только къ государству, но и къ своей собств енной семьѣ. Все, что прямо противодѣйствовало осуществл енію этой идеи; все, что даже окрашивалось подозрительнымъ цвѣтомъ и могло бы послужить вывѣской или подспорьемъ противоположному направленію, получало въ глазахъ фанатическаго ревнителя видъ преступной крамолы или опаснаго зложелательства и, на этомъ основаніи, уничтожалось безъ пощады и замедленія. Не забудемъ, что вопросы, замѣшанные въ этой борьбѣ, были поставлены крайне рѣзко, и страсти напряжены до послѣдней степени; никакой сдѣлки и перемирія не допускали сами враждующія стороны. Стрѣльцы для Петра были такими же представителями ancien régime, какими были для французскаго конвента вандейцы и ихъ приверженцы; сотрудники Петра и всѣ вообще люди, усвоившіе себѣ европейскія понятія, казались стрѣльцамъ отщепенцами и новаторами, которыхъ надо было вырвать, какъ плевелы, изъ «святорусской» земли. Возможны ли тутъ были какія нибудь соглашенія и обоюдныя уступки? Покончивъ стрѣлецкое дѣло съ жестокостью, рекомендующей весьма крѣпкіе нервы и у казнимыхъ, и у казнившихъ, Петръ съ ужасомъ замѣтилъ, что подъ его реформы идутъ подкопы съ другой стороны, изъ-подъ защиты семейнаго крова, гдѣ пріютился царевичъ, большой любитель благочестивыхъ старцевъ, вздыхавшихъ о старинѣ,

и непримиримый врагъ всѣхъ заморскихъ нововведеній. Этотъ юноша, еще не убивъ медвѣдя, собирался уже дѣлить его шкуру и мечталъ о томъ, какія рѣки млека и меда потекутъ по Россіи, когда онъ выкуритъ изъ нея всякій духъ «новшества», т.-е. европейской цивилизаціи. Разгнѣванный Петръ поступилъ на этотъ разъ какъ совершенный диктаторъ, дорожащій единственно успѣхомъ идеи, которую онъ призванъ осуществить. Не задумываясь нимало, онъ, въ числѣ многихъ разрушенныхъ преданій, пошатнулъ даже ту традицію, въ силу которой ему самому достался престолъ, а именно объявилъ, что онъ самъ выберетъ себѣ наслѣдника, способнаго продолжать его дѣло. Обычай наслѣдственности престола по кровному родству подрѣзывался подъ корень, вопреки мнѣнію большинства, выразившемуся въ цѣлой массѣ подметныхъ или,—какъ ихъ называли тогда,—«воровскихъ» писемъ; на мѣсто ненадежной традиціи, обманувшей Петра бовъ его собственномъ сынѣ, становилась воля преобразователя, лѣе застрахованная, какъ ему казалось, отъ неудачи или ошибки. И Петръ выбралъ себѣ наслѣдницу — женщину, возведенную имъ изъ ничтожнаго званія на высшую ступень въ государствѣ, бѣдную иностранку, у которой единственной опорой былъ ея царственный мужъ, и для которой, слѣдовательно, не было другой дороги, какъ держаться тѣхъ же людей и тѣхъ же цѣлей, какъ и самъ Петръ. Вѣнчая Екатерину въ 1724 г., Петръ, въ присутствіи главныхъ сановниковъ государства, говорилъ, что заслуги Екатерины передъ Россіей велики, что она раздѣляла съ нимъ его труды, отправляясь даже въ походы, и что, наконецъ, женщина, спасшая государство въ 1711 г. (въ Прутской катастрофѣ), достойна

править этимъ государствомъ. Безъ сомнѣнія, Петръ сильно преувеличивалъ заслуги своего созданія; но достовѣрно однако то, что Екатерина нерѣдко принимала участіе въ дѣловыхъ бесѣдахъ своего мужа, и тогдашніе сановники признавались, что ея совѣты и соображенія разрѣшали подъ часъ, удачнымъ образомъ, правительственные вопросы. Самъ Петръ, который могъ бы сказать о себѣ словами Чацкаго, что онъ водится съ женщинами не для умныхъ бесѣдъ, выслушивалъ снисходительно замѣчанія Екатерины по государственнымъ дѣламъ, и даже бывалъ доволенъ такимъ вмѣшательствомъ. Но всего важнѣе для него было, конечно, то обстоятельство, что Екатерина, еслибы и хотѣла, не могла измѣнить разъ заведенныхъ порядковъ и должна была вести ихъ въ прежнемъ духѣ и направленіи. Сильная только своею близостью къ царю и ему всѣмъ обязанная, она руководствовалась вполнѣ и его политическою программою. Чѣмъ она была прежде и чѣмъ сдѣлалась по волѣ Петра? Вотъ вкратцѣ исторія ея возвышенія, которую г. Андреевъ разсказываетъ по иностраннымъ мемуарамъ, не особенно рѣдкимъ, но все еще недоступнымъ для большинства нашихъ читателей.

«У Шереметева—разсказываетъ авторъ—Марту (прежнее имя Екатерины) увидалъ Меншиковъ и склонилъ фельдмаршала уступить ему плѣнницу. (Марта, какъ извѣстно, взята была въ плѣнъ въ Маріенбургѣ, ливонскомъ городкѣ, гдѣ она находилась въ услуженіи у пастора Глюка). Вильбоа положительно говоритъ, что Меншиковъ скоро подпалъ подъ вліяніе ея и что въ обществѣ болѣе молодаго и болѣе красиваго, чѣмъ Шереметевъ, любимца Петра Марта уже не несла одной покорности рабы къ ногамъ своего властелина,

а что, напротивъ, немного прошло дней, и уже нельзя было сказать, кто въ домѣ Меншикова дѣйствительный рабъ — всевластный ли любимецъ царя, или жена шведскаго драгуна Іоганна. (Марта, незадолго до того, вышла замужъ за простаго шведскаго солдата, который потомъ совершенно исчезъ изъ виду). Пріѣзжаетъ къ Меншикову Петръ. У Петра, какъ извѣстно, всегда былъ солидный аппетитъ, и потому всюду, куда онъ пріѣзжалъ, его ожидала закуска. О Петрѣ же его докторъ Арескинъ говаривалъ, что онъ одержимъ легіономъ духовъ сластолюбія. Имѣя это въ виду, едва ли нужно распространяться, что Петръ кушалъ у Меншикова и что, кушая, онъ замѣтилъ между подававшими кушанья Марту. Петръ расположился ночевать у Меншикова и послѣ ужина велѣлъ Мартѣ посвѣтить себѣ въ спальнѣ. Это былъ приказъ, противъ котораго не было аппеляціи. Что же дѣлаетъ Меншиковъ? Онъ покорно склоняетъ голову въ знакъ согласія.—Петръ при прощаніи всовываетъ золотой дукатъ (два тогдашнихъ рубля, пол-луидора) Мартѣ въ руку. Едва уѣхалъ Петръ, Марта показала Меншикову, что̀ она думаетъ о немъ, и виновный долженъ былъ вынести справедливую кару. Пріѣзжаетъ опять къ Меншикову Петръ, опять кушаетъ. Между прислуживающими нѣтъ однако Марты: вѣрно упреки ея не были забыты. Но и Петръ не забылъ ее. «Гдѣ же Марта?» Это вопросъ — приказаніе, и опять на него нѣтъ аппеляціи. Марта явилась. Петръ начинаетъ опять шутки, какъ и въ первый разъ. Но что же это значитъ? Марта сдержана, задумчива... Смолкаютъ и шутки Петра, и онъ въ задумчивости наклоняется къ своей тарелкѣ. Веселая бесѣда стихла. Что такое съ Петромъ? Что за-

пало въ это сердце, которому до—того чужды были тревоги болѣе слабаго человѣчества? Не онъ ли гордился прежде тѣмъ, что женщина въ глазахъ его игрушка? Неужели задумчивость эстонской дѣвушки отразилась въ задумчивости гордаго монарха? Или тотъ внутренній человѣкъ напомнилъ монарху, что есть что-то, чего не пріобрѣтешь всѣми приказами повелителя, не знающаго прекословія, и не купишь всѣми дукатами царства? Петру, въ концѣ ужина, подаютъ рюмку водки на подносѣ. Онъ поднимаетъ глаза: подноситъ та же, поневолѣ обязанная прислуживать, Марта. Но уже Петръ пришелъ въ себя. «Я увожу ее съ собою», сказалъ онъ Меншикову, вставъ изъ-за ужина и уходя къ себѣ. На этотъ разъ онъ остановился не у Меншикова въ домѣ. Онъ взялъ Марту подъ руку и вышелъ. На слѣдующій день царь видитъ Меншикова, но ни слова ему о Мартѣ. Только на третій день, когда было переговорено о дѣловомъ, Петръ зоветъ уходившаго Меншикова и говоритъ ему, что у Марты нѣтъ ничего изъ платья, и что имъ нужно ее «оснастить» какъ слѣдуетъ. Александру Даниловичу не надобно было дважды повторять словъ Петра. Онъ понялъ, что это значитъ. Онъ отправляется домой, самъ собираетъ въ два узла всѣ пожитки Марты и посылаетъ узлы съ двумя дѣвушками, бывшими у него въ домѣ, на послугахъ у Марты, къ ней въ домъ, гдѣ остановился Петръ. Ловкій царедворецъ не упустилъ при этомъ благопріятнаго случая. Онъ угадывалъ, что̀ ждетъ Марту въ будущемъ, и спѣшилъ начать принимать свои мѣры. У любимицы Меншикова могло быть два узла пожитковъ и двѣ горничныя для услугъ, но у любимицы Петра отчего не быть и ящичку съ драгоцѣнностями между

имуществомъ? Ящичекъ съ драгоцѣнными кольцами и т. п. на сумму до 5,000 руб. кладется въ одинъ изъ узловъ, и узлы отправлены.—Марта въ комнатахъ Петра. Горничныя, принесшія узлы, не найдя ее въ ея комнатѣ, не смотря на то, раскладываютъ принесенное. Скоро комната принимаетъ другой видъ. Возвращается Марта. Она удивлена, но ей не нужно пояснять, въ чемъ дѣло. Съ находчивостью, заставлявшею предполагать, что она начинала чувствовать себя здѣсь какъ дома, она, обратясь къ Петру, сказала: «Я довольно долго была на вашей половинѣ, теперь пожалуйте на мою». Петръ идетъ за нею. Марта въ волненіи перебираетъ присланныя вещи. А это что? Ящикъ для зубочистки? Нѣтъ! Довольно было открыть ящичекъ, добавленный Меншиковымъ къ имуществу Марты, чтобы бѣдной эстонской дѣвушкѣ, не видавшей себя никогда обладательницею такого количества золота и дорогихъ каменьевъ, придти въ смущеніе. «Это не мое!» съ рѣшимостью говоритъ она. «Если это отъ моего прежняго господина, я возвращаю ему его драгоцѣнности. Это кольцо (она указала при этомъ на недорогое кольцо на рукѣ ея) не меньше напомнитъ мнѣ обо всемъ, что онъ сдѣлалъ для меня. Если же это отъ моего новаго господина—возвращаю ящикъ ему: мнѣ нужно отъ него то, что дороже заключающагося въ этомъ ящикѣ». Петръ улыбается, обѣщается сосчитаться съ Меншиковымъ, а Мартѣ, смущенной и въ слезахъ отъ всего происшедшаго, подали подкрѣпляющую рюмку венгерскаго. Вильбоа, современникъ Петра и человѣкъ приближенный къ нему, передаетъ подробности о жизни Марты со словъ дамы, у которой Марта, посланная въ Москву, долго жила послѣ въ

домѣ. Сцена перваго впечатлѣнія, произведеннаго на Марту рѣшеніемъ Петра оставить ее у себя, была бы неизвѣстна потомству, еслибы свидѣтелемъ ея, кромѣ стоявшихъ тутъ двухъ дѣвушекъ, не былъ гвардейскій капитанъ, котораго Петръ, не ожидавшій сцены, привелъ съ собою. Съ этого времени Марта остается у Петра, но Петръ вида не показываетъ, что она у него. Значитъ, не мимолетна была тѣнь задумчивости, упавшая на лицо его на памятномъ ужинѣ у Меншикова. Посылая Марту въ Москву съ довѣреннымъ гвардейскимъ офицеромъ, Петръ поручилъ ему заботиться, чтобы все было къ услугамъ ея, чтобы поѣздка ея оставалась въ тайнѣ, и ему ежедневно посылали рапорты о состояніи ея здоровья. Безъ огласки пріѣхала Марта въ Москву. Провожатый привезъ ее къ дамѣ, у которой хотѣлъ помѣстить ее Петръ. Съ этого времени она жила въ одной изъ уединенныхъ мѣстностей Москвы, въ домѣ скромномъ снаружи и щедро снабженномъ внутри. Въ первое время Петръ ѣздилъ къ ней безъ огласки. Только нѣсколько времени спустя... Но нѣсколько времени спустя, маріенбургская плѣнница Марта превратилась уже въ государыню Екатерину Алексѣевну. Есть однако основаніе полагать, что и по рожденіи старшей дочери (Анны) она продолжала называться Катериною Василевскою, живя въ Петербургѣ въ 1708 г.»

Г. Андреевъ, для красоты слога, отчасти идеализируетъ отношенія Петра къ Екатеринѣ (изъ интимныхъ Петровыхъ писемъ мы знаемъ, что онъ смотрѣлъ вовсе не платонически на эту связь); но можно думать однако, что впослѣдствіи она съумѣла сдѣлаться необходимою для Петра не одними

физическими наслажденіями. Она примѣнилась до мелочей къ характеру своего повелителя, сжилась съ его привычками и взглядами,—и всѣмъ этимъ привязала къ себѣ, въ значительной степени, непостояннаго мужа. Вліяніе ея на Петра было не безполезно. Съ Петромъ дѣлались иногда припадки, которые, по словамъ Бассевича, происходили отъ яда, будто бы даннаго ему въ дѣтствѣ сестрою его Софьею. Этими припадками, по всей вѣроятности, объясняются многіе его поступки. Наступленіе припадка узнавали по особенному судорожному подергиванію рта. Въ эти минуты Петръ, и безъ того суровый, бывалъ страшенъ: гнѣвъ его обрушивался на окружающихъ, въ которыхъ онъ начиналъ видѣть враговъ, собирающихся посягнуть на его жизнь. Сильная головная боль въ теченіе трехъ дней была слѣдствіемъ припадка. «Такъ было до сближенія его съ Екатериною», разсказываетъ авторъ статьи. «Послѣ, едва замѣчали у Петра судорожныя движенія рта, какъ давали знать Екатеринѣ. Та приходила, начинала говорить съ нимъ. Звуки голоса ея производили на него какъ бы магическое дѣйствіе. Припадокъ ослабѣвалъ, и Петръ засыпалъ часа на три на ея груди. Все это время она оставалась неподвижною, чтобы не разбудить его. Петръ просыпался свѣжимъ и бодрымъ, и головной боли послѣ какъ бы не бывало». За всѣ эти услуги Петръ щедро вознаградилъ Екатерину: сначала произвелъ ее во фрейлины, потомъ въ царицы, а наконецъ, съ большою помпой, вѣнчалъ ее императрицею. Исторія съ камергеромъ Монсомъ, случившаяся вскорѣ послѣ этого коронованія, чуть было не погубила Екатерину, но она и здѣсь, съ своимъ обычнымъ тактомъ, съумѣла выпутаться изъ нея.

Разсказываютъ, что Петръ стоялъ какъ-то съ Екатериною, послѣ казни Монса, во дворцѣ у окна. «Ты видишь — сказалъ онъ ей — это венеціанское стекло. Оно сдѣлано изъ простыхъ матеріаловъ; но, благодаря искусству, стало украшеніемъ дворца. Я могу возвратить его въ прежнее ничтожество». Съ этими словами онъ разбилъ стекло въ дребезги. Екатерина поняла эту нехитрую аллегорію, за которой могло бы сейчасъ же послѣдовать практическое истолкованіе, — поняла, но не потеряла присутствія духа.—«Вы можете это сдѣлать — отвѣчала она — но достойно ли это васъ, государь? И развѣ оттого, что вы разбили стекло, дворецъ вашъ сдѣлался красивѣе?» Этотъ умный и простой отвѣтъ обезоружилъ Петра. Недолго прожилъ послѣ того Петръ, и умеръ, не назначивъ себѣ преемника. Говорятъ, что передъ смертью онъ былъ уже противъ кандидатуры Екатерины; но иностранцы, которымъ пришлось бы плохо въ случаѣ поворота въ управленіи, а также русскіе, выбившіеся впередъ своими личными заслугами, вспомнили о короновaніи императрицы и, опираясь на прежнюю волю Петра, провозгласили Екатерину самодержицей всероссійской.

II.

Тутъ-то и началась длинная вереница придворныхъ пертурбацій, тянувшихся вплоть до восшествія па престолъ Александра I. Прочности въ положеніяхъ не было никакой: человѣкъ, заснувшій, de facto или по имени, по-

велителемъ, могъ проснуться въ казематѣ Петропавловской крѣпости или по дорогѣ въ Березовъ; люди, трепетавшіе передъ нимъ наканунѣ и униженно готовые исполнять его малѣйшую прихоть, становились его неумолимыми тюремщиками и сторицей вознаграждали себя за прежнее раболѣпство. Вотъ источникъ нашего «временщичества» и фаворитизма, вотъ настоящая причина безцеремоннаго обращенія съ государственной казной и государственными интересами. Всякій, добившійся власти или случайнаго возвышенія при дворѣ, «ловилъ фортуну за чубъ» (по выраженію Разумовскаго) и требовалъ отъ нея, какъ извѣстный мужикъ отъ золотой рыбки, и денегъ, и лентъ, и крѣпостныхъ душъ; а позднѣе — неслыханнаго, чудовищнаго великолѣпія въ житейской обстановкѣ. Après nous le déluge! думалъ одинъ; «сегодня панъ — завтра пропалъ!» вторилъ ему про себя другой — и это море случайностей вздувалось еще пуще, грозя поглотить разомъ всѣхъ неосторожно - выдвинувшихся сыновъ фортуны. Веселая, разгульная жизнь того времени, которая соблазняетъ донынѣ своимъ наивнымъ паѳосомъ любителей старины, походила на оргію у подошвы вулкана или, еще вѣрнѣе, на «пиръ во время чумы». Каждый участникъ безумнаго пиршества, чувствуя всю эфемерность своего счастія, могъ бы смѣло провозгласить, вмѣсто тоста, эту высоко-художественную пѣснь:

Когда могучая зима
Какъ добрый вождь, ведетъ сама
  На насъ косматыя дружины
Своихъ морозовъ и снѣговъ,
На встрѣчу ей трещатъ камины —

И веселъ зимній жаръ пировъ.
Царица грозная чума
Теперь идетъ на насъ сама
И льстится жатвою богатой
И къ намъ въ окошко день и ночь
Стучитъ могильною лопатой...
Что дѣлать намъ и чѣмъ помочь?
Какъ отъ проказницы зимы,
Запремся такъ же отъ чумы!
Зажжемъ огни, нальемъ бокалы,
Утопимъ весело умы—
И заваривъ пиры да балы,
Восславимъ царствіе чумы!

Лучшей характеристики невозможно придумать для того безпечнаго «срыванія цвѣтовъ жизни», которое проходитъ рѣзкою чертою черезъ весь почти XVIII вѣкъ нашей исторіи. Основаніе московскаго университета, созваніе комиссіи для составленія уложенія и еще два-три утѣшительныхъ факта мало измѣняютъ господствующій характеръ эпохи. Только одни военные успѣхи льстятъ самолюбію страны, и по этой части мы дѣйствительно отличаемся: предѣлы государства раздвигаются съ непомѣрною быстротою, но въ немъ нѣтъ политической жизни, которая могла бы сплотить эту громаду въ одно стройное цѣлое. Различныя окраины государства, превосходя образованіемъ и культурою своею метрополію, занимаютъ даже въ ней привилегированное положеніе, въ ущербъ массамъ номинально господствующаго племени. Культурная сила этого племени еще такъ слаба, что не можетъ переварить и ассимилировать татарскія и финскія орды, сидящія внутри страны; въ центрѣ государства скоплены горючіе матеріалы въ видѣ раскола и крѣпостнаго права, которые могутъ ежеминутно произвести страшный взрывъ — и

дѣйствительно производятъ его въ дни пугачевщины; народное образованіе стоитъ ниже нуля; въ судахъ лихоимствуютъ, и грабятъ въ администраціи,—такъ что приходится издавать противъ взяточниковъ особые указы. Вмѣсто правильно-организованнаго общественнаго мнѣнія страны, на государственную власть имѣютъ непосредственное вліяніе только лица, близко къ ней стоящія, — а между ними на первомъ планѣ гвардейскіе офицеры, которыхъ англійскій резидентъ Финчъ называлъ русскими янычарами. Вотъ почему служба въ гвардіи такъ долго сохраняла у насъ свое обаяніе, что даже во времена Грибоѣдова можно было сказать про московскихъ дамъ, что онѣ

—Любимцамъ гвардіи, гвардейцамъ, гвардіонцамъ,
Ихъ золоту, шитью дивятся будто солнцамъ.

Временщикъ—это alter ego самой власти; онъ—ея ревностнѣйшій блюститель въ спокойное время и отчаянный защитникъ въ случаѣ невзгоды. Временщиковъ можно было мѣнять съ упроченіемъ власти; можно было придавать имъ болѣе или менѣе интимный характеръ (т. е. дѣлать ихъ фаворитами въ тѣсномъ смыслѣ); но обойтись безъ нихъ совсѣмъ—почти не предстояло возможности: — такъ тѣсно сплелось ихъ существованіе съ условіями эпохи, ихъ породившей. Смотря по тому: какая черта господствовала въ характерѣ сильнаго вельможи—подозрительность или безпечное «срываніе цвѣтовъ» жизни, а также и потому, какого рода услуги требовались отъ него,—временщики подраздѣлялись на два различныхъ типа: временщиковъ подозрительныхъ, выискивающихъ и высматривающихъ опасности, и временщиковъ просто роскошествующихъ, т.-е. сорящихъ направо

и налѣво легко пріобрѣтаемые дары судьбы. Временщики послѣдняго сорта пользуются у насъ наибольшею извѣстностью, благодаря тому, что стоустая молва далеко разносила ихъ имена, и даже поэзія восхваляла ихъ пиршества, на которыхъ—по живописному выраженію одного такого піиты—цѣлые океаны, «трясяся челами (вѣроятно отъ страха), держали рѣдкихъ рыбъ», а прекрасная Нева, уподобляясь служанкѣ, «носила по гостямъ чужія питья, снѣди». Къ этому типу принадлежали: кромѣ «великолѣпнаго» князя Тавриды, и оба графа Разумовскіе, о которыхъ обширная статья напечатана во II томѣ «Осьмнадцатаго вѣка». Мы позаимствуемъ изъ этой статьи нѣкоторыя интересныя свѣдѣнія. — Алексѣй Григорьевичъ Розумъ родился въ Черниговской губерніи въ деревнѣ Лемешахъ въ 1709 г. Онъ принадлежалъ къ простой казацкой семьѣ и былъ сначала «пастыремъ стадъ непорочныхъ»; но его привлекательная наружность и его пріятный голосъ скоро обратили на него вниманіе мѣстнаго духовенства. Причетъ села Чемеры, къ приходу котораго принадлежали Лемеши, взялъ мальчика на свое попеченіе и здѣсь выучился Розумъ грамотѣ и церковному пѣнію. Въ началѣ января 1731 г., въ праздничный день, проѣзжалъ черезъ Чемеры полковникъ Вишневскій, возвращавшійся изъ Венгріи, куда онъ ѣздилъ покупать венгерскія вина для императрицы Анны Іоанновны. (Венгерское вино было тогда въ большомъ употребленіи и замѣняло шампанское при провозглашеніи тостовъ). Полковникъ этотъ зашелъ въ церковь, обратилъ сейчасъ же вниманіе на голосъ и наружность молодаго пѣвчаго и уговорилъ мать его отпустить съ нимъ сына въ Петербургъ. Тамъ Розумъ былъ опредѣленъ

графомъ Левенвольдомъ въ придворную пѣвческую капеллу. Однажды Елизаветѣ Петровнѣ (тогда еще цесаревнѣ) случилось быть въ придворной церкви, и она была поражена голосомъ Розума. Представленный ей по окончаніи литургіи, пѣвецъ поразилъ ее еще больше своей наружностью. Высокій, стройный, нѣсколько смуглый, съ выразительными черными глазами и черными же дугообразными бровями, Розумъ былъ настоящій красавецъ. Вскорѣ послѣ того онъ считался уже пѣвчимъ цесаревны и получилъ прозваніе Разумовскаго. Голосъ его однако началъ спадать, и изъ пѣвчаго онъ былъ переименованъ въ придворные бандуристы. Но по мѣрѣ того, какъ падалъ его голосъ, возвышалось и крѣпко его придворное значеніе. Изъ бандуристовъ Разумовскій произведенъ былъ въ управляющіе одного изъ цесаревниныхъ имѣній; мало-по-малу и другія недвижимыя имущества и весь небольшой дворъ принцессы попали подъ его вѣдѣніе, а въ правленіе Анны Леопольдовны мы видимъ уже его камеръ-юнкеромъ при цесаревнѣ. Въ ночь переворота съ 24-го на 25-е ноября 1741 г., въ то время, какъ Елизавета Петровна, въ сопровожденіи Лестока, Воронцова, Шувалова и Шварца, объѣзжала казармы и занимала большой дворецъ, Разумовскій оставался наблюдать за порядкомъ въ домѣ цесаревны на Царицыномъ лугу, куда и перевезла сама Елизавета, въ саняхъ, павшую правительницу вмѣстѣ съ императоромъ Іоанномъ Антоновичемъ и новорожденною его сестрою. Въ день восшествія на престолъ его покровительницы, Разумовскій пожалованъ въ дѣйствительные камергеры и поручики лейбъ-компаніи въ чинѣ генералъ-лейтенанта, а затѣмъ посыпались на него чины, ленты и богат-

ства. Въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ онъ получилъ высшій орденъ Андрея Первозваннаго, чинъ оберъ-егермейстера и пожалованъ множествомъ вотчинъ. Въ концѣ своего царствованія, Елизавета сдѣлала его фельдмаршаломъ, хотя онъ съ роду не служилъ въ военной службѣ и не командовалъ ни однимъ солдатомъ. «Государыня—сказалъ ей при этомъ скромный малороссъ—ты можешь меня назвать фельдмаршаломъ, но никогда не сдѣлаешь изъ меня даже порядочнаго полковника». Богатство Разумовскаго было такъ велико, что съ восшествіемъ на престолъ Петра III, въ день переѣзда государя въ новый зимній дворецъ, онъ поднесъ ему въ подарокъ драгоцѣнную трость, а въ придачу къ ней—ни больше, ни меньше,—какъ милліонъ рублей! (Т. II, стр. 572). Когда Разумовскій, не любившій считать денегъ, садился играть въ банкъ, то этотъ случай былъ настоящимъ праздникомъ для всѣхъ придворныхъ особъ. Порошинъ разсказываетъ, что въ это время—«статсъ-дама Настасья Михайловна Измайлова (рожденная Нарышкина) и другія попросту изъ банка крадывали у него деньги... За дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ, княземъ Иваномъ Васильевичемъ Одоевскимъ, александровскимъ кавалеромъ и президентомъ вотчинной коллегіи (можно представить себѣ, какое безкорыстіе царствовало въ этой коллегіи!), одинъ разъ подмѣтили, что онъ тысячи полторы (значитъ, и мелочами не брезгалъ) въ шляпѣ перетаскалъ и въ сѣняхъ отдавалъ слугѣ своему». Роскошь и великолѣпіе обстановки Разумовскаго соотвѣтствовали его положенію при дворѣ, прославленномъ своею пышностью. «Дворъ въ это время—повѣствуетъ намъ князь Щербатовъ—подражая или,

лучше сказать, угождая императрицѣ, въ златотканныя одежды облекался; вельможи изыскивали въ одѣяніи все, что есть богатѣе, въ столѣ—все, что есть драгоцѣннѣе, въ питьѣ все, что есть рѣже, въ услугѣ—возобновя древнюю многочисленность служителей, приложили къ оной пышность въ одѣяніи ихъ. Экипажи возблистали златомъ, дорогія лошади, не столь для нужды удобныя, какъ единственно для виду, учинялись нужны для воженія позлащенныхъ каретъ. Домà стали украшаться позолотою, шелковыми обоями во всѣхъ комнатахъ, дорогими мебелями, зеркалами. Все сіе составляло удовольствіе самимъ хозяевамъ, вкусъ умножался, подражаніе роскошнѣйшимъ народамъ возрастало, и человѣкъ дѣлался почтителенъ (т. е. заслуживалъ почтенія) по мѣрѣ великолѣпности его житія и уборовъ». При дворѣ были безпрестанные банкеты, куртаги, балы, маскарады, комедіи французская и русская, итальянская опера и пр. Всѣ увеселенія дѣлились на разныя категоріи; каждый разъ опредѣлялось, въ какомъ именно быть костюмѣ: въ робахъ, шлафорахъ или самарахъ—для дамъ, въ цвѣтномъ или богатомъ платьѣ—для мужчинъ. Костюмы осыпались бриллiантами и украшались чистѣйшимъ золотомъ и серебромъ, такъ какъ употребленіе мишуры и хрусталя для убранства запрещалось придворными правилами. Какъ часто приходилось мѣнять при дворѣ наряды—видно изъ того, что во время пожара въ Москвѣ, въ 1753 г., у императрицы сгорѣло 4,000 платьевъ; а по смерти ея найдено 15,000 платьевъ, одинъ разъ надѣванныхъ или вовсе не ношенныхъ, 2 сундука шелковыхъ чулокъ; лентъ, башмаковъ и туфлей нѣсколько тысячъ, болѣе сотни неразрѣзанныхъ французскихъ матерій и

пр. и пр. Сколько провизіи истреблялось ежедневно придворнымъ штатомъ и какая масса перевозочныхъ средствъ нужна была для него — объ этомъ трудно составить себѣ даже приблизительное понятіе. Такъ напр., во время поѣздки императрицы въ Кіевъ, малороссійскіе генеральные старшины заготовили-было 4,000 лошадей; но Разумовскій написалъ, что всѣхъ лошадей понадобится 23,000 (!), и ихъ принуждены были собрать съ обывателей. Каждый старшина обязывался выставить, для продовольствія двора, цѣлый погребъ, куда входили: вина воложскаго 2 ведра, крымскаго 2, телятъ 2, ягнятъ 8, курчатъ 50, поросятъ 8, утокъ 20, яицъ 500, водки двойной 10 ведръ, муки пшеничной четверть и пр. и пр. За то кіевляне были вознаграждены, при въѣздѣ императрицы въ Кіевъ, слѣдующимъ зрѣлищемъ: «Воспитанники духовной академіи ожидали Елизавету Петровну въ видѣ греческихъ боговъ, героевъ и даже миѳологическихъ животныхъ. Съ помощью машинъ, частію выписанныхъ, частію собственнаго изобрѣтенія, произведены были разныя удивительныя явленія. Такъ, между прочимъ, выѣхалъ за городъ сѣдовласый старикъ въ богатой древней одеждѣ, украшенный короной и жезломъ. Онъ представлялъ князя кіевскаго Владиміра; онъ привѣтствовалъ государыню и, какъ свою наслѣдницу, приглашалъ ее въ городъ и поручалъ ей весь русскій народъ». Эти роскошныя затѣи, житье на широкую ногу и вообще весь блескъ петербургскаго двора,—которому удивлялись даже французы, привыкшіе видѣть все это у себя въ Версали,—конечно, не оправдывались экономическимъ положеніемъ страны. Сквозь этотъ блескъ и красивую внѣшность, нѣтъ-нѣтъ, да и проступитъ,

бывало, непригладная русская дѣйствительность. «За этимъ внѣшнимъ блескомъ, за этими румянами, фижмами и бриліантами—разсказываетъ авторъ біографіи Разумовскихъ—крылись вполнѣ азіатская неопрятность и неряшество. Во время путешествія государыни, свиту и даже великаго князя и великую княгиню помѣщали кое-какъ въ людскихъ и палаткахъ; иногда въ комнатахъ великой княгини была по колѣно вода, иногда печи въ ея спальнѣ имѣли огромныя щели. Вдобавокъ, при дворѣ бывалъ такой недостатокъ въ мебели (несмотря, стало быть, на то, что на нее тратились огромныя деньги), что зеркала, постели, стулья, столы и комоды перевозились изъ зимняго дворца въ лѣтній, оттуда въ Петергофъ, Царское село и даже въ Москву. При этихъ переѣздахъ все ломалось и билось, и безъ всякой починки становилось въ комнатахъ. Для каждой незначительной поправки требовалось именное приказаніе императрицы, добраться до которой было очень мудрено или же совсѣмъ невозможно. Въ богатыхъ домахъ, вмѣстѣ съ гайдуками, гусарами, скороходами въ великолѣпныхъ ливреяхъ, сновала безпрестанно босоногая челядь въ лохмотьяхъ. Въ спальной комнатѣ Елизаветы Петровны спалъ на тюфячкѣ ея бывшій лакей Чулковъ; близь спальни великой княгини, въ небольшомъ покоѣ, во время томящаго зноя, жило 17 человѣкъ разной прислуги, которые не имѣли иного выхода, какъ чрезъ комнаты самой Екатерины» (стр. 428). За пышнымъ дворомъ тянулись и всѣ значительнѣйшіе вельможи. Оставляя въ неряшествѣ свою домашнюю жизнь и въ полномъ пренебреженіи судьбу своей «босоногой челяди», они изумляли всѣхъ великолѣпіемъ

своихъ парадныхъ пріемовъ, баловъ, выходовъ и выѣздовъ. Особенной роскошью отличались: великій канцлеръ Бестужевъ и Степанъ Ѳедоровичъ Апраксинъ—оба пріятели графа Разумовскаго. Первый изъ нихъ имѣлъ винный погребъ «толь великій,—по словамъ кн. Щербатова — что онъ знатный капиталъ составилъ, когда послѣ смерти его былъ проданъ графамъ Орловымъ»; второй всегда возилъ съ собой гардеробъ, состоявшій изъ многихъ сотъ богатыхъ кафтановъ, и въ семилѣтнюю войну доставлялъ себѣ на бивакахъ «всѣ спокойствія, всѣ удовольствія, какія можно было имѣть въ цвѣтущемъ торговлею градѣ». Не отставалъ отъ нихъ и графъ Разумовскій: онъ первый сталъ носить бриліантовыя пуговицы на камзолѣ и задавалъ баснословныя пиршества въ своихъ имѣніяхъ: Perовѣ и Гостилицѣ, и въ своемъ аничковскомъ дворцѣ въ Петербургѣ. Въ Перовѣ часто проводила время Елизавета въ соколиной и псовой охотѣ, а также любуясь «играми и хороводами простолюдиновъ». Хозяинъ онъ былъ гостепріимный и радушный; но когда хмѣль попадалъ ему въ голову— чего ни предвидѣть, ни избѣгнуть не было никакой возможности—то онъ становился грозою для друзей и недруговъ; нерѣдко въ такія минуты его сотоварищи по псовой охотѣ, какъ, напримѣръ, Петръ Ивановичъ Шуваловъ, были «отъ него сѣчены батожьемъ». Тотъ вѣсъ, которымъ пользовался Разумовскій при дворѣ, дѣлалъ невозможными жалобы на него. Тайный супругъ императрицы Елизаветы, принимавшій иногда ее и ея приближенныхъ въ парчевомъ шлафрокѣ, могъ бы позволять себѣ безнаказанно и бо̀льшія неистовства, еслибъ его не воздерживало отъ нихъ природное добродушіе. Что касается до самой таинственной свадь-

бы, то авторъ не сообщаетъ о ней ничего новаго и ограничивается только указаніемъ тѣхъ обстоятельствъ, которыя способствовали этой mariage de conscience. По его мнѣнію, Бестужевъ, одиноко поставленный при дворѣ, задумалъ создать себѣ сильную поддержку въ Разумовскомъ, и съ этою цѣлью постарался сдѣлать еще тѣснѣе узы, соединявшія государыню съ фаворитомъ. Сторону Бестужева охотно взяло духовенство изъ числа послѣдователей «Камня вѣры», надѣясь чрезъ Разумовскаго найти у государыни «по ихъ домогательствамъ и прошеніямъ всевозможныя предстательства и заступленія». Тотъ же пріемъ употребилъ впослѣдствіи Бестужевъ при возвышеніи графа Григорія Орлова и представилъ Екатеринѣ формальное прошеніе, чтобы она избрала себѣ супруга. Между лицами, подписавшимися подъ этимъ актомъ, по свидѣтельству французскаго посланника, барона де-Бретеля, главную роль играло опять-таки духовенство; но на этотъ разъ уловки стараго интригана не удались и только доставили случай Екатеринѣ, подъ предлогомъ дарованія Разумовскому титула высочества, извлечь у него изъ секретной шкатулки какія-то формальныя доказательства его брака (стр. 577—579).

Вслѣдъ за возвышеніемъ Алексѣя Разумовскаго, была приближена къ престолу и вся его родня. Немедленно по восшествіи на престолъ Елизаветы отправленъ былъ въ Малороссію офицеръ съ каретами, богатыми уборами и собольими шубами за семействомъ новаго камергера. Въ отвѣтъ на разспросы офицера, по пріѣздѣ въ Лемеши, о томъ, гдѣ живетъ госпожа Разумовская, удивленные малороссіяне, какъ гласитъ преданіе, отвѣчали: «Въ насъ зъ роду не бу-

ло такой панни; а е, коли божаете, хата Розумихи—вдовы». Несмотря на петербургскій «фаворъ» своего старшаго сына, мать его, Наталья Демьяновна, продолжала слыть между сосѣдями только Розумихой и, по прежнему, содержала въ Лемешахъ корчму. Захваченная въ расплохъ, старуха не хотѣла вѣрить словамъ офицера и говорила ему: «Пане ясновельможный! Ты хлопецъ добрій, не глазуй съ мене, що я тоби подіяла?» Но хлопецъ передалъ царское повелѣніе, и Наталья Розумиха собралась въ путь-дорогу съ своимъ младшимъ сыномъ, дочерьми, внучкомъ и внучками, родными и двоюродными. Въ Петербургѣ старуху прежде всего напудрили, нарумянили и нарядили въ модное платье, такъ-какъ «непристойные деревенскіе» костюмы запрещались во дворцѣ даже на маскарадахъ. Потомъ повезли ее во дворецъ, предупредивъ, что она должна пасть на колѣна предъ государыней. Едва простая корчемница вступила въ залы дворцовыя, какъ очутилась передъ большимъ зеркаломъ во всю вышину стѣны; не видавъ ничего подобнаго отъ роду, она второпяхъ не разглядѣла своей фигуры и, принявъ себя за императрицу, поспѣшила пасть на колѣни. Всевозможныя почести оказывались Натальѣ Демьяновнѣ, и— по мнѣнію автора статьи—она, въ первый же пріѣздъ свой въ Петербургъ, была пожалована въ статсъ-дамы. Ея младшій сынъ, Кирила Григорьевичъ, и всѣ внуки и внучки (Закревскіе, Стрѣшенцовы, Дараганы) приняты одинъ за другимъ на попеченіе двора и старшаго Разумовскаго. Съ ними обращались ласково и внимательно, почти какъ съ принцами крови, и эта близость ихъ ко двору подала поводъ къ сочиненію баснословной исторіи о принцахъ и прин-

цессахъ Таракановыхъ—исторіи, достаточно воздѣланной нашими анекдотистами. Авторъ біографіи Разумовскихъ, г. А. Васильчиковъ, доказываетъ—и на нашъ взглядъ весьма убѣдительно—что слухъ о княжнахъ Таракановыхъ и ихъ воспитаніи за границею возникъ чисто внѣшнимъ образомъ изъ факта заграничнаго воспитанія племянниковъ графа Алексѣя Разумовскаго, между которыми были и Дараганы. Дѣло началось съ того, что въ камеръ-фурьерскихъ журналахъ, въ которыхъ записывается все, происходящее при дворѣ, перекрестили этихъ Дарагановъ въ Дарагановыхъ, а затѣмъ въ обществѣ стали называть безразлично этимъ именемъ всѣхъ племянниковъ графа Алексѣя Григорьевича, жившихъ при дворѣ. Нѣмцы же, которыхъ было довольно при Елизаветѣ, не смотря на упадокъ нѣмецкой партіи, по свойству своего произношенія, обративъ наши твердыя согласныя въ мягкія, сдѣлали изъ Дарагановыхъ—Таракановыхъ. Что нѣмцы именно такъ выговаривали фамилію малороссійскихъ родичей Разумовскаго, распространяя ее на всѣхъ племянниковъ фаворита, причемъ, для пущей важности, придавали имъ графскій титулъ—это выводитъ авторъ, безъ всякой натяжки, изъ сопоставленія одного мѣста Шлецеровскихъ мемуаровъ съ частнымъ письмомъ къ Разумовскому отъ его племянниковъ. Въ запискахъ Шлецера, бывшаго наставникомъ дѣтей графа Разумовскаго, встрѣчается слѣдующее извѣстіе: «Разъ обѣдали у насъ 4 сына императрицы Елизаветы, поэтому двоюродные братья нашихъ графовъ, подъ или съ именемъ графовъ Т—въ (von—Tv), вмѣстѣ съ ихъ наставникомъ, нѣмцемъ, по имени Д—ль (D—l), который выдавалъ себя за пол-

ковни каи даже носилъ военный мундиръ. Они только что возвратились изъ Швейцаріи, гдѣ провели 6 лѣтъ и въ это время проучили, т. е. проѣли 36,000 р. Они остались полнѣйшими невѣждами—и не по своей винѣ, а благодаря наставнику» и пр. Сблизивъ это мѣсто съ письмомъ Закревскихъ и Дарагановъ изъ Женевы, г. Васильчиковъ нашелъ, что Т—вы или Таракановы (потому что пропущенныя буквы легко возстановляются), суть не кто другіе, какъ именно они, племянники гр. Разумовскаго, а мнимый полковникъ, сопровождавшій ихъ, нѣмецъ Дитцель, ихъ неудачный гувернеръ. Ничего нѣтъ мудренаго, прибавляетъ авторъ, что этотъ же Дитцель, самозванно величавшій себя полковникомъ, пустилъ за границей въ ходъ молву, что онъ состоитъ при дѣтяхъ императрицы Елисаветы, «графахъ von Tarakanov», странствующихъ подъ строгимъ инкогнито. Басня, часто повторяемая, получила, наконецъ, право гражданства въ Европѣ, а оттуда вернулась на Русь, гдѣ, какъ на грѣхъ, къ ней пристроились разные «историки», которымъ ужъ такъ Богъ велѣлъ—рыться, до скончанія дней, въ чужихъ родословныхъ... Графъ Кирилъ Разумовскій, родной братъ фаворита, также побывалъ за границею, и хотя не вернулся оттуда «полнѣйшимъ невѣждою», какъ его племянники, но тоже не вынесъ особенно солидныхъ познаній. Тѣмъ не менѣе, два года заграничной жизни прославили его чуть не ученымъ человѣкомъ, и онъ, 22-хъ лѣтъ отроду, былъ назначенъ президентомъ академіи наукъ. Императрица сама выбрала ему богатую невѣсту—Екатерину Ивановну Нарышкину, возвела въ графское достоинство въ одно время съ старшимъ братомъ (въ 1744 г.), и сдѣлала дѣйствительнымъ камергеромъ. Въ довершеніе почестей, 26-ти лѣтній

Кирилъ Разумовскій былъ избранъ, по прямому указанію петербургскихъ властей, малороссійскимъ гетманомъ, что̀ равнялось высшему военному чину генералъ-фельдмаршала. Авторъ біографіи Разумовскихъ, вообще пристрастный къ обоимъ братьямъ, съ особеннымъ умиленіемъ разсказываетъ о служебныхъ и иныхъ успѣхахъ графа Кирила Григорьевича. Нельзя, конечно, отрицать, что графъ Разумовскій-младшій былъ отъ природы весьма неглупый человѣкъ съ оттѣнкомъ малороссійскаго юмора, не зазнавался черезчуръ и былъ довольно доступенъ въ обращеніи (хотя нѣкоторыя просьбы и приходилось подавать ему не въ руки, а просовывать въ дверную щель); но поводовъ къ умиленію мы еще тутъ не видимъ никакихъ. Какую службу сослужилъ Разумовскій отечеству и чѣмъ отблагодарилъ его за тѣ почести и богатства, которыми пользовался? Государственныя заслуги его опираются на двухъ фактахъ: на президентствѣ въ академіи наукъ и на управленіи Малороссіей въ санѣ гетмана. Но можно-ли говорить серьезно о его дѣятельности въ академіи, предоставленной имъ въ безусловное распоряженіе Теплова? На свое же гетманство самъ Разумовскій не смотрѣлъ, какъ на дѣйствительный выборъ народа, и какъ только могъ, отлынивалъ отъ своихъ обязанностей. «Старые казаки—говоритъ самъ г. Васильчиковъ—вздыхая, покачивали головами (при выборѣ гетмана) и чуяли, что настали времена другія, что прошла невозвратно эпоха Сагайдачнаго и Хмѣльницкаго, при избраніи которыхъ и на умъ никому не приходили всѣ эти процессіи, возвышенія, обитыя алымъ сукномъ, и богатыя кареты, заложенныя цугами,—тѣ простыя, но вольныя времена, когда громада казаковъ соби-

ралась на площади и шапками забрасывала любимаго избранника». Разумовскій живетъ царькомъ въ Глуховѣ, пишетъ въ своихъ универсалахъ: мы, намъ, данъ въ Глуховѣ, и пр. Заводитъ придворный штатъ; но ему здѣсь смертельно скучно, потому что онъ ничѣмъ не связанъ съ интересами края, и пользуется всякимъ удобнымъ случаемъ удрать отсюда въ Петербургъ, гдѣ его привлекаютъ больше придворные куртаги и затаенная борьба брата съ Шуваловыми. Въ числѣ поводовъ къ отлучкѣ онъ выставляетъ, напримѣръ, желаніе пользоваться осенью въ Петербургѣ «лучшимъ воздухомъ» (!). Г. Васильчиковъ указываетъ, какъ на заслуги Разумовскаго, на уничтоженіе таможенныхъ заставъ между Малороссіей и великорусскими губерніями, на судебную реформу и проч., но если первая мѣра имѣла еще нѣкоторую цѣну, то вторая была не больше, какъ перемѣной названій. Объ ограниченіи свободнаго перехода крестьянъ, состоявшемся при Разумовскомъ, авторъ говоритъ мелькомъ и даже похваливаетъ это рѣшеніе за то, что имъ «уменьшено бродяжничество». Вѣроятно, по его мнѣнію, съ окончательнымъ введеніемъ крѣпостнаго права въ Малороссіи, бродяжничество совсѣмъ прекратилось и страна процвѣла, аки кринъ сельный? Вообще гетманство Разумовскаго, данное ему, какъ синекура за услуги брата, имѣло весьма печальный видъ заигрыванья съ народомъ, клонившагося въ сущности къ полному его порабощенію. Такъ понимали дѣло и умнѣйшіе малороссы, смотрѣвшіе па дѣянія графа «съ темнымъ и непонятнымъ чувствомъ». Въ денежныхъ дѣлахъ графъ Разумовскій тоже былъ нехорошъ и все домогался у правительства разныхъ наградъ и милостей.

Имѣя 100,000 гетманскаго дохода и получивъ за женой 44 тысячи душъ крестьянъ въ приданое, онъ не стыдился жаловаться на «крайнюю недостаточность» своихъ средствъ и просилъ имѣній, просилъ денегъ взаймы и безъ отдачи (стр. 500). Правда, что Разумовскій не бралъ на себя казенныхъ подрядовъ и не захватывалъ разныхъ торговыхъ монополій, подобно Петру Ивановичу Шувалову; но надо же быть воздержнымъ въ восхваленіи людей за то только, что они не принесли всего того зла, которое могли бы принести.

Графъ Петръ Ивановичъ Шуваловъ, упомянутый нами, былъ тоже сильный міра сего и, подобно Кирилу Разумовскому, выдвинулся впередъ, благодаря близости своего брата, — только не роднаго, а двоюроднаго,—Ивана Ивановича къ Елизаветѣ Петровнѣ. Но на сколько графъ Разумовскій былъ любимъ въ петербургскомъ обществѣ за нѣкоторыя привлекательныя стороны своего характера, на столько же Шуваловъ былъ ненавидимъ всѣми за свою нестерпимую гордость и самонадѣянность. Это былъ временщикъ подозрительный, выискивающій и высматривающій; онъ и держался только тѣмъ, что возбуждалъ въ императрицѣ всякаго рода страхи и опасенія. «Безпрестанные недуги, говоритъ г. Васильчиковъ—проводя выгоднуюдля Разумовскаго параллель между нимъ и Шуваловымъ—ослабили нервы императрицы: ей постоянно приходила на умъ первая ночь ея царствованія, и она опасалась, чтобы съ нею не поступили точно такъ, какъ нѣкогда поступила она сама съ несчастной Анной Леопольдовной. Этимъ настроеніемъ ловко воспользовался гр. П. Шуваловъ. Онъ старался еще болѣе усилить боязнь государыни, увѣрялъ ее, что она окру-

жена тайными врагами, готовыми на всякое преступленіе, и наконецъ ему удалось вполнѣ убѣдить больную и слабѣющую императрицу въ томъ, что одинъ онъ въ состояніи оградить ее отъ дѣйствія скрытыхъ враговъ. Въ этомъ состояла главная сила его при дворѣ. Безъ всякой подготовки къ дѣламъ государственнымъ, лишенный образованія и познаній, крайне самонадѣянный, Шуваловъ на самомъ дѣлѣ способенъ былъ только къ однимъ мелкимъ придворнымъ интригамъ; но слишкомъ тщеславный и честолюбивый, онъ, несмотря на свою несостоятельность, стремился къ достиженію исключительнаго вліянія на дѣла и хотѣлъ стать во главѣ управленія. Не имѣя никакой опытности въ вопросахъ дипломатическихъ, незнакомый съ тайными пружинами европейскихъ кабинетовъ, никогда не бывавшій на войнѣ и кое-какъ знавшій службу, онъ однако ни передъ чѣмъ не останавливался: брался и за составленіе новаго уложенія, и за финансовые вопросы, и за управленіе политикой русскаго двора, и за выдумку гаубицъ, и за учрежденіе военнаго строя. Достигнувъ почти исключительнаго вліянія, онъ, еще недавно съ покорностью склонявшій спину подъ батогами всемогущаго Разумовскаго, сдѣлался теперь самымъ гордымъ временщикомъ двора Елизаветы. Даже многочисленные его кліенты, запрудившіе всѣ отрасли управленія, были надменности невыносимой... Падкій къ деньгамъ, Шуваловъ набивалъ свои карманы трудовой копѣйкой народа». Чтобы дѣйствовать на императрицу страхомъ, Шуваловъ имѣлъ вѣрнаго союзника въ братцѣ своемъ, Александрѣ Ивановичѣ, который былъ въ то время начальникомъ страшной тайной канцеляріи; чтобы устранять отъ Ивана Шувалова

всѣхъ соперниковъ по интимнымъ дѣламъ, онъ не останавливался передъ самыми гнусными средствами, изобрѣтая ихъ вдвоемъ съ своею супругою, Маврою Егоровною, знаменитою наперсницею Елизаветы. Такъ, вдвоемъ, погубили они несчастнаго юношу Бекетова, виновнаго только въ томъ, что онъ, по своему благообразію, приглянулся императрицѣ и грозилъ замѣнить при дворѣ Ивана Ивановича Шувалова, который—хотя не всегда и не во всемъ—тянулъ однако сторону шуваловской партіи. Этотъ Бекетовъ любилъ литературу (не менѣе Ивана Ивановича Шувалова, извѣстнаго покровителя наукъ и искусствъ), самъ занимался ею вмѣстѣ съ другомъ своимъ Елагинымъ и однажды вздумалъ перелагать стихи свои на музыку. Пѣсни, имъ сочиняемыя, распѣвали у него молоденькіе придворные пѣвчіе. Нѣкоторыхъ изъ нихъ Бекетовъ полюбилъ за ихъ прекрасные голоса и гулялъ съ ними запросто по петергофскимъ садамъ. Шуваловы ухватились за это и поспѣшили истолковать прогулки Бекетова самымъ зазорнымъ образомъ. Но эта сплетня не погубила молодаго любимца, и надобно было придумать что-нибудь другое. Тогда Петръ Ивановичъ Шуваловъ искусно вкрался въ довѣренность неопытнаго юноши, выхвалялъ, какъ лисица въ баснѣ, красоту его, чрезвычайную бѣлизну лица и для сохраненія всегдашней свѣжести кожи презентовалъ ему баночку съ притираніемъ. Довѣрчивый Бекетовъ, не медля, воспользовался чудотворной мастикой и... и карьера его была покончена. Притиранье оказалось дѣйствительнымъ, но не для сохраненія бѣлизны лица, а для произведенія на немъ угрей и сыпи. Между тѣмъ графиня Мавра Егоровна не дремала: обра-

тивъ вниманіе кого слѣдуетъ на «зеркало души» Бекетова, т.-е. на его прыщеватое лицо, она объяснила перемѣну нѣкоторой секретной болѣзнью и присовѣтовала удалить Бекетова отъ двора. Ударъ былъ вѣренъ: государыня переѣхала тотчасъ-же въ Царское Село и запретила слѣдовать за собою любимцу. Несчастный юноша, пораженный, какъ громомъ, этимъ запретомъ, заболѣлъ горячкой, которая чуть было не свела его въ могилу. Когда онъ оправился, его удалили отъ двора. Шуваловы восторжествовали... За всѣ эти качества и дѣянія шуваловская партія успѣла нажить себѣ много недоброжелателей и, прежде всего, въ лицѣ великой княгини Екатерины, которая на каждомъ шагу выказывала глубочайшее презрѣніе къ обоимъ братьямъ, отыскивала ихъ смѣшныя стороны и преслѣдовала сарказмами, распространявшимися мгновенно по всему городу (II т., стр. 481 и 517).

III.

Таковы были русскіе временщики XVIII-го столѣтія—и беззавѣтно роскошествующіе, и скрытно зложелательные.—Мы погрѣшили бы однако противъ исторической точности, еслибы стали утверждать, что подобный порядокъ дѣлъ считался всѣми безусловно-нормальнымъ, и что не было никакихъ попытокъ придать другое направленіе нашей государственной жизни. Нѣтъ! протестъ выражался по временамъ довольно открыто какъ въ литературѣ, такъ и въ прави-

тельственныхъ сферахъ. Въ литературѣ онъ вызвалъ два направленія, существенно различныя одно отъ другаго. Представитель перваго направленія, князь Щербатовъ, нападалъ на современный ему порядокъ съ точки зрѣнія моралиста и защитника старины; сѣтуя объ упадкѣ нравственности въ русскихъ людяхъ, онъ радушно предлагалъ имъ образцы добродѣтели въ древней до-петровской жизни. Но Россія того времени страдала не избыткомъ, а недостаткомъ европейскихъ идей, и помогать бѣдѣ надо было—не возвращеніемъ вспять на старую, брошенную колею, а быстрымъ прогрессивнымъ движеніемъ по вновь избранному пути. Наше сближеніе съ Европою началось не по прихоти Петра Великаго: оно было прямымъ слѣдствіемъ умственнаго превосходства нашихъ западныхъ сосѣдей, и стоило только прорвать искусственную плотину, отдѣлявшую насъ отъ цивилизованнаго міра, какъ патріархальный бытъ древней Руси сталъ разваливаться самъ собою подъ давленіемъ новыхъ понятій, обычаевъ и учрежденій. Крутость Петра только ускоряла дѣло, неизбѣжное по самой своей сущности. Нѣтъ спора, что вмѣстѣ съ «плодами» европейской цивилизаціи мы нахватали столько же, если не больше, мусору и пустоцвѣту; не подлежитъ сомнѣнію, что многіе новые порядки не измѣняли, а лишь прикрывали приличнымъ костюмомъ прежнія безобразія; но выйти изъ этого положенія можно было—не чураясь европейскихъ идей, а напротивъ внимательнѣй присматриваясь къ нимъ и отдѣляя въ нихъ вредное отъ полезнаго, питательные элементы отъ ядовитыхъ примѣсей. Словомъ, чтобы избавиться отъ европейскихъ недуговъ, необходимо было намъ самимъ сдѣлаться европей-

цами и принять сознательное участіе въ умственной жизни Запада. Защитникомъ европейской науки и европейскаго общежитія, въ лучшемъ значеніи этихъ словъ, является Александръ Николаевичъ Радищевъ, честная дѣятельность котораго еще такъ мало оцѣнена историками нашей литературы, что г. Галаховъ, напримѣръ, распространяясь на десяткѣ страницъ о Державинѣ, не счелъ нужнымъ сказать о Радищевѣ ничего больше, кромѣ того, что онъ «пріобрѣлъ себѣ печальную извѣстность своей книгой: «Путешествіе изъ Петербурга въ Москву». Радищевъ, такъ же какъ и Щербатовъ, относился критически къ современному строю вещей; но онъ осуждалъ его не на основаніи старозавѣтныхъ понятій сомнительнаго достоинства, а на основаніи новыхъ, лучшихъ идей, добытыхъ западною наукой и болѣе развитой общественной жизнью. Съ невольнымъ удовольствіемъ останавливаешься на его «Житіи Ѳедора Васильевича Ушакова», въ которомъ онъ знакомитъ насъ съ замѣчательной личностью своего друга и товарища по заграничному обученію, и при этомъ раскрываетъ свой собственный образъ мыслей, солидарный со взглядами Ушакова. Въ началѣ этого житія (II т. стр. 296—320) Радищевъ говоритъ: «нерѣдко въ изображеніяхъ умершаго найдешь черты въ живыхъ еще сущаго». И дѣйствительно: біографія Ушакова есть столько же біографія самого Радищева, высказавшаго тутъ свои задушевнѣйшія убѣжденія и свои искреннія симпатіи. Біографическія свѣдѣнія о другѣ Радищева немногосложны. Ушаковъ служилъ сначала секретаремъ при Тепловѣ и могъ бы разсчитывать на выгодную карьеру, такъ-какъ онъ пользовался довѣріемъ своего на-

чальника и уже вкусилъ «обращеніе въ большомъ свѣтѣ» со всѣми его удобствами, а также и съ его растлѣвающими вліяніями. Но служебные успѣхи не плѣняли его, и, бросивъ начатую карьеру, онъ поѣхалъ за границу учиться, на казенный счетъ, вмѣстѣ съ Радищевымъ, Кутузовымъ и др. Съ молодыми людьми отправились, для наблюденія за ними и для нравственнаго ихъ назиданія, два лица: нѣкто Бокумъ, ихъ наставникъ или «гофмейстеръ,» и инокъ Павелъ. Оба они не внушали къ себѣ никакого уваженія въ воспитанникахъ. Первый изъ нихъ, т. е. Бокумъ, обращался со взрослою молодежью, какъ со школьниками, дурно кормилъ ихъ и наконецъ такъ ожесточилъ противъ себя, что они въ Лейпцигѣ устроили противъ него домашнюю революцію. Объ умственныхъ способностяхъ Бокума и о степени вліянія, какое онъ могъ имѣть на воспитанниковъ,—даетъ полное понятіе слѣдующій анекдотъ. Пріѣхалъ въ Лейпцигъ русскій генералъ-поручикъ съ своимъ шуриномъ, гвардейскимъ офицеромъ, большимъ насмѣшникомъ, который любилъ выискивать глупцовъ и потѣшаться надъ ними. «Совершенно таковаго глупца—пишетъ Радищевъ—нашелъ онъ въ нашемъ гофмейстерѣ. Онъ, пользуясь пристрастіемъ его къ хвастовству, вывелъ его, по пословицѣ, на свѣжую воду. До того времени не вѣдали мы, что гофмейстеръ нашъ за похвалу себѣ вмѣнялъ прослыть богатыремъ... Помянутый гвардіи офицеръ, подстрекая самолюбіе Бокума, довелъ его до того, что онъ, для доказательства своихъ тѣлесныхъ силъ, выпивалъ, по его приказаніямъ, разомъ по нѣскольку бутылокъ воды или пива, давалъ себя толкать многимъ лакеямъ вдругъ, упираяся противъ ихъ усилія совлещи его

съ мѣста, а симъ приказано было не жалѣть своихъ толчковъ. Онъ его заставилъ ворочать всякія тяжести, подымать стулья, столы, платя ему за то, не умѣряя и не скрывая своего смѣха: Ну, Бокумъ! Бокумъ доведенъ былъ до того, что согласился вытерпливать удары довольно сильнаго электрическаго орудія». Въ то время, какъ Бокумъ занимался удачными опытами надъ своими тѣлесными силами, инокъ Павелъ съ неменьшимъ успѣхомъ дѣйствовалъ на религіозныя чувства юношей. Найдя ихъ всѣхъ недостаточно твердыми въ религіи, онъ началъ ихъ исправленіе съ того, что заставилъ пѣть при утреннихъ и вечернихъ молитвахъ. «Если вспомнить —говоритъ по прошествіи многихъ лѣтъ, уже пожилой въ то время авторъ біографіи—сколь нестройный, несогласный и шумный у насъ былъ всегда концертъ, то и теперь еще улыбнешься. Иной тянулъ очень низко, иной высоко, иной тонко, иной звонко, иной черезчуръ кудряво, и наконецъ устроенное на пріученіе ко благоговѣнію превратилося постепенно въ шутку и посмѣхалище». Кромѣ того, инокъ Павелъ былъ самъ чрезвычайно смѣшливъ и, чтобы не разсмѣяться во время богослуженія, онъ всегда совершалъ его съ зажмуренными глазами. Эта черта была живо подмѣчена и подала поводъ къ такой сценѣ: «Икона, передъ которой совершался нашъ молитвенный напѣвъ, стояла въ верху довольно пространнаго стола, на которомъ раскладены лежали наши шапки, шляпы, муфты, перчатки. М. У. (Михаилъ Ушаковъ) взялъ легонько одну изъ перчатокъ, на столѣ лежавшихъ, и согнувъ персты ея образомъ смѣшнаго кукиша, положилъ оную возвышенно, прямо предъ поющаго нашего духовника. При дѣланіи поясныхъ поклоновъ, раство-

рилъ онъ зажмурившіеся глаза свои — и первая представилася ему сложенная перчатка. Не могъ онъ воздержаться, захохоталъ громко, и мы всѣ за нимъ. Отецъ Павелъ, не привыкнувъ еще къ нашимъ проказамъ, обрѣталъ въ нихъ болѣе нежели простыя и юношескія шутки. Оборотясь, наименовалъ онъ насъ богоотступниками, непотребными и пр., сдѣлавшаго же вину смѣха называлъ, не грамматикально можетъ быть, мошенникомъ, да и того хуже. При первыхъ же словахъ, М. У., будучи же весьма вспыльчивъ, восколебался и столь же смѣшнымъ дѣяніемъ, какъ сей неприличными словами, представили намъ позорище, какого ни на какомъ театрѣ за рубль купить не можно. М. У., схвативъ висящую на стѣнѣ шпагу и привѣсивъ ее къ бедрѣ своей, бодро приступилъ къ чернецу; показывая ему эфесъ съ темлякомъ, говорилъ ему, немного заикаясь отъ природы: «забылъ развѣ, батюшка, что я кирасирскій офицеръ». Въ такомъ вкусѣ было продолженіе сего дѣйствія, которое для насъ кончилось смѣхомъ, для М. У. мнимою побѣдою, а для отца Павла отъитіемъ съ негодованіемъ въ свою комнату». Бокумъ съ первой же встрѣчи возненавидѣлъ Ѳедора Ушакова «за твердость мыслей и вольное оныхъ изреченіе». Но Ушаковъ мало этимъ огорчался и скоро нашелъ себѣ другое утѣшеніе. Въ Европѣ шла въ это время горячая, талантливая борьба литературы съ общественными предразсудками и устарѣвшими политическими порядками. Ушаковъ увлекся ею, сталъ изучать корифеевъ этой литературы, и его философское развитіе пошло быстро. Онъ пишетъ большое сочиненіе о смертной казни, въ которомъ отвергаетъ ее рядомъ раціональныхъ доводовъ, задается серьезными психологиче-

скими вопросами: о происхожденіи душевныхъ способностей, о необходимости страстей, о добродѣтели, при чемъ старается разрѣшать ихъ логическимъ путемъ, а не «велегласными словами метафизики». Замѣчательно, что съ книгой Гельвеція «О разумѣ» его познакомилъ одинъ русскій сановникъ, который, въ бытность свою въ Лейпцигѣ, сблизился съ Ушаковымъ, проводилъ съ нимъ въ разговорахъ цѣлые вечера и даже обѣщалъ ему свое покровительство. Вернувшись въ Петербургъ, этотъ «мечтанный покровитель учености» однако одумался и не отвѣчалъ уже на письма своего заграничнаго друга. «Или ему низко было—размышляетъ Радищевъ — вступить въ переписку съ неравнымъ ему состояніемъ; или благодарить надлежитъ за то наукамъ, что, среди обиталища ихъ, различіе состояній нечувствительно и взоровъ природнаго равенства не тягчитъ, и для того въ Лейпцигѣ О. обходился съ Ѳедоромъ Васильевичемъ, какъ съ равнымъ себѣ. И по истинѣ равенъ онъ былъ тебѣ, мразная душа, силами разума, но далеко превышалъ тебя добротою сердца». Ушакову не суждено было вернуться въ Россію (и, можетъ быть, къ его счастію, такъ-какъ его легко могла бы постигнуть участь Радищева): онъ умеръ за границей отъ тяжкой болѣзни, усиленной безпрерывными трудами и умственнымъ напряженіемъ. Но и въ дверяхъ могилы онъ не потерялъ философскаго спокойствія духа и предупредилъ доктора: «не мни, что, возвѣщая мнѣ смерть, растревожишь меня безвременно». Передъ смертью онъ обратился къ Радищеву съ этими простыми, но трогательными словами: «Прости теперь въ послѣдній разъ; помни, что я тебя любилъ; помни, что нужно въ жизни имѣть прави-

ло, чтобы быть блаженнымъ, и что должно быть тверду въ мысляхъ, чтобы умирать безтрепетно». «Слезы и рыданіе—заканчиваетъ авторъ свой разсказъ—были ему въ отвѣтъ, но слова его громко раздалися въ моей душѣ и неизгладимою чертою ознаменовались на памяти. Поживутъ они всецѣло, доколѣ дыханіе въ груди моей не исчезнетъ, и не охладѣетъ въ жилахъ кровь. Даждь небо, да мысль присутственна мнѣ будетъ въ преддверіи гроба и да возмогу важное сынамъ моимъ оставить наслѣдіе — послѣднее завѣщаніе умирающаго вождя моей юности». И Радищевъ доказалъ всею своею жизнью, что онъ не забылъ честнаго завѣщанія друга... «Житіе Ушакова» появилось въ печати, безъ имени автора, годомъ раньше извѣстнаго «Путешествія». Тонъ его нѣсколько сдержаннѣе послѣдняго сочиненія; но и здѣсь видно уже, сколько справедливой горечи накипѣло въ душѣ Радищева, и какъ вѣрно понималъ онъ больныя стороны тогдашняго общества. «Чтобы быть употреблену съ похвалою въ дѣлахъ министерскихъ—замѣчаетъ онъ въ одномъ мѣстѣ — надобенъ умъ, а честности мало. Коварство, пронырство, искусство выситься и низиться по обстоятельствамъ могутъ сдѣлать отличнаго министра, но добраго гражданина николи». Переходя въ частности къ русскимъ начальникамъ, онъ говоритъ про нихъ: «каждый начальникъ мыслитъ, что, пользуяся удѣломъ власти безпредѣльной, онъ такой же властитель въ частномъ, какъ государь въ общемъ. И сіе столь справедливо, что нерѣдко правиломъ пріемлется, что противорѣчіе власти начальника есть оскорбленіе верховной власти. Мысль несчастная, тысячи любящихъ отечество гражданъ заключающая въ темницу и предающая

ихъ смерти, тѣснящая духъ и разумъ, и на мѣстѣ величія водворяющая робость, рабство и замѣшательство, подъ личиною устройства и покоя». Къ этому же сильному мѣсту авторъ дѣлаетъ еще слѣдующее примѣчаніе: «Съ вѣроятностью, корень сегѡ правила о непрекословномъ повиновеніи найти можемъ въ воинскихъ законоположеніяхъ и въ смѣшеніи гражданскихъ чиновниковъ съ военными. Большая часть у насъ начальниковъ, въ гражданскомъ званіи, начали обращеніе свое въ службѣ отечеству съ военнаго состоянія и, привыкнувъ давать подчиненнымъ своимъ приказы, на которые возраженія не терпитъ воинское повиновеніе, вступаютъ въ гражданскую службу съ пріобрѣтенными въ военной мыслями. Имъ кажется вездѣ строй; кричитъ въ судѣ: на караулъ! и опредѣленіе нерѣдко подписываетъ палкою». Не видя никакого выхода изъ этого заколдованнаго круга, Радищевъ успокоивался наконецъ на слѣдующемъ отдаленномъ соображеніи: «Человѣкъ много можетъ сносить непріятностей, удрученій и оскорбленій. Доказательствомъ сему служатъ всѣ единоначальства. Гладъ, жажда, скорбь, темница, узы и самая смерть мало его трогаютъ. Не доводи его токмо до крайности. Но сего-то притѣснители частные и общіе, по счастію человѣчества, не разумѣютъ и, простирая повсемѣстную тяготу,—предѣлъ оныя, на коемъ отчаяніе бодрственную возноситъ главу, зрятъ всегда въ отдаленности, хождая воскрай гибели, покрытой спасительною для человѣка мглою. Не вѣдаютъ мучители— и даждь Господи, да въ невѣдѣніи своемъ пребудутъ ослѣпленными навсегда!—не вѣдаютъ, что составляющее несносную печаль сему — другому не причиняетъ нижѐ единаго

скорбнаго мгновенія, да и наоборотъ то, что въ одномъ сердцѣ ни малѣйшаго не произведетъ содроганія, во стѣ (т. е. сотнѣ) другихъ родитъ отчаяніе и изступленіе. Пробу́ди благое невѣдѣніе всецѣло, пробу́ди нерушимо до скончанія вѣка: въ тебѣ почила сохранность страждущаго общества» (см. II т., стр. 308—309). Пугачевскій бунтъ могъ уже служить въ то время историческимъ подтвержденіемъ этой мысли объ отчаяніи и изступленіи, которыя, наконецъ, «возносятъ бодрственную главу, служа единственнымъ признакомъ жизни въ «страждущемъ обществѣ»...

Въ государственной сферѣ было двѣ крупныхъ попытки измѣнить теченіе дѣлъ. Первая изъ нихъ вышла изъ среды вельможъ, окружавшихъ тронъ, и относится къ царствованію Анны Іоанновны. Свѣдѣнія о ней мы находимъ въ «Письмахъ о Россіи *) дука де-Лиріи», испанскаго посланника, прибывшаго въ Петербургъ при Петрѣ II, отъ имени короля Филиппа V (см. II и III томы Осьмнадцатаго вѣка).

Дукъ де-Лирія попалъ въ Россію по чистому недоразумѣнію и, во все время своего посольства, плакался на свою судьбу, на русскій морозъ, истребившій у него запасъ токайскаго вина, на русскихъ варваровъ, «хитрыхъ и лукавыхъ», какъ никто въ мірѣ, и наконецъ на испанское казначейство, которое съ такою аккуратностью высылало

*) Существуютъ еще Записки дука Лирійскаго, которыя были переведены въ 1845 г., съ французскаго языка, г. Языковымъ. Но этотъ переводъ неполонъ; кромѣ того, французскія записки дука, написанныя послѣ, представляютъ многія обстоятельства въ сглаженномъ видѣ, тогда какъ въ своихъ депешахъ и письмахъ (на испанскомъ языкѣ) онъ записываетъ ихъ по свѣжимъ впечатлѣніямъ, по только что полученнымъ извѣстіямъ. Переводъ этихъ писемъ принадлежитъ г. Кустодіеву.

ему свои платежи, что бѣдный посланникъ принужденъ былъ отдать въ закладъ даже свой орденъ Золотаго Руна. Недоразумѣніе, привлекшее дука съ гостепріимнаго юга на суровый сѣверъ, состояло въ томъ, что Филиппъ V, заключивъ союзъ съ Австріей противъ Англіи, надѣялся, на случай войны, воспользоваться русскими кораблями и ими сокрушить морское могущество англичанъ. Надежда эта, сама по себѣ призрачная, потому что русскій флотъ вовсе не былъ въ состояніи выдержать борьбу съ англійскимъ, парализировалась совершенно тѣмъ обстоятельствомъ, что, во время посланничества дука, политическія отношенія радикально перемѣнились, и Англія сдѣлалась изъ враговъ союзницей Испаніи. Кромѣ того, при Петрѣ II русскій дворъ выражалъ намѣреніе навсегда остаться въ Москвѣ, а тогда—говоритъ самъ дукъ де-Лирія — «я не далъ бы и четырехъ плевковъ за его союзъ, и пускай его себѣ возится съ персами и татарами: вѣдь государствамъ Европы тогда онъ не можетъ сдѣлать ни добра, ни зла». Но если путешествіе дука не принесло пользы его странѣ, то въ его письмахъ и депешахъ къ испанскому правительству сохранилось зато много интересныхъ фактовъ о положеніи дѣлъ въ Россіи и объ отношеніи придворныхъ партій въ царствованіе Петра II и въ началѣ царствованія Анны Іоанновны. Положеніе партій при Петрѣ II дукъ де-Лирія представляетъ въ слѣдующихъ чертахъ: «Чтобы лучше понять настоящее положеніе здѣшняго двора, нужно знать, что здѣсь существуютъ двѣ партіи. Первая—царская, къ которой принадлежатъ всѣ тѣ русскіе, которые желаютъ выгнать отсюда всѣхъ иностранцевъ. Она подраздѣляется на двѣ: одну составляютъ Голи-

цыны, другую — Долгорукіе. Вторая партія есть партія великой княжны, царской сестры, и къ ней принадлежатъ: баронъ Остерманъ, графъ Левенвольдъ и всѣ иностранцы. Цѣль послѣдней партіи состоитъ въ томъ, чтобы поддержать себя противъ русскихъ милостію и покровительствомъ великой княжны (Натальи Алексѣевны), которую царь пока весьма много уважаетъ. Левенвольда ненавидятъ не только русскіе, но и всѣ честные люди... Но больше всѣхъ царь довѣряетъ принцессѣ Елизаветѣ, своей теткѣ, которая отличается необыкновенною красотой; я думаю, что его расположеніе къ ней имѣетъ весь характеръ любви. Впрочемъ, она ведетъ себя благоразумно и осторожно; она уважаетъ Остермана и живетъ съ нимъ въ согласіи. Его величество также любитъ молодаго князя Долгорукаго, который, какъ молодой человѣкъ, угождаетъ ему во всемъ. Принцесса Елизавета, такимъ образомъ, нѣсколько отстраняется отъ царя, и нѣтъ сомнѣнія, если Долгорукій сдѣлается полнымъ фаворитомъ, принцессѣ и Остерману грозитъ погибель. Дѣлаютъ всевозможное, чтобы отстранить этого Долгорукаго (Ивана Алексѣевича), но пока безъ успѣха. Онъ,—сынъ князя Долгорукаго, втораго воспитателя царя, служитъ камергеромъ и пользуется такою довѣренностью, что не оставляетъ царя ни на минуту, даже спитъ съ нимъ въ одной комнатѣ. Отецъ его, въ свою очередь, старается доставлять царю разныя удовольствія. Они удалили бы уже Остермана, если бы русскіе вельможи были между собою въ согласіи. Голицыны и Долгорукіе—первые и сильнѣйшіе изъ всѣхъ русскихъ бояръ; но съ нѣкотораго времени они во враждѣ между собою: если одна сторона указываетъ для ка-

кого-нибудь важнаго поста одного изъ своихъ друзей, другая никакъ не хочетъ уступить». Въ другихъ депешахъ онъ дѣлаетъ характеристику всѣхъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ. Наибольшую симпатію высказываетъ онъ къ великой княжнѣ Натальѣ Алексѣевнѣ, вѣроятно, въ благодарность за ту поддержку, которую находили въ ней иностранцы. «Доброжелательность, умъ, благородство, разсудительность, любовь къ иностранцамъ»—вотъ ея отличительныя качества. Всего рѣзче отзывается онъ о принцессѣ Елизаветѣ, хотя впослѣдствіи, разойдясь съ Остерманомъ, значительно смягчаетъ о ней свои отзывы. Характеръ Елизаветы, по его мнѣнію, совершенно противоположенъ характеру великой княжны Натальи. «Красота ея физическая — говоритъ онъ — это чудо (maravilla), грація ея неописанна, но она лжива, безнравственна и крайне честолюбива. Еще при жизни своей матери она хотѣла быть преемницей престола предпочтительно предъ настоящимъ царемъ, но какъ божественная правда не восхотѣла этого, то она задумала взойти на тронъ, выйдя замужъ за своего племянника; но и этого не могла добиться, во-первыхъ, потому, что своимъ дурнымъ поведеніемъ она потеряла благоволеніе царя. Послѣ всего этого теперь она живетъ, скрывая свои мысли, заискивая у всѣхъ вообще, а особенно у старыхъ русскихъ, которые чувствуютъ себя оскорбленными въ своихъ обычаяхъ». Успѣхи Голицыныхъ при дворѣ тревожатъ дука еще больше, чѣмъ вліяніе красоты Елизаветы; онъ думаетъ, что если эта фамилія войдетъ окончательно въ милость у царя, то въ правительствѣ произойдетъ совершенная революція, и «всѣ иностранцы должны считать себя погибшими, потому что Голицыны всѣ

вообще ненавидятъ ихъ». Но значеніе Голицыныхъ предвидится только въ перспективѣ; въ настоящемъ же растетъ чрезмѣрная власть дома Долгорукихъ, которые «управляютъ всѣмъ и съ крайнимъ произволомъ». Говоря порознь о князьяхъ Долгорукихъ, дукъ де-Лирія относится довольно снисходительно къ самому фавориту и признаетъ въ немъ даже умъ и «отвращеніе къ придворнымъ интригамъ». Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ сообщаетъ, что въ приближенномъ семействѣ нѣтъ внутренняго согласія, такъ что отецъ фаворита завидуетъ успѣхамъ сына, а родная сестра его, нареченная невѣста Петра, «ненавидитъ брата и поклялась погубить его». Къ этимъ извѣстіямъ, которыя могли бы показаться странными и невѣроятными, дукъ де-Лирія прибавляетъ, что въ Россіи «никто не хочетъ знать никакого закона: каждый добивается своей цѣли, а для достиженія ея пожертвуетъ отцомъ, матерью, дѣтьми, родными и друзьями» (Т. II, стр. 157). Объ Остерманѣ, стоявшемъ во главѣ иностранной партіи, де-Лирія говоритъ, какъ о самомъ способномъ и опытномъ русскомъ министрѣ, хотя, въ откровенныя минуты, и замѣчаетъ, что это—человѣкъ безъ религіи и правилъ. Изъ всѣхъ этихъ данныхъ возникла и развивалась придворная борьба, подъ перекрестнымъ огнемъ которой пришлось стоять испанскому посланнику, сондируя тамъ и сямъ, обращаясь то къ тому, то къ другому, и попадая ежеминутно, по его выраженію, «на подводные камни.» Русская партія, въ которой многіе члены желали возстановленія допетровской старины, включая сюда и патріаршество, переселила царя въ Москву, чтобы удобнѣе окружить его тамъ соотвѣтствующими вліяніями; иностранцы же, въ томъ числѣ и де-Лирія, усили-

вались возвратить его въ Петербургъ, гдѣ самая почва подсказывала другія мысли и направляла иначе политику. Работая въ пользу своей цѣли, послѣдніе не затрудняются даже подлогомъ, и дукъ де-Лирія, вдвоемъ съ австрійскимъ посланникомъ графомъ Вратиславскимъ, преспокойно дѣлаютъ къ письму принца Евгенія приписку собственнаго сочиненія, въ которой говорится, что австрійскій цезарь проситъ настойчиво хлопотать о возвращеніи двора въ Петербургъ (стр. 125). Самъ царь сначала высказывается противъ жизни въ Москвѣ, гдѣ ему докучаютъ наставленіями и постоянной опекой (стр. 45); но мало-по-малу онъ такъ подчиняется Долгорукимъ, преимущественно отцу фаворита, князю Алексѣю, что толки о Петербургѣ стихаютъ, и наконецъ де-Лирія долженъ признаться самому себѣ, что «надежда на возвращеніе въ Петербургъ исчезла совершенно, и нѣтъ никакихъ способовъ убѣдить тѣхъ, которые бы своимъ вліяніемъ могли подѣйствовать на предпріятіе этого путешествія». Это случилось вскорѣ по смерти великой княжны, покровительницы иностранцевъ. Овладѣвъ царемъ, Долгорукіе удалили отъ него Елизавету, къ которой присватался-было, но безуспѣшно, князь Иванъ. Вслѣдъ затѣмъ отецъ фаворита сталъ подготавливать женитьбу царя на княжнѣ Долгорукой, и успѣлъ бы въ этомъ, еслибы замыслы его не прервала смерть Петра, здоровьемъ котораго слишкомъ неосторожно рисковалъ увлекшійся временщикъ. Въ этотъ періодъ жизни Петра, несчастный мальчикъ-государь, каждое утро, едва одѣвшись, садился въ сани и ѣхалъ въ подмосковную съ княземъ Алексѣемъ Долгорукимъ, который изобрѣталъ для него все новыя и новыя потѣхи, не желая

выпускать изъ своихъ рукъ и удаляя по возможности отъ Елизаветы и Остермана. Фаворитъ не одобрялъ дѣйствій отца, но по слабости характера не рѣшался противостать имъ. Государственныя дѣла, всѣми заброшенныя, приходили окончательно въ упадокъ. «Что касается здѣшняго управленія — пишетъ дукъ де-Лирія — все идетъ дурно: царь не занимается дѣлами, да и не думаетъ заниматься; денегъ никому не платятъ, и Богъ знаетъ, до чего дойдутъ финансы его царскаго величества; каждый воруетъ, сколько можетъ. Всѣ члены верховнаго совѣта нездоровы, и потому этотъ трибуналъ, душа здѣшняго управленія, вовсе не собирается. Всѣ подчиненныя вѣдомства тоже остановили свои дѣла. Жалобъ бездна; каждый дѣлаетъ то, что ему набредетъ на умъ». Наконецъ, совершилось обрученіе царя съ нелюбимою имъ невѣстою. При этомъ приняты были всѣ мѣры на случай безпорядка или сопротивленія недовольныхъ: цѣлый батальонъ гвардіи (въ 1,200 человѣкъ) держалъ караулъ во дворцѣ; сто гренадеръ, подъ командою фаворита, вошли въ залу, гдѣ производилась церемонія, съ заряженными ружьями. Счастье было «такъ близко, такъ возможно». Но вдругъ, чрезъ полтора мѣсяца, Петръ умираетъ, не вступивши въ законный бракъ, къ ужасу Долгорукихъ, на половину породнившихся съ нимъ. Надлежало замѣстить вакантный престолъ—и тогда-то зародилась въ нѣкоторыхъ умахъ мысль о политической реформѣ, упомянутая нами. Прежде всего на виду стояли: сынъ герцога Голштинскаго, — имѣвшій наибольшее право на престолъ, еслибы онъ переходилъ легальнымъ порядкомъ,—и принцесса Елизавета, у которой, уже въ то время, были свои сторонники. Дукъ де-Лирія

упоминаетъ также, въ числѣ кандидатокъ на тронъ, царицу-бабку Петра и княжну Долгорукую, невѣсту покойнаго царя. Но случилось то, чего онъ вовсе не ожидалъ, а именно: на престолъ была призвана Анна Іоанновна, дочь номинально-царствовавшаго Іоанна Алексѣевича, никогда и не мечтавшая о русской коронѣ. Что за странный поворотъ дѣла, и какъ объяснить его? Многіе наши историки, повѣствовавшіе объ этомъ событіи, объясняютъ его не больше, какъ коварствомъ царедворцевъ, которые добивались своихъ личныхъ выгодъ, и потому предложили тронъ герцогинѣ Курляндской, ограничивъ предварительно ея власть. Безъ сомнѣнія, личныя выгоды, болѣе или менѣе широко понимаемыя, руководятъ всѣми дѣйствіями смертныхъ, но однимъ указаніемъ на нихъ врядъ-ли исчерпывается смыслъ какого бы то ни было политическаго событія. Можно думать, что и Анна Іоанновна, разрывая подписанные ею пункты, также не забывала своихъ личныхъ интересовъ; слѣдовательно, и въ томъ, и въ другомъ случаѣ мотивъ дѣйствія будетъ совершенно одинаковъ. Но отъ этой общей побудительной причины перейдемъ къ дальнѣйшимъ соображеніямъ. Насколько члены верховнаго совѣта, ограничивая власть избираемой ими государыни, имѣли въ виду интересы страны, или, пожалуй, на сколько государственные интересы совпадали съ ихъ личными выгодами? Пересмотрѣвъ внимательно всѣ документы, относящіеся къ этому дѣлу, мы не рѣшимся сказать, чтобы государственные интересы тутъ совершенно отсутствовали, и чтобы реформаторы руководились исключительно своими личными разсчетами. Они, правда, понимали эти интересы слишкомъ узко и хотѣли ограничить предста-

вительство однимъ сословіемъ, то-есть сравнительно-ничтожнымъ кружкомъ народа; но въ то время, въ цѣлой Европѣ, народныя массы нигдѣ не призывались еще къ политической жизни, и, такимъ образомъ, грѣхъ нашихъ верховниковъ имѣетъ за себя, по крайней мѣрѣ, circonstances atténuantes. Говорятъ еще, что верховники, избирая на извѣстныхъ условіяхъ Анну Іоанновну, желали уничтожить Петровы преобразованія и отодвинуть Россію ко временамъ Гостомысла; но и это предположеніе падаетъ само собою, въ виду того, что съ такою цѣлью сообразнѣе было бы—возвести на престолъ бабку Петра II-го, которую дукъ де-Лирія упоминаетъ въ числѣ претендентокъ. Люди, распоряжавшіеся трономъ, могли сдѣлать это такъ же свободно, какъ и предлагая корону герцогинѣ Курляндской. Но дѣло въ томъ, что партія тупыхъ и невѣжественныхъ ретроградовъ была не причемъ въ моментъ избранія Анны. Кредитъ Ивана и Алексѣя Долгорукихъ упалъ сейчасъ же по смерти царя (этимъ объясняется и паденіе кандидатуры царской невѣсты), и главнымъ дѣятелемъ въ сношеніяхъ съ Анною Іоанновною становится князь Василій Лукичъ Долгорукій, бывшій русскимъ посланникомъ въ Швеціи, Польшѣ, Даніи и Франціи—человѣкъ безспорно, умный и образованный. Пребываніе въ этихъ странахъ (стр. 62), вѣроятно, внушило ему тѣ новыя понятія о государственной власти, которыя онъ вознамѣрился приложить къ своему отечеству; а потому нельзя и допустить, чтобы онъ, достигнувъ успѣха, оправдалъ опасенія де-Лиріи и сталъ безъ толку «выгонять всѣхъ иностранцевъ» изъ Россіи. Вѣрнѣе, что онъ своимъ вліяніемъ удержалъ бы отъ такой затѣи своихъ родичей и союзниковъ,

еслибы она пришла имъ въ голову. Поочистить же Россію отъ нѣкоторыхъ продажныхъ авантюристовъ, дѣйствительно, не мѣшало... По депешамъ дука де-Лиріи можно прослѣдить весь краткій періодъ преобразовательныхъ стремленій того времени. «Во первыхъ, хотятъ — пишетъ дукъ въ депешѣ отъ 31-го января нов. ст. 1730 г. — чтобы она (герцогиня Курляндская) не выходила замужъ, во вторыхъ, чтобы ею руководствовалъ совѣтъ, назначаемый націей. (Въ глазахъ дука, какъ и всѣхъ политическихъ людей его времени, одинъ только высшій классъ слылъ подъ именемъ націи.) Идѣя та, чтобы считать царицу лицомъ, которому они отдаютъ корону какъ бы на храненіе, чтобы впродолженіе ея жизни составить свой планъ управленія на будущее время. Они имѣютъ три идеи объ управленіи, въ которыхъ еще не согласились: первая—слѣдовать примѣру Англіи, въ которой король ничего не можетъ дѣлать безъ парламента. Вторая—взять примѣръ съ управленія Польши, имѣя выборнаго монарха, котораго бы руки были связаны республикой. И третья—учредить республику во всей формѣ безъ монарха. Какой изъ этихъ трехъ идей они будутъ слѣдовать—еще неизвѣстно» (стр. 30, III т.). Далѣе, въ депешѣ отъ 6-го февраля того же года, дукъ сообщаетъ: «Планъ управленія, которое хотятъ установить здѣсь, отнимаетъ у ея царскаго величества всякую власть. Она не будетъ имѣть никакой власти надъ войскомъ, которымъ будутъ распоряжаться фельдмаршалы, давая во всемъ отчетъ верховному совѣту, и царица будетъ имѣть въ своемъ распоряженіи только ту гвардію, которая будетъ на дѣйствительной службѣ во дворцѣ; она не будетъ имѣть ни



одного слуги, который бы по формѣ не былъ утвержденъ верховнымъ совѣтомъ. Послѣдній будетъ составленъ изъ 12 членовъ, и всѣ дѣла будутъ восходить къ этому трибуналу. Сенатъ будетъ составленъ изъ 30 лицъ, и онъ будетъ заниматься дѣлами судебными. Кромѣ этихъ двухъ трибуналовъ, будетъ еще одинъ, изъ 200 лицъ мелкаго дворянства, въ родѣ нижней палаты». Затѣмъ (15-го февраля), верховный совѣтъ пригласилъ высшее дворянство—«содѣйствовать наибольшимъ пользамъ имперіи и представить свои идеи». Дворяне не замедлили воспользоваться благимъ предложеніемъ, и проекты посыпались одинъ за другимъ. Князь Черкасскій выставилъ свои «артикулы», по которымъ число членовъ верховнаго совѣта увеличивалось до 21-го; члены совѣта и сената должны были выбираться генералами и дворянствомъ по большинству голосовъ, и притомъ такъ, чтобы «изъ каждой фамиліи могъ быть выбранъ только одинъ» (пунктъ, направленный противъ родственной стачки въ правительствѣ); законы должны быть обсуждаемы въ совѣтѣ и сенатѣ при участіи генералитета и дворянства (не намекъ ли это на особую нижнюю палату изъ мелкихъ дворянъ, о которой говорится выше?). Кромѣ того, въ проектъ Черкасскаго внесены нѣкоторыя льготы для всѣхъ сословій; такъ, напримѣръ, дворянство освобождалось отъ обязательной службы, духовенство и купечество — отъ постоя солдатъ, а крестьянамъ «возможно облегчались налоги». За проектомъ Черкасскаго появилось еще два—генерала Матюшкина и князя Куракина, которыхъ содержаніе неизвѣстно; но кажется, что и эти проекты направлялись главнымъ образомъ противъ сильной власти, захваченной верховнымъ совѣтомъ.

Члены совѣта увидѣли, что нужно сдѣлать нѣкоторыя уступки,—и сдѣлали ихъ (см. статью «Русск. генералитетъ», стр. 174). По этому поводу дукъ де-Лирія писалъ отъ 20-го февраля нов. стиля: «Теперь всѣ заняты составленіемъ проектовъ, но еще не остановились ни на одномъ, и эти господа магнаты такъ раздѣлены между собою, что невозможно сказать что-нибудь положительное объ ихъ системѣ. Повидимому, съ пріѣздомъ царицы примутъ какое нибудь рѣшеніе, но какое— угадать трудно. Я могу легко обмануться; но мнѣ кажется, что теперь не согласятся между собою тѣ, которые думаютъ перемѣнить форму правленія, и что мы увидимъ царицу такою же неограниченною, какими были ея предшественники; но впродолженіе ея царствованія они будутъ образовывать и совершенствовать свою систему, чтобы установить ее послѣ ея смерти». Дукъ де-Лирія ошибся только въ послѣднемъ: въ царствованіе Анны Іоанновны, которое было, собственно говоря, царствованіемъ Бирона и его клевретовъ, не произошло никакихъ измѣненій и усовершенствованій въ правительственной системѣ... Теперь посмотримъ, что дѣлалось на противоположной сторонѣ. Въ Митавѣ Анна Іоанновна покорно подписала пункты, предложенные ей верховнымъ совѣтомъ. Пункты эти гласили слѣдующее: «1) Она во всемъ руководится мнѣніемъ верховнаго совѣта. 2) Не будетъ предпринимать никакой войны. 3) Не можетъ заключать никакого мира. 4) Не можетъ налагать никакого налога. 5) Не можетъ предоставлять никакой значительной должности. 6) Не можетъ объявлять ни сентенціи, и никакого наказанія кому либо изъ дворянства безъ формальнаго процесса. 7) Не можетъ кон-

фисковать имуществъ ни одного дворянина, по крайней мѣрѣ, если это не будетъ вызвано какимъ нибудь важнымъ преступленіемъ. 8) Не можетъ отчуждать ни имущества, ни земли, принадлежащихъ коронѣ». Нельзя, конечно, сказать, чтобы эти пункты были направлены противъ злоупотребленій не существующихъ: всѣ знали, сколько послѣдовало казней и ссылокъ, не мотивированныхъ никакимъ опредѣленнымъ преступленіемъ; всѣ помнили хорошо, сколько казеннаго имущества раздарено фаворитамъ. Но вотъ въ Митаву же приходитъ къ ней секретное письмо отъ Ягужинскаго, въ которомъ этотъ генералъ пишетъ, чтобы она ни въ какомъ случаѣ не принимала предлагаемыхъ ей условій, что ея выборъ былъ единодушенъ (но гдѣ? въ верховномъ же совѣтѣ?), что пусть только она. обнаружитъ твердость и скорѣе пріѣдетъ въ Москву, а ужь онъ и его приверженцы станутъ на ея сторону. Покуда новая императрица была въ Митавѣ, ей неудобно было ссориться съ верховнымъ совѣтомъ, и письмо Ягужинскаго, быть можетъ, «по причинѣ измѣны самой царицы» (какъ предполагаетъ де-Лирія), попало въ руки Василія Долгорукаго, присланнаго отъ имени совѣта; авторъ же посланія арестованъ и посаженъ въ кремль. Но обстоятельства скоро склонились въ пользу Анны. Въ то время, какъ генералитетъ и дворянство, непривыкшіе къ самостоятельной политической жизни, сочиняли проекты и контръ-проекты, не умѣя остановиться ни на одномъ опредѣленномъ рѣшеніи—«офицеры гвардіи (отданные подъ начальство верховнаго совѣта) открыто говорили, что они-де желаютъ лучше быть рабами одного монарха, чѣмъ покоряться столькимъ главамъ, тиранія которыхъ бу-

детъ невыносима» (т. III, стр. 36). Съ пріѣздомъ государыни въ Москву, это движеніе усилилось въ чаяніи близкихъ наградъ, и дѣло кончилось тѣмъ, что генералъ Салтыковъ, родственникъ императрицы, провозгласилъ ее, во главѣ гвардіи, неограниченной государыней. Генералитетъ и дворянство смалодушествовали при этомъ самымъ постыднымъ образомъ, сваливъ всю вину на умнѣйшаго изъ своей среды, Василія Долгорукаго, который и былъ объявленъ «измѣнникомъ и предателемъ». Впрочемъ, многіе вельможи, еще до развязки всей этой исторіи, когда нельзя было навѣрное предсказать конецъ, поступали чрезвычайно остроумно и находчиво: такъ, напримѣръ, генералъ Колтовскій, графъ Ѳ. Апраксинъ, князь И. Трубецкой подписывались съ одинаковымъ удовольствіемъ и подъ жалобами на верховниковъ, и подъ отвѣтами на эти жалобы. Иные подписывались сами подъ отказомъ верховнаго совѣта, а сыновей заставляли писать протестъ, уподобляясь той богомольной старушкѣ, которая ставила разомъ двѣ свѣчи и Богу, и сатанѣ. «Неизвѣстно еще, гдѣ придется быть», говорила предусмотрительная старушка. Но исторія наказала-таки вѣроломную толпу: 9-го мая (новаго стиля) 1730 г. Биронъ былъ сдѣланъ оберъ-камергеромъ двора, а затѣмъ начались и всѣ ужасы бироновщины. Февральскія и мартовскія событія пошли въ прокъ: они показали, что съ такими людьми, дѣйствительно, нечего церемониться...

IV.

Другая, еще болѣе замѣчательная, попытка реформировать нашъ государственный строй и влить въ него новые, свѣжіе соки — произведена самою представительницей верховной власти, Екатериной II. Мы говоримъ о знаменитомъ «Наказѣ» и о созваніи выборныхъ депутатовъ для составленія новаго уложенія. Время, въ которое жила императрица Екатерина, сильно отличается отъ глухой поры Аннинскаго царствованія. Это было время, когда философскія идеи, выработанныя новымъ направленіемъ умовъ, начали уже переходить изъ теоріи въ практику, осуществляясь вначалѣ руками самихъ привилегированныхъ сословій, противъ которыхъ онѣ были направлены; когда сильные государи записывались въ ряды философовъ, выставляя на своемъ политическомъ знамени: освобожденіе отъ предразсудковъ, ограниченіе власти духовенства, религіозную терпимость, развитіе просвѣщенія въ народѣ, смягченіе наказаній, равенство передъ закономъ, и проч. и проч.; когда либерализмъ мысли считался обязательнымъ для каждаго просвѣщеннаго человѣка, переходя нерѣдко въ sensiblerie déclamatoire—особенную болѣзнь вѣка. Еще въ дѣтствѣ Екатерины, когда она жила съ своей матерью въ Гамбургѣ, графъ Гилленбургъ замѣчалъ у нея «философское расположеніе ума»; позднѣе эта умственная пытливость развилась въ ней окончательно подъ вліяніемъ чтенія Бейля, Мон-

тескьё, Вольтера и всѣхъ энциклопедистовъ. Въ религіозныхъ вопросахъ она держалась просвѣщенной вѣротерпимости, въ сферѣ правовыхъ отношеній отстаивала равенство передъ закономъ и возможно-полную свободу личности, а свои политическія симпатіи опредѣляла (уже въ 1789 году) такимъ рѣшительнымъ образомъ: «Я уважала философію—пишетъ она доктору Циммерману—потому что въ душѣ моей была всегда отмѣнной республиканкой. Признаюсь, что такое расположеніе души моей покажется, можетъ быть, чуднымъ противорѣчіемъ съ моей неограниченной властью; однакожъ въ Россіи никто не скажетъ, чтобы я власть свою во зло употребляла». Взойдя на престолъ, она заводитъ прямыя сношенія съ французскими писателями, предлагаетъ имъ перенести въ Петербургъ изданіе «Энциклопедіи», гонимой духовенствомъ, гордится похвалами Вольтера, приглашаетъ къ себѣ Дидро (о Дидро см. статью въ I т. «Осьмнадц. вѣка») и, какъ покорная ученица, выслушиваетъ его пламенныя, краснорѣчивыя бесѣды,—про себя соображая, впрочемъ, что смѣлыя теоріи философа удобнѣе выражаются въ салонѣ, чѣмъ проводятся въ политической жизни. Словомъ, она—философски образованная женщина, и огромною властью своею пользуется, въ самомъ дѣлѣ, умѣренно, чѣмъ вызываетъ уже слишкомъ неумѣренныя похвалы отечественныхъ бардовъ. Но личной кротости и воздержанія отъ злоупотребленій еще недостаточно для управленія государствомъ: нужно знать, прежде всего, потребности народа и слышать непосредственно голосъ имъ избранныхъ представителей. Законы должны возникать изъ жизни народа и контролироваться народною волей. Чтобы исполнить

эту существенную обязанность правительницы, Екатерина созываетъ коммиссію изъ народныхъ представителей, пишетъ для нея свой человѣколюбивый «Наказъ» и, являясь инкогнито въ засѣданія коммиссіи, съ удовольствіемъ прислушивается къ свободно-сдержанному говору свободныхъ людей. При выборѣ депутатовъ, сами правительственныя лица совѣтуютъ выбирать не знатныхъ, а людей, знающихъ нужды народа. Право выбора дается по очень невысокому цензу, что рѣзко отличаетъ Екатерининскую мѣру отъ конституціонно-аристократическихъ попытокъ князя Долгорукаго. Всѣ депутаты остаются довольны мудрыми словами «Наказа» и безтрепетно высказываютъ свои предложенія, а маршалъ Бибиковъ, съ достоинствомъ, какъ настоящій президентъ парламента, руководитъ преніями собранія. (Всѣ эти пренія напечатаны въ IV томѣ «Сборника Русс. Истор. Общества» изданія, представляющаго большой интересъ для науки.) Но есть, однако, и недовольные коммиссіей. Лифляндскіе и эстляндскіе депутаты, боясь за ненарушимость своихъ «привиллегій», желаютъ устранить себя отъ засѣданій коммиссіи. Тогда Екатерина пишетъ громовое письмо къ князю Вяземскому: «Велите, кому вы заблагоразсудите, подать голосъ, составленный изъ слѣдующихъ мотивовъ. Что онъ (то-есть будущій авторъ «голоса») съ великимъ удивленіемъ услышалъ торжественное предохраненіе (устраненіе) господъ лифляндскихъ депутатовъ, для того, что, какъ бы то ни были совершенны ихъ узаконенія теперешнія,—не выведены изъ такихъ человѣколюбивыхъ правилъ, какъ въ «Наказѣ» ея величества предписано для составленія законовъ... Если же противу ком-

миссіи они торжественно предохранились, то онъ почитаетъ, что въ томъ они протестовали сами противъ себя: ибо, бывъ на ряду со всѣми депутатами во всѣхъ частныхъ коммиссіяхъ, они сочиняютъ проекты. Если же въ сихъ проектахъ они не внесли части себѣ приличныя и коими они сами недовольны быть могутъ, какъ въ томъ ихъ присяга обязала, и потомъ протестуютъ, то неизвѣстно по какой причинѣ. Чтобъ же лифляндскіе законы лучше были, нежели наши будутъ, тому статься нельзя; ибо наши правила само человѣколюбіе писало, а они правилъ показывать не могутъ, и сверхъ того иныя ихъ узаконенія наполнены невѣжествами и варварствами. И такъ, предохраняя себя, торжественно они просятъ: мы хотимъ, чтобы насъ смертію казнили, мы просимъ пытокъ, мы просимъ, чтобы отъ безпрерывной ябеды наши суды никогда не были окончены; мы торжественно предохраняемъ противорѣчія и темноты нашихъ узаконеній» (т. III, стр. 388—89). Вотъ какъ высоко ставила, въ то время, Екатерина гуманныя правила своего «Наказа» и какъ презрительно относилась она къ тупому противодѣйствію злонамѣренности или невѣжества. «Кто-жъ велѣлъ вамъ—говоритъ она нѣмецкимъ «піонерамъ цивилизаціи», жадно ухватившимся за свой средневѣковой хламъ—не принимать участія въ работахъ коммиссіи и не вносить «частей себѣ приличныхъ?» Мы посмотрѣли бы, чьи проекты и мнѣнія разумнѣй и полезнѣй для общества». Она не сомнѣвается, что русскіе законы выйдутъ лучше тѣхъ, которые, въ оны дни, диктовались варварствомъ и невѣжествомъ. И нужно сказать правду:

мнѣнія въ коммиссіи подавались совершенно непринужденно, и депутаты коснулись почти всѣхъ важнѣйшихъ вопросовъ государственнаго управленія. Крѣпостное право, котораго заразительное вліяніе проникло во всѣ поры русской жизни, подвергалось осужденію въ коммиссіи, и Екатерина сочувствовала этимъ, изрѣдка вырывавшимся, справедливымъ приговорамъ. Извѣстны также ея саркастическіе отвѣты Сумарокову, вздумавшему вступиться за безчеловѣчное право. Много лѣтъ спустя, въ письмѣ, которое г. Бартеневъ относитъ къ 1775 г., Екатерина, коснувшись одного нелѣпаго сенатскаго указа, пишетъ слѣдующее:. «Я всячески различить стараюсь преступленія и наказанія, а сенатъ конфондируетъ (смѣшиваетъ) убійство съ необороной хозяина и хочетъ, чтобы смертоубійцы сравнены были съ необоронителями; но великая разница между убіеніемъ, знаніемъ о убіеніи и препятствіемъ или непрепятствіемъ убіенію. Пророчествовать можно, что если за жизнь одного помѣщика въ отвѣтъ и въ наказаніе будутъ истреблять цѣлыя деревни, то бунтъ всѣхъ крѣпостныхъ крестьянъ воспослѣдуетъ. Положеніе помѣщичьихъ крестьянъ таково критическое, что окромѣ тишиной и человѣколюбивыми учрежденіями ничѣмъ избѣгнуть не можно. Генеральнаго освобожденія несноснаго и жестокаго ига не воспослѣдуетъ, ибо, не имѣвъ обороны ни въ законахъ и нигдѣ, слѣдовательно всякая малость можетъ ихъ привести въ отчаяніе; кольми паче мстительный такой законъ, какъ сенатъ вздумалъ некстати и не къ ладу издать. Итакъ: прошу быть весьма осторожну въ подобныхъ случаяхъ, дабы не ускорить и безъ того довольно грозящую бѣду, если въ новомъ уза-

коненіи не будутъ взяты мѣры къ пресѣченію сихъ опасныхъ слѣдствій. Ибо, если мы не согласимся на уменьшеніе жестокости и умѣреніе человѣческому роду нестерпимаго положенія, то и противъ нашей воли сами оную возьмутъ рано или поздно. Ваше сіятельство (письмо адресовано къ князю Вяземскому, генералъ-прокурору сената) изъ сихъ строкъ можете сдѣлать такое употребленіе, какъ вы сами для пользы имперіи заблагоразсудите. Ибо не безнужно, чтобъ не я одна сіе только чувствовала, но и другіе оглянулись въ своихъ предубѣжденіяхъ» (т. III, стр. 390—91). Кажется, нельзя рѣшительнѣе заклеймить владѣніе живою собственностью и благоразумнѣе предвидѣть могущія произойти отъ того послѣдствія!

И все-таки крестьяне не были освобождены, и все-таки наша политическая жизнь, обновленная на короткій срокъ, повлеклась по прежнему руслу, усѣянному «подводными камнями», о которыхъ говорилъ дукъ де-Лирія. Въ концѣ царствованія Екатерины, мы видимъ ее даже въ прямой враждѣ съ принципами, выраженными въ ея собственномъ «Наказѣ.» L'égalité—говоритъ она Храповицкому—est un monstre, qui veut être roi». Но и прежде французскихъ событій, взволновавшихъ понятнымъ образомъ всѣхъ коронованныхъ особъ, мы замѣчаемъ въ Екатеринѣ какую-то странную двойственность, какую-то робость и уклончивость передъ логическими выводами изъ ея же основныхъ взглядовъ. Еще отстаивая въ теоріи свободу мысли, она выхваляетъ на практикѣ «образцовое послушаніе»; сторонница честной и откровенной политики, она нисходитъ до совѣта—

«имѣть лисій хвостъ и волчій ротъ» (т. III, стр. 597). Интересны, въ этомъ смыслѣ, ея письма къ князю Волконскому (т. I, стр. 52, 162). Тутъ выступаетъ, уже, по временамъ, дѣятельность тайной экспедиціи, и Екатерина, взволнованная какими-то сплетнями въ Москвѣ, предписываетъ Волконскому—«не пропускать вракъ безъ изслѣдованія, но какъ нынѣ на Москвѣ вранья было безъ конца и безъ счету, того для, если вы усмотрите, что врали не унимаются, прикажите враля-другаго, по изслѣдованію (черезъ тайную экспедицію) того, что врали, высѣчь плетьми публично» (стр. 63). Для допроса Наталіи Пассекъ въ 1784 году ѣдетъ въ Москву благонадежный Шешковскій и разными пытками вымучиваетъ отъ нея показаніе, что, во время московскаго мятежа въ 1771 году, Петръ Панинъ хотѣлъ возвести на престолъ Павла Петровича (стр. 81). Впослѣдствіи этотъ же Шешковскій такъ успѣшно развилъ свою инквизиціонную практику, что Потемкинъ, при встрѣчѣ съ нимъ, всегда спрашивалъ: «Каково нынче кнутобойничаешь?» и скромный инквизиторъ отвѣтствовалъ обыкновенно: «помаленьку, ваша свѣтлость!» Нѣкоторыя изъ этихъ писемъ относятся къ пугачевскому бунту, и въ нихъ замѣчательно то, что, браня на чемъ свѣтъ стоитъ «воровъ, каналій и злодѣевъ», которые надумались, наконецъ, «сами взять себѣ волю» (см. выше письмо къ князю Вяземскому), Екатерина ни однимъ словомъ не обмолвливается о фатальныхъ причинахъ, неизбѣжно повлекшихъ за собой это прискорбное явленіе. Въ перепискѣ съ французскими энциклопедистами она также говоритъ о Пугачевѣ мелькомъ, какъ о фактѣ, недостойномъ развлекать ея философское вниманіе; а по укрощеніи мятежа не

только не принимаетъ мѣръ противъ помѣщичьяго произвола, но заводитъ еще крѣпостное право въ Малороссіи. Разгадка всѣхъ этихъ уклоненій, несообразностей и грубыхъ ошибокъ едва-ли не заключается въ громадномъ, рѣзкомъ противорѣчіи между взглядами Екатерины II и ея обстановкой,—положеніемъ, которое создала для нея судьба. Трудно было ей сохранить всецѣло уваженіе къ человѣческой личности, когда ее окружала толпа низкихъ льстецовъ, нимало себя не уважавшихъ и готовыхъ «отважно жертвовать затылкомъ», чтобы только сорвать улыбку съ ея устъ. Въ одномъ письмѣ къ г-жѣ Жоффренъ (напечатанномъ въ I томѣ «Сборника Русскаго Историческаго Общества») Екатерина жалуется, что ей даже не съ кѣмъ поговорить по душѣ, такъ какъ придворные, при ея появленіи, «столбенѣютъ, какъ при видѣ медузиной головы». Одинъ только Бецкій, какъ это видно изъ другихъ писемъ, умѣлъ вести съ ней искреннюю и умную бесѣду о серьезныхъ вопросахъ, не столбенѣя передъ ней и не унижаясь до нуля. Сначала Екатерина, по ея собственному выраженію, «кричала, какъ орелъ», противъ этого обычая; но современемъ она, кажется, примирилась съ нимъ. Не мудрено было, наконецъ, потерять вкусъ къ литературѣ и наукѣ, когда въ русскомъ обществѣ процвѣтала истинно одна наука — «наука страсти нѣжной, которую воспѣлъ Назонъ». Были, правда, въ Россіи того времени поэты и ученые (поэты плодились даже въ большомъ количествѣ); но походили ли они сколько нибудь на тѣхъ европейскихъ дѣятелей литературы и науки, которые по праву внушали къ себѣ уваженіе Екатерины? Одинъ поэтъ, «потомокъ Багрима», самъ смотрѣлъ на свою поэзію,

какъ на развлеченіе, какъ «на вкусный лимонадъ лѣтомъ», и дорожилъ всего болѣе своими чиновничьими успѣхами. Другой поэтъ — и даже первый драматургъ — Сумароковъ, проживалъ въ то время въ Москвѣ, и объ немъ постоянно доходили до Екатерины самые курьезные слухи. То вдругъ слышно, что «на Москвѣ Сумароковъ чрезвычайно шалитъ и озорничаетъ, и будто на рынкѣ и близъ его дома ходитъ съ дубьемъ и разбиваетъ горшки и всякія продажныя вещи». Въ другой разъ онъ отличается еще лучше. «Пришедъ ко мнѣ—пишетъ его встревоженная мать къ императрицѣ—отъ злобы совсѣмъ изступившій, началъ онъ въ глаза меня такими непристойными и поносительными злорѣчить словами, которыхъ я теперь уже и вспомнить не могу, крича и угрожая неоднократно изъ дому меня выгнать вонъ, называя его своимъ, потому что оный между нами еще не раздѣленъ, отъ котораго страху бывшіе у меня тогда гости, тотчасъ разъѣхались; а я принуждена была, съ дочерьми моими ушедъ, запереться въ особливую палату. А напослѣдокъ, выбѣжавъ на дворъ и вынявъ шпагу, неоднократно къ людямъ моимъ прибѣгалъ, хотя ихъ приколоть... Оное же его бѣшенство и озорничество нѣсколько часовъ продолжалося, такъ что находящійся подлѣ моего дома переулокъ весь смотрителями на такое ужасное и необыкновенное позорище наполнился» (т. I, стр. 61). Появился въ концѣ царствованія Екатерины политически-развитый и глубоко-убѣжденный писатель, но его «Путешествіе изъ Петербурга въ Москву» попалось на глаза императрицѣ уже въ тѣ минуты, когда она опасалась «французской заразы» и съ испугу чаяла у себя дома революціи. Впрочемъ Радищевъ стоялъ

такъ одиноко въ русскомъ обществѣ, что объ его ссылкѣ сожалѣли немногіе, а Державинъ даже сочинилъ такой куплетецъ:

> Ѣзда твоя въ Москву со истиною сходна,
> Не кстати лишь дерзка, смѣла и сумасбродна,
> Я слышу, на коней ямщикъ кричитъ: вирь-вирь!
> Знать, русскій Мирабо, поѣхалъ ты въ Сибирь.

Политическія реформы Екатерины тормозились противъ ея воли въ значительной степени. Она сочувствовала народу, который расплачивался и своими боками, и своею сумою (ибо денежнаго кошелька не было) за такое положеніе дѣлъ, желала бы она въ душѣ помочь угнетеннымъ, но между ею и народомъ создалась вѣками цѣлая непроницаемая стѣна. Если ужь Сумароковъ, одинъ изъ представителей русской интеллигенціи,—какова бы она тамъ ни была—съ благороднымъ дерзновеніемъ защищалъ крѣпостное право, то можно представить себѣ, какъ взирало на этотъ предметъ большинство русскихъ помѣщиковъ. Всѣ эти обстоятельства служатъ если не къ оправданію, то, по крайней мѣрѣ, къ объясненію той нерѣшительности и непослѣдовательности, какая обнаруживается въ политической программѣ Екатерины; но ея заслуга—изданіе «Наказа»—принадлежитъ лично ей, и немногіе русскіе въ состояніи были, какъ слѣдуетъ, понимать смыслъ этого великаго законодательнаго акта. Изданіе «Наказа» можно назвать самымъ крупнымъ и утѣшительнымъ фактомъ въ русской исторіи XVIII вѣка.

НАШИ КЛАССИКИ ВЪ ХАРАКТЕРИСТИКАХЪ Г. ГАЛАХОВА.

(Исторія русской словесности древней и новой. Сочиненіе А. Галахова. Т. II. (первая половина). С.-Петербургъ, 1868 г.)

I.

Мы живемъ въ такое счастливое время, когда писать исторію литературы, «преимущественно русской,» почитается многими дѣломъ до-нельзя простымъ и доступнымъ даже для едва грамотнаго человѣка, а составленіе учебниковъ по этому предмету кажется настолько соблазнительнымъ для предпріимчивыхъ педагоговъ, что не проходитъ и одного года безъ того, чтобы книжныя лавки не обогатились какимъ нибудь новымъ издѣліемъ по этой части. Да и какъ не соблазниться, въ самомъ дѣлѣ, завлекательной легкостью труда, въ особенности при томъ условіи, что наскоро состряпанной книжкѣ предстоитъ нерѣдко отличный сбытъ по всѣмъ учебнымъ заведеніямъ нашего пространнаго отечества? Отдѣльныя статьи историко-литературнаго содержанія (хотя бы онѣ принадлежали самому бездарному перу) все еще требуютъ нѣкотораго самостоятельнаго изученія избранной авторомъ эпохи, нѣкоторой критической сноровки въ опредѣленіи свойствъ того или другаго литературнаго таланта; учебники же, по общепринятому обычаю, пользуются не только готовыми фактами, которые нужно лишь связать грамматическими періодами, но даже и готовыми фразами,

[illegible] всегда отчеканенными по казенному образцу. [illegible] что еще въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, слѣ- [illegible] въ періодъ паденія Зеленецкаго и временнаго [illegible] прогрессивныхъ идей, появились у насъ послѣдо- [illegible] за другимъ, и вдобавокъ одинъ хуже дру- [illegible] учебныхъ курса русской литературы,—гг. Петра- [illegible] и Петрова, — изъ которыхъ послѣдній учеб- [illegible] къ удивленію нашему, четвертаго или пя- [illegible] чарно расходясь по рукамъ нашей учащейся [illegible] Съ тѣхъ поръ, къ ихъ числу присоединились [illegible] уступающія имъ по достоинству, издѣлія Кирпич- [illegible] Тимофеева, Буракова e tutti quanti, и усердные [illegible] конечно, вправѣ надѣяться, что судьба улыб- [illegible] такъ же, какъ улыбалась уже она ихъ достой- [illegible] предшественникамъ.—Этотъ печальный наплывъ и еще [illegible] печальный успѣхъ дешевыхъ компиляцій доказываютъ [illegible] что если появленіе подобныхъ книгъ строго осуждает- [illegible] въ сознаніи развитой части русскаго общества — [illegible] немногочисленныхъ кружкахъ его, для которыхъ [illegible] безслѣдно дѣятельность лучшихъ нашихъ кри- [illegible] то, съ другой стороны, у насъ существуютъ [illegible] держатся причины, дозволяющія смотрѣть на исто- [illegible] литературы, какъ на случайный и безцѣльный сбродъ [illegible] именъ, цифръ и названій литературныхъ произве- [illegible] Можно сказать даже больше: ко нѣкоторымъ призна- [illegible] все рѣзче и рѣзче обнаруживающимся въ нашемъ [illegible] мірѣ, позволительно думать, что въ то время, [illegible] въ печати будутъ вырабатываться новые, болѣе зрѣ- [illegible] и правильные взгляды на исторію литературы, какъ

науку и какъ предметъ школьнаго обученія,—въ педагогической сферѣ движеніе пойдетъ совершенно противоположнымъ путемъ, и не впередъ, а назадъ, къ допотопнымъ формаціямъ Зеленецкаго, Греча и Кошанскаго. На эту мысль наводятъ насъ, по крайней мѣрѣ, послѣднія программы гимназій министерства народнаго просвѣщенія, въ которыхъ, рядомъ съ торжествомъ классицизма и языкоученія съ его внѣшней, формально-грамматической стороны, идетъ поразительное оскудѣніе въ количествѣ и качествѣ собственно литературныхъ произведеній, обязательно разбираемыхъ преподавателемъ въ классѣ. Замѣчается желаніе—ограничить курсъ литературы однимъ знакомствомъ съ фабулой художественнаго произведенія и, пожалуй, съ такъ-называемыми «эстетическими красотами» его, отбросить въ сторону общественный смыслъ разбираемаго сочиненія, ту неразрывную историческую связь, которая соединяетъ его съ умственной жизнью извѣстной эпохи, съ идеалами и стремленіями нашихъ предковъ, наконецъ — стѣснить, почти выбросить совсѣмъ оцѣнку сатирическихъ произведеній, при которой невозможно было бы преподавателю удержаться на своихъ эстетическихъ ходуляхъ, но пришлось бы спуститься въ самый центръ описываемой жизни и войти въ разбирательство различныхъ умственныхъ направленій и житейскихъ событій. А этого-то именно и не нужно; это-то и составляетъ запретный плодъ, ведущій прямо, по мнѣнію опытныхъ людей, къ педагогическому грѣхопаденію. «Къ чему—говорятъ эти опытные люди — вносить страстность и раздраженіе въ незлобивое сердце юношей? Зачѣмъ поднимать въ ихъ умѣ тревожные вопросы, на которые ихъ легко можетъ

натолкнуть излишняя словоохотливость учителя?» Опытнымъ людямъ, повидимому, не приходитъ въ голову, что умственная работа начинается въ ученикахъ не потому только, что этого хочется или не хочется учителю, не потому, что это нравится или не нравится начальству, но въ силу другихъ, болѣе существенныхъ законовъ человѣческой природы, и что вѣрнѣйшее средство отдѣлаться отъ всѣхъ мучительныхъ вопросовъ — это пойти имъ на встрѣчу, овладѣть ими при помощи знанія и трезвой мысли. Если школа не захочетъ помочь своему ученику въ его трудной психической работѣ, то послѣдній найдетъ, конечно, возможность удовлетворить иначе своимъ естественнымъ стремленіямъ; но обманутый или грубо оттолкнутый своими наставниками, онъ уже непремѣнно потеряетъ къ нимъ все прежнее довѣріе и уваженіе. Славный результатъ для послѣдователей теоріи: tant pis, tant mieux, къ которымъ, впрочемъ, опытные люди едва ли причисляютъ себя! При такомъ мнимо-безстрастномъ и мнимо-объективномъ направленіи (подъ этой кажущейся безстрастностью и объективностью скрываются, въ сущности, самыя пылкія вожделѣнія и самая злокачественная тенденціозность, направленныя къ охранѣ всего отжившаго и гнилаго), при такомъ ясномъ и нимало не скрываемомъ желаніи парализировать всякую живую струю въ учебномъ дѣлѣ, обративъ его, по прежнему, въ сухую, ни къ чему не ведущую схоластику,—взгляды Бѣлинскаго на цѣль и значеніе исторіи литературы, а также и его талантливыя, меткія характеристики русскихъ писателей, стали казаться подозрительными и вольнодумными въ глазахъ черезчуръ ревностныхъ блюстителей критическаго благочинія и бла-

гоустройства. Къ сожалѣнію, эти ревнители получили сильную поддержку, на которую, въ началѣ 60-хъ годовъ, они никакъ не могли бы разсчитывать. На помощь имъ пришелъ ученый комитетъ министерства народнаго просвѣщенія, который, въ одномъ своемъ отзывѣ, по поводу втораго изданія христоматіи г. Филонова, положилъ слѣдующую, весьма любопытную и заслуживающую особеннаго вниманія, резолюцію. «Такъ какъ—пишетъ неизвѣстный рецензентъ—при второмъ изданіи составитель (то есть составитель христоматіи, г. Филоновъ) сдѣлалъ нѣкоторыя перемѣны въ пользу внутренняго достоинства своей книги, то мы считаемъ обязанностью указать: въ чемъ именно заключается произведенное имъ улучшеніе. Учебникъ, главнѣйшимъ образомъ, улучшается очищеніемъ его отъ яркихъ педагогическихъ недосмотровъ. Г. Филоновъ, не оставивъ безъ вниманія высказанныхъ ему замѣчаній, исключилъ изъ своей книги многое, что могло только запутывать и учителя, и учащихся... Остались только (какъ жаль!!) слова Бѣлинскаго о трагическомъ и слова Арбузова о значеніи хоровъ греческой трагедіи, выписанныя изъ его стихотвореній 1856 г. Г. Филоновъ поступилъ бы еще лучше, еслибы сужденія этихъ лицъ замѣнилъ сужденіями другихъ авторитетовъ менѣе сомнительнаго качества... Не встрѣчается больше толкованіе миѳа о Прометеѣ, находившееся въ 3-мъ томѣ, выписанное изъ сочиненій Бѣлинскаго. Но, къ сожалѣнію, въ темахъ все-таки осталась задача: «показать заслуги Прометея». (Замѣтимъ въ скобкахъ, что эта тема совершенно необходима, если

только учитель прочиталъ въ классѣ тотъ отрывокъ, къ которому она относится. Прометей самъ говоритъ о своихъ заслугахъ человѣчеству; слѣдовательно, не разъяснить ихъ и было бы, дѣйствительно, «яркимъ педагогическимъ недосмотромъ»). «Какимъ образомъ—гнѣвно вопрошаетъ рецензентъ — и въ какомъ классѣ гимназіи будутъ рѣшать эту тему ученики? (Какимъ образомъ? объ этомъ могъ бы догадаться самъ рецензентъ, прочтя «Прикованнаго Прометея», а въ какомъ классѣ?—это вопросъ, не стоющій отвѣта, такъ какъ рецензенту, безъ сомнѣнія, извѣстно: въ какихъ именно классахъ гимназіи проходятся теорія и исторія словесности.) За то другихъ темъ, столь же трудныхъ или, по крайней мѣрѣ, странныхъ, находившихся въ прежнемъ изданіи: — напримѣръ, характеръ дѣятельности «знаменитаго критика Бѣлинскаго» на основаніи стихотворенія Некрасова «Памяти пріятеля», характеристика капрала на основаніи пѣсни Беранже — въ новомъ изданіи нѣтъ, и прекрасно». (См. «Сборникъ мнѣній ученаго комитета министерства народнаго просвѣщенія объ учебныхъ руководствахъ и пособіяхъ, одобренныхъ для гимназій». Спб. 1869 г.)

Читатель, вѣроятно, согласится съ нами, что эта резолюція сама заслуживаетъ быть помѣщенною въ какой нибудь христоматіи, какъ образчикъ педагогическихъ взглядовъ нашего времени... Читая ее, не знаешь, чему болѣе удивляться:—благодушной ли уступчивости г. Филонова, готоваго выбросить лучшія страницы изъ своей книги «въ пользу внутренняго ея достоинства», или неумытной строгости ученаго комитета, который ставитъ на одну доску

Бѣлинскаго и Арбузова (ужь не тотъ ли это г. Арбузовъ, который прославился на мировомъ судѣ изобрѣтеніемъ новой клички энгелиста?), для котораго авторитетъ Бѣлинскаго есть «авторитетъ сомнительнаго качества», и который, хладнокровною рукою, вычеркиваетъ изъ книги всякое упоминаніе этого неприличнаго имени? Мы не станемъ, конечно, оскорблять неумѣстной защитой великую тѣнь геніальнаго критика, достаточно вынесшаго въ своей жизни, достаточно перестрадавшаго въ душѣ за всю тупость и косность современнаго ему поколѣнія. Мы не намѣрены также разъяснять, по этому поводу, огромныхъ заслугъ писателя, создавшаго въ Россіи истинно-европейскую, раціональную критику и публицистику, оцѣнившаго впервые, но съ поразительной вѣрностью, таланты: Пушкина, Гоголя, Кольцова, Лермонтова, Герцена, Гончарова, Тургенева, Достоевскаго и др. Тѣмъ не менѣе, мы дали себѣ трудъ заглянуть въ адресъ-календарь, чтобы узнать съ точностью: какіе-такіе Лессинги засѣдаютъ въ этомъ комитетѣ, что для нихъ даже и Бѣлинскій (какъ Наполеонъ для расходившагося прапорщика въ извѣстномъ стихотвореніи Давыдова) есть нѣчто «въ родѣ бородавки». По справкѣ оказалось *), что ученый комитетъ министерства народнаго просвѣщенія состоитъ, подъ предсѣдательствомъ г. Фойгта, изъ гг. членовъ: Благовѣщенскаго, Штейнмана, Чебышева, Ходнева, Георгіевскаго, Весселя—и Галахова, къ которымъ поступаютъ на разсмотрѣніе всѣ учебныя книги и руководства, предназначаемыя для класснаго употребленія въ низшихъ и

*) Статья писана въ 1870 г.

среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Кому изъ гг. членовъ принадлежитъ цитированный нами отзывъ—на это нѣтъ указаній въ печатномъ сборникѣ ихъ мнѣній; но, во всякомъ случаѣ, его невозможно приписывать ни гг. Штейнману и Благовѣщенскому — спеціалистамъ по древнимъ литературамъ, ни г. Чебышеву — математику, ни г. Ходневу — химику. Затѣмъ остаются гг. Георгіевскій, Вессель и Галаховъ, изъ которыхъ первый написалъ, кажется, магистерскую диссертацію по предмету политической исторіи, второй извѣстенъ своимъ быстрымъ перерожденіемъ изъ педагога-реалиста въ педагога-классика и, вѣроятно, является судьею по вопросамъ педагогики и дидактики; слѣдовательно, христоматіи, служащія пособіемъ къ изученію теоріи и исторіи словесности, должны находиться въ исключительномъ вѣдѣніи г. Галахова, какъ единственнаго лица въ комитетѣ, пріобрѣвшаго извѣстность именно по этимъ отраслямъ знанія. Впрочемъ, предоставляемъ самому г. Галахову категорически опровергнуть или подтвердить наши предположенія. Если же такого отвѣта не воспослѣдуетъ, то, по пословицѣ: «молчаніе есть знакъ согласія», г. Галаховъ долженъ считаться отнынѣ творцомъ приведеннаго отзыва.—Какъ бы то ни было, но и ученый комитетъ, выпустившій подъ своимъ именемъ и на своей нравственной отвѣтственности такую странную резолюцію, дѣлается поневолѣ солидарнымъ съ ней, и мы, на основаніи одного этого факта (другихъ фактовъ мы покуда не приводимъ), можемъ уже составить себѣ понятіе о характерѣ вліянія, какое оказываетъ почтенный трибуналъ на нашу учебную литературу послѣдняго времени. Не только Бѣлин-

скій трактуется имъ съ полнѣйшимъ пренебреженіемъ, предъ его судомъ заподозрѣнъ въ неблагонамѣренности даже классикъ Эсхилъ, котораго «Прометей» можетъ внушить вольнодумныя мысли юношеству, побудить къ неповиновенію и къ открытому бунту противъ властей предержащихъ. Въ самомъ дѣлѣ — наглый буянъ враждуетъ съ Юпитеромъ, который составляетъ для него, такъ сказать, ближайшее и непосредственное начальство; прикованный къ скалѣ за свою строптивость (въ педагогикѣ эта мѣра соотвѣтствуетъ тѣлесному наказанію или «энергическимъ мотивамъ жизни» г. Юркевича), онъ все-таки не унимается, но гремитъ своими цѣпями и посылаетъ проклятія къ небу; наконецъ, непослушаніе этого тѣлесно-наказаннаго буяна соблазняетъ даже скромныхъ океанидъ, получившихъ образованіе въ строгомъ интернатѣ, на самомъ днѣ моря. Что̀ тутъ хорошаго съ точки зрѣнія людей, смотрящихъ на литературу, какъ на обширную управу благочинія, гдѣ не должно быть мѣста никакимъ нарушеніямъ разъ заведеннаго порядка, гдѣ добродѣтель должна торжествовать, а порокъ предаваться унынію? Если ужь гоголевскій генералъ, въ «Театральномъ Разъѣздѣ», утверждалъ не безъ основанія, что юный канцеляристъ, побывавшій въ театрѣ на «Ревизорѣ», на другой же день сгрубитъ своему столоначальнику, то кольми паче подобный результатъ можетъ получиться вслѣдствіе прилежнаго чтенія мальчиками «Прикованнаго Прометея». Прилично ли говорить о «заслугахъ Прометея», когда, наоборотъ, слѣдуетъ указать и осудить его порочную гордыню? «Старый капралъ» Беранже, отвѣтившій офицеру оскорбленіемъ на оскорбленіе, также, и по тѣмъ же причинамъ, не годится въ руководи-

тели юношамъ. Идя дальше по этому пути и возлагая на прокрустово ложе всѣхъ лучшихъ русскихъ и иностранныхъ писателей, мы дойдемъ, наконецъ, до того, что единственнымъ безспорнымъ матеріаломъ для помѣщенія въ христоматіи—явятся, въ нашихъ глазахъ, нравственныя вирши Бориса Ѳедорова и нравственныя повѣствованія г-жи Зонтагъ. Ни Гоголю, мастерски изображавшему, по его словамъ, «все бѣдность да бѣдность, да несовершенства человѣческой жизни», ни Грибоѣдову и Лермонтову, отрицавшимъ еще прямѣе и рѣзче господствовавшій строй вещей и понятій, не найдется мѣста даже на оберткѣ образцовой христоматіи... Мудрено ли, послѣ этого, что составители новѣйшихъ учебниковъ по исторіи литературы просто не знаютъ, какъ имъ быть съ нашими писателями, начиная съ Пушкина. До Пушкина еще туда-сюда, и дѣло идетъ у нихъ какъ по маслу: за «Россіаду» Хераскова уже никто нынѣ не ломаетъ копій; «уязвленіе» Державина не грозитъ серьезной опасностью; въ разборѣ одъ Ломоносова почти невозможно обмолвиться какимъ-нибудь неосторожнымъ словомъ. Но Пушкинъ, Грибоѣдовъ, даже отчасти Карамзинъ, составляютъ западню, въ которую уловляются неопытные умы; говоря о нихъ, придется волей-неволей коснуться такихъ вещей, которыя и теперь не утратили своей пикантности, и теперь продолжаютъ волновать и ссорить наши микроскопическія общественныя партіи. Попробуй-ка тутъ сказать что-нибудь лишнее или произвести фигуру умолчанія тамъ, гдѣ этого не полагается! И вотъ, во избѣжаніе бѣды, г. Кирпичниковъ доводитъ исторію литературы только до Пушкина, а чтобы пробѣлъ этотъ не показался стран-

нымъ, то заявляетъ въ своемъ предисловіи: «Въ настоящее время взглядъ на этихъ (то-есть на новыхъ) писателей еще не установился или, лучше сказать, существуетъ нѣсколько самыхъ разнородныхъ взглядовъ, а учебникъ никогда не долженъ обращаться въ полемическую статью. Кромѣ того, ходъ идей новаго времени, по самой его близости къ намъ, неясенъ, и вмѣсто исторіи литературы здѣсь можетъ существовать только критика. Имѣя въ виду составить учебникъ, мы исключили изъ нашей книги все сомнительное, неясное, всѣ предположенія и мнѣнія, и оставили только факты».

Едва-ли возможно выразить яснѣе и наивнѣе ту панику, которая обуяла гг. преподавателей по отношенію къ литературнымъ вопросамъ сколько-нибудь живаго и реальнаго характера. Факты и факты изъ жизни писателя (родился, молъ, тамъ-то, умеръ тогда-то, написалъ то-то)—вотъ надежная броня, могущая пріукрыть душу преподавателя отъ всякаго проницательнаго усмотрѣнія; прочь мнѣнія, предположенія, критическія попытки: они не доведутъ до добра. Нѣтъ спора, что, при подобныхъ обстоятельствахъ, трудъ составленія учебника чрезвычайно сокращается, ибо не идетъ далѣе «царя Гороха», но есть основаніе думать, что у насъ не совсѣмъ еще перевелись люди, для которыхъ это насильственное самовоздержаніе и самоограниченіе тяжелѣе и противнѣе самаго обременительнаго труда... Невыгодныя условія отразились и на послѣднемъ сочиненіи г. Стоюнина: «Руководство для историческаго изученія замѣчательнѣйшихъ произведеній русской литературы», въ которомъ авторъ, по какимъ-то особеннымъ соображеніямъ, остановился на Жуков-

скомъ, а біографическія (замѣтьте: только біографическія) свѣдѣнія о Пушкинѣ, Грибоѣдовѣ, Гоголѣ, Лермонтовѣ и Кольцовѣ перенесъ въ курсъ теоріи словесности. «Лучшія произведенія писателей новѣйшаго періода — говоритъ г. Стоюнинъ въ своемъ объясненіи—не вошли сюда, такъ-какъ они изучаются въ теоретическомъ курсѣ, и малое время, назначенное въ учебныхъ заведеніяхъ для изученія литературы, не позволяетъ внести ихъ также въ курсъ историческій». Но,—можно возразить на это,—въ теоретическомъ же курсѣ приходится знакомить съ лѣтописью, съ духовною проповѣдью, съ историческими записками современниковъ, и преподаватель имѣетъ полное право разобрать съ этою цѣлью лѣтопись Нестора, какую-нибудь проповѣдь Серапіона и «Исторію великаго князя московскаго», написанную Курбскимъ:— почему бы, въ такомъ случаѣ, не отнести въ теоретическій курсъ «біографическія свѣдѣнія» о Несторѣ, Серапіонѣ и кн. Курбскомъ? Между тѣмъ г. Стоюнинъ не дѣлаетъ этого, не исключаетъ названныхъ лицъ изъ исторіи литературы, но, напротивъ, отводитъ въ ней почетное мѣсто на ряду съ Кириломъ Туровскимъ, Аѳанасіемъ Никитинымъ, Максимомъ Грекомъ и другими подвижниками нашей древней, полудуховной или совсѣмъ духовной литературы. За что жь такая немилость постигла именно «новѣйшихъ писателей»? при чемъ можно еще спросить: справедливо ли Пушкина, Грибоѣдова и др. называть новѣйшими писателями, когда со смерти ихъ прошелъ уже не одинъ десятокъ лѣтъ?! Какъ же назвать, наконецъ, Тургенева, Островскаго, Гончарова?—этихъ, дѣйствительно, новѣйшихъ писателей, которыхъ произведенія также вошли во всѣ возможныя христоматіи и, до новаго распоряженія, еще

не выброшены оттуда, хотя, быть можетъ, и имъ, вслѣдъ за Бѣлинскимъ, угрожаетъ тотъ же педагогическій остракизмъ. Очевидно, что у г. Стоюнина были какія-то другія, болѣе сильныя причины, побудившія его урѣзать, безъ существенной надобности, свой историческій курсъ. Догадка наша подтверждается еще тѣмъ обстоятельствомъ, что г. Стоюнинъ не удовлетворяется въ теоретическомъ курсѣ одними біографическими свѣдѣніями о новыхъ писателяхъ, но пробуетъ изрѣдка оттѣнить и извѣстныя стороны ихъ таланта. Конечно, онъ дѣлаетъ это слегка, какъ бы урывками, пріурочивая критическую оцѣнку къ различнымъ моментамъ въ жизни писателя (напримѣръ, на стран. 155, 170, 171 и др.), но такой пріемъ или, лучше сказать, такая наклонность автора показываетъ, что ему гораздо болѣе была бы по душѣ прямая и откровенная постановка вопроса объ историческомъ значеніи литературныхъ дѣятелей. Должно прибавить, что, судя по нѣкоторымъ частямъ его труда, г. Стоюнинъ могъ бы выполнить съ тактомъ и умѣньемъ подобную задачу, почему и самый учебникъ только выигралъ бы въ полнотѣ и законченности.

Что же касается до «малаго времени, назначеннаго для изученія литературы въ учебныхъ заведеніяхъ» — то здѣсь г. Стоюнинъ совершенно правъ и можетъ сослаться, въ подтвержденіе своихъ словъ, на любую учебную программу за послѣдніе годы. Бо́льшая часть времени въ гимназіяхъ поглощается, дѣйствительно, классическими языками, и мы надѣемся, что недалеко уже отстоитъ у насъ та радостная минута, когда о каждомъ россійскомъ гимназистѣ можно будетъ выразиться стихами Батюшкова:

Подъ сѣвернымъ родился небомъ,
Но будто въ Аттикѣ рожденъ.

Эллада и Римъ такъ сильно заняли насъ, что намъ некогда думать о дикой Скиѳіи, которая, мимоходомъ сказать, отъ такого пренебреженія можетъ одичать еще больше.

II.

По всѣмъ этимъ даннымъ, нельзя не признать, что новый трудъ г. Галахова появляется какъ нельзя болѣе своевременно и заслуживаетъ внимательнаго и отчетливаго разбора. Къ сожалѣнію, хотя этого труда вышелъ уже второй томъ, но и первый томъ его, изданный въ 1863 году, не вызвалъ, сколько помнится, ни одной обстоятельной критики; замѣчанія ограничивались стереотипными похвалами трудолюбію г. Галахова, да кое-какими второстепенными указаніями чисто библіографическаго свойства. Теперь интересъ труда г. Галахова еще болѣе увеличился, такъ какъ въ промежутокъ времени отъ 1863 г. до нашихъ дней произошло много важныхъ перемѣнъ и во взглядахъ литературы на этотъ предметъ, и въ настроеніи учебной администраціи. При изданіи перваго тома своей исторіи словесности, авторъ предназначалъ ее для класснаго употребленія въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ и съ этою цѣлью ввелъ въ нее два шрифта, крупный и мелкій, печатая первымъ существенныя части учебнаго курса, а вторымъ—менѣе значительныя подробности, которыя могутъ быть опускаемы по

соображенію учителя. Исторію словесности г. Галаховъ опредѣлялъ самымъ широкимъ образомъ, какъ изложеніе постепеннаго развитія литературы отъ ея начала до настоящаго времени въ связи съ общественною жизнью. «Словесность—говорилъ онъ—принимаемая въ значеніи литературы, обнимаетъ всѣ словесныя произведенія, изображающія жизнь и характеръ народа. Такъ какъ это изображеніе преимущественно является въ краснорѣчіи и поэзіи, то исторія краснорѣчія и поэзіи занимаетъ главнѣйшее, но не единственное мѣсто въ исторіи литературы. Всѣ другія сочиненія, несмотря на то, что въ нихъ преобладаютъ или научныя, или практическія цѣли, также разсматриваются исторіею литературы по отношенію ихъ къ народной жизни и народному характеру, или по вліянію на развитіе краснорѣчія и поэзіи, или по изящной формѣ, въ которую облечено ихъ содержаніе. Такимъ образомъ, объемъ литературы есть объемъ всѣхъ отраслей духовной дѣятельности, выражаемыхъ словомъ... Литература состоитъ въ тѣсной связи съ жизнью народа, какъ внѣшнею, такъ и внутреннею. Въ ней выражаются и факты общественнаго быта, и сознаніе этихъ фактовъ... Отношеніе литературныхъ произведеній къ общественной жизни двоякаго рода: въ однихъ видно прямое выраженіе дѣйствительности съ ея мѣстными и временными отличіями; въ другихъ раскрывается духовное настроеніе эпохи, идеи и потребности общества, общественное сознаніе, хотя при этомъ можетъ и не быть прямаго указанія на дѣйствительность, вѣрнаго воспроизведенія событій и характеровъ. Исторія литературы обязана разъяснить оба отноше-

нія. Чѣмъ сильнѣе въ словесномъ произведеніи выразилось направленіе жизни, чѣмъ яснѣе въ немъ раскрылась какая нибудь сторона народнаго духа, тѣмъ оно значительнѣе. Важность его, въ этомъ смыслѣ, опредѣляется не столько литературнымъ достоинствомъ, сколько степенью отношенія къ общественной жизни». Чтобы не оставить никакого недоразумѣнія насчетъ смысла употребляемыхъ имъ словъ: «общество» и «общественная жизнь», г. Галаховъ присовокупилъ особое примѣчаніе, въ которомъ говоритъ, что общество состоитъ изъ разнообразныхъ круговъ большаго или меньшаго объема, и словесное выраженіе духа каждаго изъ нихъ принадлежитъ къ литературѣ,—«потому что дѣло здѣсь не въ величинѣ круга, а въ томъ, что этотъ кругъ дѣйствительно существуетъ и что онъ своимъ появленіемъ и бытіемъ обязанъ историческому развитію». «Авторъ по своему образованію — продолжаетъ развивать эту мысль г. Галаховъ — можетъ принадлежать къ лучшей, избранной части общества; можетъ и возвышаться надъ цѣлымъ обществомъ, сознавая такія потребности жизни, которыя другимъ не являются даже въ видѣ темныхъ предчувствій. Если онъ въ твореніяхъ своихъ представитъ образъ этого избраннаго, хотя и малочисленнаго общества, или изобразитъ свои идеальныя стремленія, то его творенія займутъ законное мѣсто въ литературѣ, какъ выраженіе того, что̀ въ большей или меньшей степени выработалось развитіемъ гражданственности, ходомъ исторіи» (Т. I, стр. 1—2). Придавая такое огромное значеніе развитію общественныхъ понятій и выработкѣ

общественныхъ идеаловъ, начиная съ ихъ первой ячейки, то-есть съ зарожденія ихъ въ сознаніи избраннаго, интеллигентнаго кружка или даже въ смѣломъ, далеко опережающемъ толпу, порывѣ мыслящей единицы,—авторъ естественно долженъ былъ обратить особенное вниманіе на цивилизующую силу литературы, на тѣ ея стороны, которыми она соприкасается ближайшимъ образомъ и съ умственной жизнью цѣлой эпохи, и съ исторически-сложившимся общественнымъ бытомъ извѣстнаго народа. «Согласно двумъ сторонамъ словесныхъ произведеній—извѣщалъ насъ г. Галаховъ еще въ своемъ «предисловіи»—послѣднія разсматриваются мною съ двухъ точекъ зрѣнія: исторической и литературной. Читатель увидитъ, что книга моя даетъ перевѣсъ первой точкѣ зрѣнія, особенно въ новомъ періодѣ словесности, которымъ я больше занимался. Критика историческая, опредѣляющая дѣятельность автора по ея отношенію ко времени, въ которое она имѣла мѣсто, гораздо любопытнѣе и плодотворнѣе. Главное ея вниманіе обращено на взаимодѣйствіе литературы и современной эпохи: она показываетъ—какъ эта эпоха отражается въ литературѣ, и какъ литература, въ свою очередь, дѣйствуетъ на понятія эпохи. Въ словесныхъ произведеніяхъ она по преимуществу цѣнитъ ихъ образовательную силу, тѣ понятія и убѣжденія, которыя были ими вносимы въ оборотъ жизни, и посредствомъ которыхъ возвышался умственный уровень общества. Авторское достоинство измѣряетъ она не одною степенью литературнаго искусства, но качествомъ образа мыслей, который сообщаетъ сочиненіямъ извѣстное направленіе. Она требуетъ, чтобы явленія слова, удовлетво-

ряя эстетическому чувству, въ то же время содѣйствовали распространенію идей истины и правды, чтобы художественная форма соединялась въ нихъ съ просвѣтительнымъ содержаніемъ. На основаніи этого я далъ больше простора изложенію отечественной литературы двухъ послѣднихъ столѣтій: въ это время виднѣе, чѣмъ когда-либо, она была орудіемъ культуры, усвоивая и передавая русскому обществу начала западно-европейской цивилизаціи». Нельзя не согласиться съ справедливостью этихъ взглядовъ, высказанныхъ г. Галаховымъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ: съ научной точки зрѣнія противъ нихъ едва-ли что можно возразить, и еслибы покойный Бѣлинскій, столь гонимый нынѣ ученымъ комитетомъ министерства народнаго просвѣщенія, возсталъ какимъ-нибудь чудомъ изъ своей страдальческой могилы, онъ навѣрно утѣшился бы тѣмъ, что его дѣятельность полезно повліяла на современныхъ писателей и установила надолго надлежащій отправной пунктъ въ литературной критикѣ. Онъ ли не преслѣдовалъ, всю свою жизнь, тѣхъ бездарныхъ риторовъ, которые обратили поэзію, по выраженію Веневитинова, въ «орудіе умственнаго безсилія»; онъ ли не хлопоталъ о томъ, чтобы русская публика перестала видѣть въ поэтическомъ одушевленіи какое-то «нравственное опьяненіе, какъ бы отъ пріема опіума или дѣйствія виннаго хмѣля, изступленіе чувствъ, горячку страсти, которыя заставляютъ непризваннаго поэта изображать предметы въ какомъ-то безумномъ круженіи, выражаться дикими, натянутыми фразами» и пр. (см. Сочиненія Бѣлинскаго, т. IV, стр. 249); не онъ ли же представилъ первый опытъ критической исторіи русской

литературы (см. въ VIII томѣ разборъ сочиненій Пушкина), гдѣ достоинство писателей опредѣляется именно суммою полезныхъ идей, внесенныхъ ими въ общественное обращеніе? «Неистощимость и разнообразіе всякой поэзіи—поучалъ Бѣлинскій въ 1840 г.—зависятъ отъ объема ея содержанія, и чѣмъ глубже, шире, универсальнѣе идеи, одушевляющія поэта и составляющія паѳосъ его жизни, тѣмъ, естественно, разнообразнѣе и многочисленнѣе его произведенія: тучная, богатая растительными силами почва не истощается одною богатою жатвою, а сухая и песчаная не дастъ и одной порядочной жатвы.» «Чѣмъ выше поэтъ—говорилъ онъ въ томъ же году, опредѣляя отношеніе литературы къ общественной жизни—тѣмъ больше принадлежитъ онъ обществу, среди котораго родился, тѣмъ яснѣе связано развитіе, направленіе и даже характеръ его таланта съ историческимъ развитіемъ общества... Литература есть сознаніе народа: въ ней, какъ въ зеркалѣ, отражается его духъ и жизнь; въ ней, какъ въ фокусѣ, видно назначеніе народа, мѣсто, занимаемое имъ въ великомъ семействѣ человѣческаго рода, моментъ всемірно-историческаго развитія человѣческаго духа, который онъ выражаетъ своимъ существованіемъ. Источникомъ литературы народа можетъ быть не какое-нибудь внѣшнее побужденіе или внѣшній толчокъ, но только міросозерцаніе народа... Міросозерцаніе есть источникъ и основа литературы; это фонъ, на которомъ рисуются ея картины, канва, по которой вышиваются ея узоры» (т. VIII, стр. 15; т. IV, стр. 206 и 281). Эти мысли, заимствованныя нами съ первыхъ раскрывшихся страницъ сочиненій Бѣлинскаго, развивались имъ

послѣдовательно со времени переѣзда въ Петербургъ, и если знаменитый критикъ соблазнялся иногда эстетическою внѣшностью, забывая или снисходительно прощая, ради ея, скудость внутренняго содержанія, то эти промахи показываютъ только, что и онъ былъ сыномъ своего времени и не могъ отрѣшиться вполнѣ отъ узкихъ эстетическихъ традицій тогдашняго образованнаго общества. Но чѣмъ дальше, тѣмъ больше укрѣплялся Бѣлинскій въ своемъ реалистическомъ взглядѣ на литературу, и въ статьяхъ, написанныхъ имъ въ послѣдніе годы его жизни, не встрѣчается уже никакихъ намѣренныхъ или ненамѣренныхъ уступокъ господствовавшимъ предразсудкамъ. Внутренній смыслъ художественнаго произведенія, міросозерцаніе автора, идеи, на которыя наводитъ подборъ поэтическихъ картинъ—вотъ на что устремилась, въ этотъ періодъ, критическая проницательность Бѣлинскаго. Въ разборѣ сочиненій Пушкина, благоговѣя предъ эстетическою красотою его поэзіи, Бѣлинскій пользовался уже всякимъ случаемъ перейти отъ художественной оцѣнки къ разсмотрѣнію живыхъ сторонъ общественной жизни, коснуться такъ или иначе, если не прямо,—что не всегда было удобно,—то хоть какимъ-нибудь замаскированнымъ намекомъ, тѣхъ кровныхъ интересовъ цивилизаціи, которые затрогивались художественнымъ изображеніемъ; въ томъ же разборѣ онъ опредѣлилъ и слабую сторону пушкинской поэзіи—ея теоретическій индифферентизмъ, а позднѣе даже высокомѣрное пренебреженіе ко всѣмъ задачамъ и вопросамъ, насильственно врывающимся въ міръ спокойнаго, отвлеченнаго творчества. «Такъ какъ поэзія Пушкина—говоритъ Бѣлин-

скій—заключается преимущественно въ поэтическомъ созерцаніи міра и такъ-какъ она безусловно признаетъ его настоящее положеніе если не всегда утѣшительнымъ, то всегда необходимо разумнымъ, поэтому она отличается характеромъ болѣе созерцательнымъ, нежели рефлектирующимъ, высказывается болѣе какъ чувство или какъ созерцаніе, нежели какъ мысль. Вся насквозь проникнутая гуманностью, муза Пушкина умѣетъ глубоко страдать отъ диссонансовъ и противорѣчій жизни; но она смотритъ на нихъ съ какимъ-то самоотрицаніемъ, какъ бы признавая ихъ роковую неизбѣжность и не нося въ душѣ своей идеала лучшей дѣйствительности и вѣры въ возможность его осуществленія. Такой взглядъ на міръ вытекаетъ уже изъ самой натуры Пушкина; этому взгляду обязанъ онъ изящною елейностью, кротостью, глубиною и возвышенностью своей поэзіи, и въ этомъ же взглядѣ заключаются недостатки его поэзіи. Какъ бы то ни было, но по своему воззрѣнію Пушкинъ принадлежитъ къ той школѣ искусства, которой пора миновала уже совершенно въ Европѣ, и которая даже у насъ не можетъ произвести ни одного великаго поэта. Духъ анализа, неукротимое стремленіе изслѣдованія, страстное, полное вражды и любви мышленіе сдѣлались теперь жизнью всякой истинной поэзіи. Вотъ въ чемъ время опередило поэзію Пушкина и бо́льшую часть его произведеній лишило того животрепещущаго интереса, который возможенъ только какъ удовлетворительный отвѣтъ на тревожные, болѣзненные вопросы настоящаго» (т. VIII, стр. 397—98).

Мы—повторяемъ это—не имѣемъ здѣсь въ виду входить

въ историческую оцѣнку замѣчательной дѣятельности Бѣлинскаго; но всѣ эти извлеченія понадобились намъ единственно затѣмъ, чтобы читатель самъ убѣдился: до какой степени не новы взгляды, изложенные г. Галаховымъ въ первомъ томѣ его книги, и какъ близко повторяютъ они то, что высказано Бѣлинскимъ за тридцать лѣтъ до нашего времени. «Просвѣтительное содержаніе» литературы, на которое такъ сильно налегаетъ г. Галаховъ, жертвуя ему даже эстетической формой, «направленіе жизни» и «идеальныя стремленія» развитыхъ личностей, отражающіяся въ литературной сферѣ—все это не больше, какъ прозрачная перефразировка «народнаго міросозерцанія» и «универсальныхъ идей» Бѣлинскаго. Сущность дѣла, т.-е. отношеніе къ предмету—у обоихъ авторовъ одно и то же, а такъ какъ г. Галаховъ, безъ сомнѣнія, хорошо знакомъ съ сочиненіями Бѣлинскаго, то одинаковость взглядовъ, на сей разъ, не объясняется французской пословицей, что «прекрасные умы встрѣчаются-де въ своихъ мысляхъ»... Само собой разумѣется, что мы нисколько не осуждаемъ г. Галахова за такія заимствованія, и даже радуемся тому, что его книга благополучно избѣжала рецензіи ученаго комитета: не всякому писателю суждено внести въ литературу что нибудь свое, оригинальное; хорошо, если мысли, завѣщанныя первоклассными дѣятелями, воспринимаются и пропагандируются дѣятелями второстепенными... Сожалѣть можно только объ одномъ: г. Галаховъ, усвоивъ себѣ вѣрный, раціональный взглядъ на исторію литературы, не справился, какъ слѣдуетъ, съ его педагогическимъ приложеніемъ, упустивъ изъ виду, что одно дѣло — развивать теоретическія воззрѣнія

предъ взрослыми читателями, и другое дѣло—вводить ихъ въ сознаніе юношей, примѣнительно къ потребностямъ и складу невполнѣ зрѣлаго мышленія. Тутъ обнаружилось, что г. Галаховъ очень плохой педагогъ, и что книга его, назначенная служить учебникомъ въ гимназіяхъ, по сухости слога и обилію ненужныхъ подробностей, можетъ быть осилена развѣ только любознательными студентами старшихъ курсовъ университета. Гимназистъ же очутится въ ней, какъ въ лѣсу, и запутается въ массѣ фактовъ, характеристикъ, дѣленій и подраздѣленій всякаго рода. Различіе шрифтовъ, сдѣланное съ цѣлью облегчить занятія учениковъ, нимало не помогаетъ этой трудности, такъ какъ шрифтъ крупный ежеминутно, измѣнническимъ образомъ, похищаетъ цѣлыя страницы у шрифта мелкаго. Но, не смотря на этотъ существенный педагогическій недостатокъ, мы все-таки предпочитаемъ прежняго г. Галахова нынѣшнему рецензенту ученаго комитета—и вотъ по какой причинѣ. Г. Галаховъ погрѣшалъ, правда, противъ объема и характера учебнаго курса, но онъ не порицалъ педагогической важности самого предмета, который въ нашихъ школахъ служитъ главнымъ звеномъ, соединяющимъ учебное дѣло съ интересами общественной жизни; ему не казалось нелѣпымъ и предосудительнымъ—возбуждать въ ученикахъ критическую способность, пріучая ихъ задумываться надъ сложными явленіями индивидуальной психологіи и общественнаго организма; его не пугало стремленіе учителя захватывать въ своихъ урокахъ какъ можно больше живаго матеріала, полезно занимающаго умственныя силы класса и нѣсколько разнообразящаго монотонную схоластику отвлеченнаго преподаванія.

Въ этомъ случаѣ онъ, какъ мы видѣли, даже хваталъ черезъ край, углубляясь въ тонкости, врядъ ли доступныя для мало развитаго ума; но важно то, что при такой постановкѣ учебнаго предмета, не пропадало совсѣмъ образовательное его значеніе, и отъ искусства преподавателя зависѣло—воспользоваться имъ, направить все дѣло въ дурную или въ хорошую сторону. Теперь же, въ очень короткіи срокъ, исторія литературы признана предметомъ ехиднымъ и крайне-опаснымъ въ рукахъ вольнодумства, а ученики поглупѣли настолько, что не могутъ взять въ толкъ самаго простенькаго стихотворенія, самой нехитрой прозаической статейки! То заставляли ихъ толковать о высшихъ вопросахъ цивилизаціи, при чемъ учитель выходилъ дальше, чѣмъ слѣдовало, изъ рамокъ разбираемаго произведенія, то считаютъ ихъ такими кретинами, что даже вопросъ о «заслугахъ Прометея» становится для нихъ непосильнымъ бременемъ. Впрочемъ, касательно учениковъ, нынѣшній тонъ обыкновенно раздваивается: иногда они представляются «скорбными главой» юношами, которые, по недостатку смысла, не въ силахъ слѣдить за объясненіями учителя; иногда же они разсматриваются, какъ бомбы, начиненныя порохомъ:—прикоснись только къ нимъ зажженнымъ фитилемъ, они сейчасъ вспыхнутъ и произведутъ страшный взрывъ. Но что за фатальныя событія произошли въ Россіи? какіе громадные успѣхи сдѣлало у насъ якобинство? и нужно ли стѣснять и задерживать шаги просвѣщенія только потому, что два-три ученика (на семьдесятъ-то милліоновъ народу!) поняли какъ нибудь превратно фразу учителя? Напротивъ, въ учебномъ-то мірѣ и господствуютъ по преиму-

ществу тишь да гладь, да Божья благодать, такъ что грамматика Алябьева была, въ послѣднее время, едва-ли не единственнымъ «краснымъ призракомъ» педагогическаго вольнодумства. Эти быстрые переходы отъ одной крайности къ другой, эти внезапные скачки то впередъ, то назадъ, смотря потому, откуда подулъ вѣтеръ, наводятъ насъ на очень печальныя размышленія... И не однихъ насъ. Не такъ давно г. Ушинскій,—котораго, вѣроятно, никто не упрекнетъ въ излишнемъ пессимизмѣ,—наблюдая надъ тѣмъ же фактомъ, не поскупился на энергическія выраженія, чтобы заклеймить весь вредъ, происходящій отъ такой неустойчивости системъ для правильныхъ успѣховъ народнаго образованія въ Россіи. «Вотъ уже около 20-ти лѣтъ — пишетъ онъ въ одномъ спеціально-педагогическомъ журналѣ,— какъ мы болѣе или менѣе вращаемся въ кругу административныхъ распоряженій по дѣлу образованія. И какихъ только перемѣнъ въ этихъ направленіяхъ не насмотрѣлись мы! Почти не проходило, не то что одного пятилѣтія, но даже двухъ - трехъ лѣтъ, чтобы выдерживалось одно и то же направленіе, а направленіе, только что принятое съ возложеніемъ на него великихъ ожиданій, не смѣнялось новымъ, которое, по большей части, съ ужасомъ смотрѣло на прежнее, и опять подавало новыя великія надежды. Эта комедія направленій была довольно длинна и пестра, чтобы наконецъ не опротивѣть окончательно всякому мыслящему человѣку, не забывающему, при крикахъ сегодняшняго торжества, точно такихъ же криковъ торжества вчерашняго. Не дай Боже, чтобы эта безплодная игра въ направленіе была приложена и къ дѣлу народной школы, къ

только что этому начинающемуся дѣлу, и отъ котораго, по нашему твердому убѣжденію, зависитъ вся будущность Россіи. Если мы начнемъ и нашу народную школу также водить по разнымъ направленіямъ, то не быть пути и изъ этого великаго дѣла; оно не подвинется ни на шагъ впередъ, и тогда въ какія-нибудь сорокъ или пятьдесятъ лѣтъ мы можемъ стать въ болѣе отсталое положеніе въ отношеніи образованныхъ государствъ Европы, чѣмъ то, въ которомъ стояли при началѣ реформы Петра Великаго; а отсталость на современномъ языкѣ, есть нищенство, безсиліе, зависимость, экономическое и политическое ничтожество». (Народн. Школа, 1870 года, № 5-й). Все это очень справедливо, и «комедія направленій», распространяясь сверху до низу, можетъ повлечь за собой трагедію всеобщаго помраченія и быстраго упадка нашихъ высшихъ, среднихъ и низшихъ школъ.

Итакъ мы оставимъ въ сторонѣ педагогическіе недостатки, которые дѣлаютъ книгу г. Галахова неудовлетворительнымъ учебникомъ для среднихъ школъ, и разсмотримъ ее съ чисто-научной точки зрѣнія, какъ сводъ извѣстныхъ понятій и взглядовъ на историческое развитіе русской литературы. При этомъ мы займемся преимущественно, почти исключительно, вторымъ томомъ «Исторіи русской словесности», обращаясь къ первому тому лишь настолько, насколько это нужно для пониманія общаго плана всего сочиненія, а также и для полноты характеристикъ новыхъ писателей, дѣятельности которыхъ посвященъ второй (еще неоконченный) томъ труда г. Галахова. Предпочтеніе, оказываемое нами новымъ писателямъ, объясняется, вопервыхъ, тѣмъ, что толки о древней литературѣ представляютъ немного

интереса для современныхъ читателей, а, вовторыхъ, и тѣмъ, что мы вообще больше согласны съ г. Галаховымъ въ его отзывахъ о Максимѣ Грекѣ, Ломоносовѣ и даже о писателяхъ Екатерининскаго времени, чѣмъ въ мнѣніяхъ о Карамзинѣ, Жуковскомъ и другихъ дѣятеляхъ новаго періода русской словесности. Такимъ образомъ, вмѣсто того, чтобы говорить о предметахъ, слишкомъ отдаленныхъ отъ насъ, или повторять мнѣнія, болѣе или менѣе установившіяся въ литературной критикѣ, мы коснемся лицъ и вопросовъ, донынѣ не потерявшихъ нѣкотораго, хотя не особенно близкаго, отношенія къ современности, и оцѣниваемыхъ различно, смотря по различію литературныхъ и общественныхъ симпатій самихъ рецензентовъ.

Приглядываясь съ этой точки зрѣнія къ «Исторіи русской словесности», мы находимъ прежде всего, что авторъ не соблюлъ, въ продолженіи своего труда, тѣхъ обѣщаній, которыя далъ намъ въ предисловіи къ первому тому. Онъ обѣщалъ,—какъ помнитъ читатель,—разсматривать литературныя явленія въ связи съ общественными условіями, вызвавшими ихъ къ жизни, подвергать ихъ преимущественно исторической критикѣ, указывая взаимодѣйствіе между культурными и политическими фактами съ одной стороны и отраженіемъ ихъ въ народномъ сознаніи, въ литературѣ, съ другой. Такъ онъ и поступалъ, когда рѣчь шла, напримѣръ, о произведеніяхъ такъ-называемаго народнаго «двоевѣрія», о схоластикѣ кіевскихъ ученыхъ, о реформѣ Петра Великаго и наконецъ о литературныхъ памятникахъ Екатерининскаго вѣка. Говоря о Прокоповичѣ и Кантемирѣ — этихъ наиболѣе выдающихся пропагандистахъ идей реформы —

г. Галаховъ вдавался подробно въ отчетъ о двухъ направленіяхъ, боровшихся при Петрѣ, изъ которыхъ первое опиралось на традицію и грубое невѣжество старины, а другое на силу науки и, главнымъ образомъ, на личную волю просвѣщеннаго монарха. Еще болѣе распространился онъ о преобразовательныхъ намѣреніяхъ Екатерины II, о движеніи мысли въ литературѣ, возникшемъ подъ вліяніемъ и покровительствомъ высшей власти, о типахъ, выхваченныхъ прямо изъ общественной жизни и осмѣянныхъ сатирою. Но переходя во второмъ томѣ къ эпохѣ Александра I, г. Галаховъ мгновенно отбрасываетъ этотъ обычный пріемъ: не считаетъ болѣе нужнымъ обращаться отъ литературы къ общественной жизни — съ тѣмъ, чтобы найти правильную разгадку и оцѣнку умственныхъ направленій, волновавшихся на поверхности общества, и обходитъ молчаніемъ — нисколько не вынужденнымъ при нынѣшнихъ условіяхъ прессы — весьма крупные факты какъ въ самой литературѣ, такъ и въ политической обстановкѣ того времени. Такое умолчаніе, затушевывая многія существенныя стороны дѣла, лишаетъ и остальные факты надлежащаго освѣщенія, такъ что благоразумный читатель, для котораго не составляютъ секрета опущенныя данныя, долженъ сначала возстановить ихъ въ своемъ воображеніи, а уже потомъ—произносить свой судъ надъ литературными дѣятелями Александровскаго періода. Безъ этой необходимой коррекціи онъ рискуетъ заблудиться и попасть въ большой просакъ. Александровское время было временемъ довольно сильнаго умственнаго броженія въ образованныхъ кругахъ русскаго общества, и необходимо знать: чьи именно интересы представлялъ и

защищалъ такой-то писатель, въ чью руку дѣйствовалъ онъ, — чтобы судить безпристрастно о «просвѣтительномъ содержаніи» его сочиненій. Г. Галаховъ распорядился бы гораздо лучше, еслибы, не помѣщая въ видѣ образцоваго отрывка передовой статьи Московскихъ Вѣдомостей [1]) (см. Дополненія ко II тому, стр. III), онъ сберегъ побольше мѣста для историческихъ разъясненій той незавидной роли, которую разъигралъ Карамзинъ въ общемъ походѣ на Сперанскаго...

III.

Карамзинымъ кончается первый томъ «Исторіи русской словесности» и имъ же начинается второй ея томъ, наполненный, почти на цѣлую треть, подробной характеристикой этого писателя. Слишкомъ сто страницъ посвятилъ г. Галаховъ этому любопытному предмету, и можно бы надѣяться, что послѣ такого тщательнаго разсмотрѣнія (мы уже не хо-

[1]) Статья эта написана г. Катковымъ въ 1866 г., въ то время, когда ему приходилось плохо, и онъ задумалъ притянуть Карамзина къ участію въ своихъ подвигахъ. Здѣсь Карамзинъ рисуется красками, какими хотѣлось бы г. Каткову изобразить себя самого. А г. Галаховъ, не разобравъ въ чемъ дѣло, и смѣшавъ такимъ образомъ Карамзина съ Катковымъ (ошибка непростительная для панегириста Карамзина!), принялъ статью за настоящую историческую характеристику. Совѣтуемъ г. Галахову, если ужь статья такъ понравилась ему, перемѣстить ее въ свою христоматію, какъ образецъ ловкаго самовосхваленія новѣйшаго Нарциса. Г. Катковъ не Прометей, и ученый комитетъ не вооружится противъ него.

тимъ и вспоминать, что, по плану автора, всю эту сотню страницъ должны были поглотить и переработать семнадцатилѣтніе гимназисты!), послѣ такой мелочной обработки деталей, — и личность, и литературныя заслуги Карамзина освѣтятся передъ нами со всѣхъ своихъ наиболѣе рельефныхъ, выдающихся сторонъ. Но отдавая полную справедливость той добросовѣстности, съ которою г. Галаховъ изучилъ сочиненія Карамзина, также какъ и многихъ другихъ его современниковъ, нельзя не сказать однако, что въ разбираемой нами книгѣ встрѣчаются важные пропуски и невѣрныя толкованія, затемняющія истинный смыслъ дѣла. Главное же, что̀ въ особенности непріятно поражаетъ читателя, это — панегиристическій тонъ г. Галахова, его черезчуръ замѣтное желаніе выгородить и возвеличить Карамзина даже въ тѣхъ случаяхъ, когда приходится касаться не совсѣмъ благовидныхъ мыслей пресловутаго историка государства Россійскаго. Чтобы нашъ приговоръ не показался рѣзкимъ и неосновательнымъ, мы намѣрены сначала представить in extenso всѣ мнѣнія и выводы г. Галахова, а затѣмъ, заручившись хорошими данными для спора, выскажемъ и наше собственное воззрѣніе на Карамзина, которое во многомъ пойдетъ въ разрѣзъ съ преувеличенными похвалами снисходительной критики. Отъ Карамзина мы перейдемъ, такимъ же порядкомъ, къ Жуковскому и Крылову.

Въ образованіи характера Карамзина и его взглядовъ на вещи участвовали, по мнѣнію г. Галахова, различныя силы и обстоятельства. Первое мѣсто принадлежитъ природѣ, надѣлившей его рѣдкой чувствительностью, которая обнаруживалась въ

немъ съ дѣтства и не покидала до смерти. Въ юношествѣ онъ былъ чувствителенъ какъ младенецъ; на склонѣ лѣтъ любилъ предаваться меланхоліи и, читая романы, нерѣдко плакалъ. «Онъ не стыдился—говоритъ г. Галаховъ—своего врожденнаго дара, хотя и придавалъ ему иногда патологическое значеніе» (стр. 2). Преобладающая наклонность природы развилась потомъ подъ вліяніемъ романовъ сантиментальнаго содержанія. Вторымъ періодомъ образованія Карамзина надобно считать его ученіе въ пансіонѣ московскаго профессора Шадена, гдѣ онъ обучался иностраннымъ языкамъ, слушалъ уроки нравственной философіи, которую преподавалъ самъ Шаденъ, и вмѣстѣ съ другими пансіонерами посѣщалъ лекціи университетскихъ профессоровъ. По выходѣ изъ пансіона, Карамзинъ, чувствуя неудовлетворительность своихъ познаній, намѣревался довершить свое образованіе за границей, въ лейпцигскомъ университетѣ; но судьба столкнула его съ Новиковымъ, и въ масонскомъ кружкѣ прошелъ третій, весьма важный періодъ умственнаго развитія Карамзина. О масонствѣ г. Галаховъ говорилъ много въ концѣ своего перваго тома и, для выясненія этого вліянія, мы обратимся нѣсколько назадъ. «Масонское общество, по словамъ автора, не могло возбуждать сочувствія въ послѣдователяхъ той философіи, которая, во имя разума, какъ своего краеугольнаго камня, отвергала все, несовмѣстимое съ его положеніями, которая стремилась къ положительному и естественному, разумѣя подъ «тайною» единственно явленія, еще не поддавшіяся изслѣдованію науки или сужденію здраваго смысла.... Прочитавъ книгу (С. Мартена): «О заблужденіяхъ и истинѣ», Вольтеръ пи-

салъ Даламберу: «Je ne crois pas qu'on ait jamais rien imprimé de plus absurde, de plus obscur, de plus fou et de plus sot». Мнѣніе Вольтера раздѣляла и Екатерина II, сама воспитанная на скептической философіи XVIII вѣка; она не уважала людей, отвергавшихъ «школьную мудрость», то есть всю европейскую науку, вѣрившихъ въ таинства алхиміи и астрологіи. «Помню—писала она Циммерману—что въ 1740 году головы менѣе всего философскія хотѣли быть философами; по крайней мѣрѣ, въ такомъ случаѣ разсудокъ и общій смыслъ (sens commun) не теряли своей силы. Но сіи новыя заблужденія принудили у насъ сдурачиться такимъ людямъ, которые прежде сего не были дураками». Къ чувству неуваженія присоединилось у нея впослѣдствіи недовѣріе, возбужденное таинственными сходками масоновъ и, всего болѣе, ихъ сношеніями съ наслѣдникомъ престола. Это послѣднее подозрѣніе и боязнь какой-нибудь политической манифестаціи въ пользу Павла Петровича были, впрочемъ, ни на чемъ не основаны: масоны прилагали свои заботы къ внутреннему совершенствованію человѣка, а о политическихъ вопросахъ нисколько и не думали, считая ихъ пустяками, не заслуживающими вниманія «свободнаго каменьщика». На самомъ дѣлѣ это были кротчайшіе люди, смиреннѣйшіе вѣрноподданные, простиравшіе свой политическій индифферентизмъ гораздо далѣе той границы, какая, вообще, можетъ быть желательна для самаго осторожнаго правительства. При полномъ равнодушіи къ государственной жизни и политическимъ направленіямъ, масоны отличались благотворительностью и тонко-развитымъ гуманнымъ чувствомъ: — въ этомъ заключалась ихъ сильная, симпатиче-

ская сторона, которая и привлекала къ нимъ расположеніе общества. Вліяніе масонства на Карамзина очерчивается довольно неопредѣленно г. Галаховымъ. Мы узнаемъ, что Карамзинъ былъ членомъ новиковскаго кружка, что онъ работалъ въ новиковскихъ изданіяхъ (перевелъ драму «Аркадскій памятникъ» для «Дѣтскаго чтенія» и пр. и пр.), но главной черты этого вліянія г. Галаховъ, какъ намъ кажется, не уловилъ вовсе. Единственнымъ отвѣтомъ на этотъ вопросъ служатъ у него слѣдующія загадочныя строки: «Дѣйствительность вліянія, произведеннаго на Карамзина обществомъ Новикова, не подлежитъ сомнѣнію. Существенная его польза состояла въ прочномъ закалѣ мысли, державшейся на серьезныхъ занятіяхъ (на чтеніи «Химической псалтири» и «Магазина свободно-каменьщическаго?»), на обсужденіи предметовъ, которые по своей важности (какъ напримѣръ рецептъ для дѣланія золота?) всегда обращаютъ на себя вниманіе даровитой любознательности. Въ тотъ періодъ жизни, когда умъ, большею частію, истощаетъ свои силы на трудахъ маловажныхъ или безъ надежнагo руководства переходитъ отъ одной дѣятельности къ другой, останавливаясь на каждой поверхностно и ни къ одной не привязываясь искренно, — въ этотъ самый періодъ Карамзину была указана достойная сфера человѣческаго знанія (какая?). Карамзинъ охотно вошелъ въ нее и непраздно оставался въ ней, хотя потомъ и сдѣлался ея отщепенцемъ, такъ какъ она рѣшительно не подходила ни къ характеру его чувства (почему же? элементъ чувства, а именно любви къ ближнему, былъ самой почтенной стороною масонства), ни къ складу его познавательной способности (но вѣдь выше

было сказано, что въ масонствѣ-то и закалилась мысль Карамзина?), не любившей ни въ чемъ темноты» (т. II, стр. 5). Затѣмъ слѣдуетъ поѣздка Карамзина за границу, во время которой онъ освободился (по нашему мнѣнію, несовсѣмъ) отъ масонскаго вліянія и подчинился на время взглядамъ французской философіи XVIII вѣка. Руссо сдѣлался его кумиромъ, хотя,—замѣтимъ мы отъ себя,—революціонная логика этого мыслителя была какъ-то очень своеобразно и сантиментально понята русскимъ прозелитомъ. Новое настроеніе выразилось въ «Письмахъ русскаго путешественника» и нѣкоторыхъ другихъ прозаическихъ разсужденіяхъ и стихотворныхъ думахъ Карамзина. Г. Галаховъ останавливается со вниманіемъ на первомъ произведеніи, и уже здѣсь начинаетъ пробиваться его особенное пристрастіе къ Карамзину. Дѣло въ томъ, что нѣкоторые критики, сравнивая письма изъ-за границы Фонъ-Визина и Карамзина, справедливо замѣчали, что Фонъ-Визинъ гораздо глубже взглянулъ на политическое состояніе французскаго общества и еще за нѣсколько лѣтъ до революціи предвидѣлъ неизбѣжность тяжелаго кризиса, тогда какъ Карамзинъ, стоя въ самомъ центрѣ всколыхнувшихся страстей, говоритъ о нихъ нехотя и мелькомъ, словно о бездѣлицѣ. На это замѣчаніе г. Галаховъ возражаетъ, что такое сравненіе неумѣстно, ибо письма Карамзина адресовались къ семейству Плещеевыхъ, имѣли совершенно интимный характеръ, и потому странно было бы требовать отъ нихъ глубокомысленнаго, серьезнаго содержанія. «Объяснять молчаніе Карамзина о французской революціи — говоритъ онъ — тѣмъ, что Карамзинъ не замѣчалъ или не понималъ ее, такъ же стран-

но, какъ, напримѣръ, маловажность его долголѣтней переписки съ братомъ объяснять тѣмъ, что онъ, въ теченіе всего этого времени, не обращалъ своей мысли ни на что серьезное. Мудрецы литературной механики могли бы проще открыть ларчикъ. Ни съ семействомъ Плещеевыхъ, ни съ братомъ своимъ Карамзинъ не имѣлъ намѣренія входить въ сужденія о важныхъ матеріяхъ — вотъ и все. Важное держалъ онъ про себя, а съ иными знакомыми и родными бесѣдовалъ о неважномъ» (стр. 10). Но тутъ есть одно обстоятельство, за которое не преминутъ ухватиться «мудрецы литературной механики»: вѣдь долголѣтняя переписка съ братомъ не назначалась Карамзинымъ для печати и, слѣдовательно, важность или неважность ея не можетъ быть вопросомъ для публики; письма же къ Плещеевымъ, литературно обработанныя, появились въ журналѣ,—стало быть, авторъ находилъ содержаніе ихъ вполнѣ значительнымъ для того, чтобы заинтересовать имъ всѣхъ образованныхъ читателей. Тутъ дѣло мѣняется, и критики получаютъ полное право сравнивать письма Карамзина и Фонъ-Визина, если еще только поклонники послѣдняго не вступятся за него, ссылаясь на то, что къ частной перепискѣ Фонъ-Визина, напечатанной послѣ его смерти и безъ его желанія, невозможно прилагать тотъ же строгій критерій, какъ къ литературному произведенію Карамзина. Г. Галахову будетъ стоить немалаго труда уговорить ихъ на податливость и, въ концѣ концовъ, онъ вмѣсто того, чтобы защитить Карамзина, самъ же подведетъ его подъ обухъ. А между тѣмъ вся эта бѣда произошла прямо отъ недосмотра: почтенный авторъ не замѣтилъ, что Карамзинъ

умалчиваетъ о революціи не потому, чтобы онъ считалъ именно Плещеевыхъ неспособными къ такой серьезной бесѣдѣ и «держалъ про себя» (по выраженію г. Галахова) свои мысли о такихъ серьезныхъ вещахъ. Причина кроется здѣсь гораздо глубже и на нее намекаетъ, — но только въ другомъ мѣстѣ и по совершенно другому поводу, — самъ г. Галаховъ. Это — тотъ политическій индифферентизмъ, то глубокое равнодушіе къ «бреннымъ формамъ» государственной жизни, съ которымъ Карамзинъ смотрѣлъ въ юности на французскую революцію, а въ старости — на конституціонное движеніе, вызванное наполеоновскими войнами. Эту черту унаслѣдовалъ онъ отъ масонскихъ кружковъ, и ее, конечно, не могла стереть, изгладить изъ его души недолговременная, платоническая любовь къ республикѣ.

Новое настроеніе, овладѣвшее Карамзинымъ со времени поѣздки за границу, г. Галаховъ характеризуетъ именемъ оптимизма и сближаетъ его съ воззрѣніями, выраженными Вольтеромъ въ «Разсужденіи о человѣкѣ». Сущность этой доктрины состоитъ въ слѣдующемъ. Природа — любящая мать всего живущаго: она дала намъ чувства для того, чтобы услаждать ихъ, дала разсудокъ, чтобы выбирать лучшія наслажденія, вложила въ насъ страсти, необходимыя для дѣятельности въ физическомъ и нравственномъ мірѣ. Страсти въ своихъ границахъ благодѣтельны, внѣ границъ пагубны, и разсудокъ долженъ ограничивать ихъ. Человѣку даны свобода и право выбора: отъ него зависитъ, разнуздавъ свои страсти, погибнуть въ заблужденіяхъ, или, слѣдуя мудрымъ законамъ природы, сдѣлаться творцомъ своего благополучія, то есть привести страсти въ истинное равновѣсіе и образо-

вать вкусъ для истинныхъ наслажденій. Каждый можетъ достигнуть такого счастія, и истинныя удовольствія равняютъ людей. Но это равенство счастія состоитъ не въ равной суммѣ благъ, данныхъ каждому человѣку, а въ равенствѣ чувства, съ которымъ наслаждается каждый данною ему долею блага. «Быть счастливымъ — говоритъ Филалетъ въ «Разговорѣ о счастіи» — есть быть вѣрнымъ исполнителемъ естественныхъ мудрыхъ законовъ; а такъ какъ эти законы основаны на общемъ добрѣ, то быть счастливымъ есть быть добрымъ». Эта радужная доктрина, въ основѣ которой лежало то же предвзятое отношеніе къ природѣ, какъ и въ масонствѣ, господствовала въ Европѣ задолго до поѣздки Карамзина; но, не устоявъ предъ напоромъ раціонализма и истинно-философской пытливости, была уже давно осмѣяна Вольтеромъ въ его Кандидѣ (1759 г.). Ходячая формула оптимизма: «все идетъ къ лучшему въ этомъ наилучшемъ изъ міровъ» получила сильнѣйшій ударъ отъ руки того же писателя, который самъ нѣкогда исповѣдовалъ ее. Тѣмъ не менѣе она пришлась какъ разъ впору умственному развитію Карамзина, и въ особенности совпала съ личнымъ расположеніемъ его духа. «Карамзинъ—говоритъ г. Галаховъ—несмотря на свою молодость, пользовался рѣдкою литературною извѣстностію, занималъ счастливое положеніе въ свѣтѣ, видѣлъ искреннее уваженіе къ себѣ и привязанность многихъ. Завѣтныя желанія его исполнились: онъ совершилъ путешествіе за границу; по возвращеніи, посвятилъ себя литературѣ, согласно наклонностямъ сердца и убѣжденію просвѣщеннаго гражданина; въ обществѣ знакомыхъ нашелъ онъ удовлетвореніе и дружбы, и любви. Все въ немъ и во-

кругъ него устроилось хорошо и пріятно; будущее могло обѣщать еще лучшее и пріятнѣйшее» (стр. 23).* Къ этому времени относятся и всѣ свободолюбивыя стремленія Карамзина: его сочувствіе къ республиканской Швейцаріи (г. Галаховъ утверждаетъ даже, что Карамзинъ всегда «по чувству склонялся къ республикѣ»), его уваженіе къ дѣятелямъ конца XVIII вѣка и къ гуманно-космополитической цивилизаціи вообще; наконецъ, его сострадательный взглядъ на крѣпостное иго крестьянъ. «Конецъ нашего вѣка—говорилъ онъ тогда — почитали мы концомъ главнѣйшихъ бѣдствій человѣчества, и думали, что въ немъ послѣдуетъ важное, общее соединеніе теоріи съ практикою, умозрѣнія съ дѣятельностію; что люди, увѣрясь въ изящности законовъ чистаго разума, начнутъ исполнять ихъ во всей точности, и подъ сѣнію мира, въ кровѣ тишины и спокойствія, насладятся истинными благами жизни». Осьмнадцатый вѣкъ не подтвердилъ оптимистическихъ надеждъ Карамзина; оказалось, что изъ феодальнаго лѣса нельзя выбраться, не поваливъ сотни—другой деревьевъ и не расчистивъ такимъ образомъ дальнѣйшаго пути; свобода, реализируясь въ дѣйствительности, не могла расчитывать на одни «изящные законы разума», и ей понадобились для того иныя, болѣе грубыя средства, взятыя изъ грубой дѣйствительности. Это обстоятельство оттолкнуло Карамзина и внушило ему какой-то суевѣрный страхъ ко всѣмъ народнымъ движеніямъ. «Вѣкъ просвѣщенія—воскликнулъ онъ—не узнаю тебя! въ крови и пламени не узнаю тебя! среди убійствъ и разрушеній не узнаю тебя!» Переставъ узнавать свои же идеи въ той суровой формѣ, въ которой воплощались онѣ въ поли-

тическомъ быту, Карамзинъ скоро почувствовалъ къ нимъ полнѣйшую антипатію, и завелъ свои опасенія даже такъ далеко, что и въ людяхъ, окружавшихъ Александра Павловича, началъ видѣть Грегуаровъ, Карно и проч. и проч. (стр. 113). Идеи же ихъ казались ему «саранчею, вылѣзшею изъ сѣмянъ революціи». Сочувствіе къ освобожденію крестьянъ скоро замѣнилось у Карамзина защитою рабства: вмѣсто умѣреннаго оброка, который онъ наложилъ-было на своихъ крестьянъ, руководясь либеральнымъ образомъ мыслей, онъ ввелъ снова барщину, которую «требовала истинная филантропія» (стр. 35). Философскій оптимизмъ колеблется и уступаетъ мѣсто другому, противоположному воззрѣнію: отъ убѣжденія, что «жизнь есть первое счастіе», что «въ мірѣ все прекрасно», Карамзинъ переходитъ къ убѣжденію, что «здѣшній міръ есть училище терпѣнія», что «вездѣ и во всемъ окружаютъ насъ недостатки». Поводомъ къ такой перемѣнѣ въ мысляхъ послужила для Карамзина потеря первой его супруги — обстоятельство чисто-личнаго свойства, въ противоположность тому общественному бѣдствію, которое, внушивъ поэму: «Разрушеніе Лиссабона», съ тѣмъ вмѣстѣ побудило Вольтера отказаться отъ своего прежняго образа мыслей. Этотъ личный мотивъ, всегда служившій у Карамзина сильнѣйшимъ двигателемъ его внутренней жизни, кажется «любопытнымъ» г. Галахову, но онъ и характеристиченъ—слѣдовало бы прибавить къ этому. «Замѣтимъ—продолжаетъ авторъ — что перемѣна воззрѣній, произведенная печальными обстоятельствами жизни, не противорѣчила постоянно доброму настроенію души Карамзина... Ни благодушіе его не пострадало отъ новаго взгляда, ни

новый взглядъ не потревожилъ благодушной его природы... Несчастія могли усилить въ немъ меланхолію, къ которой онъ имѣлъ естественную наклонность, но не могли поколебать вѣру въ совершенствованіе человѣка, въ неизбѣжное торжество добрыхъ началъ надъ злыми. Пессимистомъ онъ не могъ быть, и никогда не былъ: всю жизнь свою онъ былъ оптимистомъ. Всегда и вездѣ сопровождало его утѣшеніе; только онъ прибѣгалъ за нимъ не къ системѣ Попа, а къ религіи, не къ ученію деистовъ, а къ ученію собственно христіанскому». Но это окончательное отступленіе отъ деизма произошло уже гораздо позднѣе; къ концу же перваго періода литературной дѣятельности Карамзина, убѣжденія его формулируются въ такомъ видѣ: «По своему взгляду на міровое устройство, онъ былъ оптимистъ, усвоившій нѣкоторыя положенія деизма. По своимъ понятіямъ объ основахъ и способахъ науки, онъ, въ противоположность мистико-масонамъ, требовалъ раціональности, которая, въ области знанія, допускаетъ лишь то, что можетъ быть изслѣдовано и воспринято умомъ, а не другими способностями духа. По понятіямъ о судьбѣ человѣчества, онъ былъ убѣжденъ въ предопредѣленномъ и, слѣдовательно, непреложномъ его совершенствованіи. Поступательный ходъ человѣческаго развитія измѣрялъ онъ поступательнымъ, спокойнымъ ходомъ просвѣщенія, разливаемаго по всѣмъ классамъ, и доброй нравственности, его дѣйствіемъ образуемой. Только при этихъ двухъ условіяхъ (просвѣщенія и нравственности) законы и учрежденія могутъ приносить пользу; безъ нихъ же какъ тѣ, такъ и другіе, несмотря на либеральный просторъ свой, теряютъ значеніе и остаются втунѣ.

Государственныя преобразованія должны совершаться мирнымъ путемъ, обходя всякіе поводы къ потрясеніямъ и насильственнымъ мѣрамъ, и относясь съ уваженіемъ къ исторіи народа. Европеизмъ, какъ высшая ступень человѣческаго развитія, служитъ неизбѣжнымъ, единственнымъ образцомъ для каждаго народа, выступающаго на историческое поприще: отсюда благоговѣніе предъ геніемъ Петра и оправданіе его реформы. Любовь къ добру и человѣчеству есть душа правленія, животворная его сила. Наилучшую его форму представляетъ монархія, надежнѣйшимъ способомъ устраивающая и внѣшнее величіе государства, и внутреннее благосостояніе гражданъ. Отношенія между добрымъ, человѣколюбивымъ монархомъ и его подданными должны быть обязательнымъ примѣромъ для отношеній между помѣщиками и крестьянами, своего рода уставомъ крѣпостнаго состоянія» (стр. 141). Мудрено сформулировать мягче, эластичнѣе и благовиднѣе сущность общественной философіи Карамзина. Тутъ есть и «просвѣщеніе, разливаемое по всѣмъ классамъ народа», и «государственныя преобразованія» и проч. и проч. Но когда мы вспомнимъ, что это просвѣщеніе мирилось съ крѣпостнымъ состояніемъ народа, что это «непреложное совершенствованіе» не должно было касаться самыхъ существенныхъ основъ гражданскаго и политическаго быта (въ этомъ послѣднемъ случаѣ совершенствованіе называлось уже «насильственными мѣрами»), когда мы вникнемъ, наконецъ, въ печальный смыслъ послѣднихъ строкъ этого profession de foi, то наше сочувствіе къ Карамзину замѣтно умалится. Къ тому же, и въ этой умѣренной про-

граммѣ скоро произошло измѣненіе; изъ нея улетучилось «благоговѣніе передъ геніемъ Петра», «оправданіе его реформы», и идеаломъ Карамзина становится Іоаннъ III, который «не обгонялъ умомъ настоящаго порядка вещей, не дѣйствовалъ воображеніемъ и не терялся мыслями въ возможностяхъ будущаго». При такомъ условіи «непреложное совершенствованіе» человѣческаго рода должно уже было пойдти такими микроскопическими шагами, что, въ сравненіи съ ними, и ползаніе черепахи могло бы показаться орлинымъ полетомъ.

IV.

Всѣ перемѣны и превращенія, совершавшіяся довольно быстро въ образѣ мыслей Карамзина, г. Галаховъ великодушно беретъ подъ свою защиту и, не объясняя ихъ коренными недостатками въ мышленіи этого писателя, заботится только о томъ, чтобы навязать читателю убѣжденіе, что все это хорошо, справедливо, послѣдовательно, и что Карамзину даже невозможно было придти къ какимъ-нибудь другимъ выводамъ. Словомъ, оптимизмъ Карамзина заразилъ и его адвоката, г. Галахова. При этомъ авторъ «Исторіи руской словесности» не изображаетъ факты и мнѣнія объективно, какъ онъ это думаетъ, «ставя тѣ и другія среди современныхъ имъ данныхъ и не перемѣщая въ сферу данныхъ позднѣйшей эпохи» (стр. 36): — совсѣмъ не такой смыслъ имѣютъ его горячія апологіи въ честь воз-

любленнаго публициста-историка, въ дѣятельности котораго онъ видитъ не просто литературный фактъ, обладающій хорошими и дурными сторонами, но какъ бы нѣкій «священный» завѣтъ для потомства, обязаннаго относиться къ этому завѣту не иначе, какъ съ чувствомъ умиленія и благоговѣнія. Не разбирая въ подробности воззрѣній Карамзина на французскій переворотъ XVIII столѣтія, замѣтимъ, что г. Галаховъ напрасно затушевываетъ приличными выраженіями настоящія мысли Карамзина, напрасно старается провести разграничительную черту между реформой и революціей съ цѣлью доказать, что сочувствія нашего историка не исключали перемѣнъ и улучшеній въ политическомъ строѣ государства; на дѣлѣ оказывается, что эта черта существуетъ только въ воображеніи г. Галахова, Карамзинъ же постоянно переступалъ ее, трактуя, какъ революціонныя дѣйствія, ведущія къ гибели отечества, самыя полезныя попытки общественныхъ реформъ. Напуганный революціонными событіями, которыя, по словамъ г. Галахова, «относились къ ученіямъ XVIII вѣка, какъ крайній выводъ къ первоначальной посылкѣ», Карамзинъ скоро отказался отъ своихъ мимолетныхъ симпатій къ этимъ ученіямъ, и шагнулъ въ другую крайность даже не консервативнаго, а чисто ретрограднаго свойства. Прежде онъ мечталъ о «соединеніи теоріи (то-есть теоріи французскихъ энциклопедистовъ) съ практикой», а впослѣдствіи началъ преслѣдовать самую эту теорію, не разбирая уже формы, въ какой воплощалась она въ дѣйствительности. Г. Галаховъ не ограничился тѣмъ, что отмѣтилъ этотъ переходъ, но пожелалъ объяснить его раціональнымъ образомъ, къ выгодѣ Карамзина. Такъ же благо-

видно представляетъ намъ авторъ отступленіе Карамзина отъ своего первоначальнаго взгляда на крѣпостное состояніе крестьянъ. Причиной этого отступленія былъ, дескать, собственный опытъ филантропическаго помѣщика: онъ обложилъ крестьянъ умѣреннымъ оброкомъ, предоставивъ имъ самимъ распоряжаться собственными дѣлами, а они, въ награду за эту милость, спились съ кругу, раззорились въ пухъ и наконецъ разочаровали барина въ его либерализмѣ. Затянувъ послѣ того бразды правленія, онъ увидѣлъ плоды своего домостроительства: «прежде крестьяне лѣнились, пили и терпѣли во всемъ недостатокъ; теперь они сдѣлались рачительными, трезвыми и зажиточными». Послѣ такого опыта Карамзинъ, по мнѣнію г. Галахова, естественно пришелъ къ выводу, что «связь народа съ его главою, основанная на любви и признательности, должна скрѣплять и отношенія помѣщиковъ къ крестьянамъ» (стр. 35). При этомъ г. Галаховъ, хотя и не рѣшается прямо, изъ преданности къ Карамзину, перейти въ лагерь крѣпостниковъ (крѣпостное право нынѣ отмѣнено, и говорить противъ него можно); но придумываетъ однако всевозможныя средства— смягчить и облагородить крѣпостническія тенденціи автора «Бѣдной Лизы». Первый пріемъ его защиты состоитъ въ томъ, что Карамзинъ честно и искренно измѣнилъ свои прежнія понятія; никакія нечистыя побужденія не имѣли здѣсь мѣста, и кто станетъ предполагать ихъ,—«тотъ выкажетъ или узкость историческаго пониманія, которая не въ силахъ оцѣнивать разновременныя явленія, каждое въ средѣ своихъ условій, или предосудительную подозрительность, которая во всѣхъ и каждомъ чувствуетъ свое соб-

ственное больное мѣсто».. «Какъ будто при двухъ различныхъ убѣжденіяхъ—патетически восклицаетъ г. Галаховъ—вся честность принадлежитъ одному и вся безчестность непремѣнно стоитъ на сторонѣ другаго! какъ будто они оба не могутъ быть честны или безчестны!» Мы не будемъ пускаться въ объясненія, насколько тысяча душъ, принадлежавшая Карамзину, могла предрасполагать его къ отстаиванью крѣпостнаго права, и много ли, мало-ли эгоистическаго интереса сквозитъ въ тѣхъ его письмахъ, въ которыхъ онъ, напримѣръ, жалуется на невзносъ оброка крестьянами, на худое ихъ послушаніе, бранитъ своихъ дворовыхъ людей, отправленныхъ имъ въ полицію для наказанія, и рѣшается даже просить у государя «военнаго человѣка, чтобы послать его въ имѣнье и образумить крестьянъ» (См. «Письма Карамзина къ И. И. Дмитріеву», стр. 278, 375 и 396). Для біографа Карамзина все это, конечно, факты любопытные и, къ тому же, совершенно опущенные изъ виду г. Галаховымъ; но для насъ важнѣе знать не степень личной честности и искренности Карамзина, а степень его умственной силы и публицистическаго такта. На эти вопросы г. Галаховъ не отвѣчаетъ прямо, а пользуется уловкою. Именно онъ доказываетъ, что Карамзинъ и на этомъ пунктѣ стоялъ въ уровень съ лучшими мыслителями, что, подобно ему, смотрѣли на крестьянскій вопросъ Лопухинъ, Державинъ и ... и Жанъ-Жакъ Руссо. Сопоставленіе именъ Державина и Руссо вызываетъ невольную улыбку, но мы постараемся воздержаться отъ нея и будемъ говорить серьезно. Что Гавріилъ Романовичъ Державинъ, объяснявшій французскую революцію «развращеніемъ философовъ» (въ

томъ числѣ и Руссо) и «лишнею царскою добротою»; смотрѣлъ и на крестьянскій вопросъ одинаково съ Карамзинымъ—это не подлежитъ сомнѣнію и спору; что Лопухинъ, какъ масонъ, не возвысился въ этомъ случаѣ надъ догмой своего ученія, гласившаго, что для нравственнаго совершенствованія ничтожны всѣ, хотя бы самыя стѣснительныя, общественныя и государственныя формы,—это тоже неудивительно; но чтобы авторъ Contrat social, при всей своей парадоксальности, выходилъ изъ одного принципа съ Карамзинымъ,—въ этомъ позволительно усомниться, тѣмъ болѣе, что г. Галаховъ беретъ изъ его сочиненій только небольшую цитату, лишенную всякой связи съ общимъ смысломъ философіи Руссо. Женевскаго оракула спросили когда-то: нужно ли освобождать крестьянъ? и онъ отвѣчалъ на это: «Освобождайте! освобожденіе крестьянъ есть дѣло прекрасное и великое, но вмѣстѣ смѣлое и опасное; приступать къ нему нужно не кое-какъ, но съ соблюденіемъ извѣстныхъ предосторожностей». Предосторожности, указанныя Руссо и состоявшія въ томъ, что общественный голосъ, строго провѣряемый, долженъ назначать къ свободѣ только тѣхъ крестьянъ, которые отличились своимъ поведеніемъ, добрыми нравами и достаточнымъ образованіемъ, при чемъ даръ свободы вручается имъ торжественно, съ подобающею церемоніею,—эти предосторожности, невыполнимыя практически и даже ошибочныя по своему замыслу, могли подвергнуться самымъ основательнымъ возраженіямъ; но отсюда еще нельзя заключать, чтобы Руссо, сторонникъ безграничнаго развитія личности, признавалъ, какъ нормальный фактъ, угнетеніе и порабощеніе одного человѣка другимъ. Такой

мысли нѣтъ у Руссо въ цитатѣ, приведенной г. Галаховымъ, тогда какъ Карамзинъ, отступившись отъ своего сочувствія къ ученіямъ XVIII-го вѣка, признавалъ крѣпостное право столь же неизбѣжнымъ и законнымъ явленіемъ, какъ монархическое устройство государства. «Связь народа съ его главою (т. е. съ монархомъ)—какъ сказано выше—должна скрѣплять и отношенія помѣщиковъ къ крестьянамъ». Категорическое это утвержденіе едва-ли можетъ быть поставлено рядомъ съ искусственными «предосторожностями» Руссо. Да и вообще Карамзинъ не разъ высказывался въ томъ смыслѣ, что безумно возставать противъ соціальныхъ перегородокъ и соціальнаго зла, проистекающаго изъ неравенства общественныхъ положеній, изъ деспотизма власти и богатства, изъ господства грубой силы надъ правомъ и разумомъ. «Основаніе гражданскихъ обществъ—писалъ онъ въ послѣдніе годы своей жизни—неизмѣнно: можете низъ поставить наверху, но будетъ всегда низъ и верхъ, воля и неволя, богатство и бѣдность, удовольствіе и страданіе. Для существа нравственнаго нѣтъ блага безъ свободы; но эту свободу даетъ не государь, не парламентъ, а каждый изъ насъ самому себѣ съ помощью божьею. Свободу мы должны завоевать въ своемъ сердцѣ миромъ совѣсти и довѣренностью къ Провидѣнію» (Неиздан. сочин., стр. 195). Итакъ, должно «завоевывать свободу въ своемъ сердцѣ», не вооружаясь противъ внѣшнихъ условій, мѣшающихъ выйти наружу этому свободному чувству; ну, а затѣмъ, все можетъ остаться по старому—и крѣпостное право, и лихоимство судей, и гнетъ бюрократіи. Мало того: всякая попытка искоренить вѣковое наслѣдственное зло, разрушить обвет-

шавшія общественныя формы, является по этому взгляду, какъ бы кощунствомъ надъ Провидѣніемъ, которое не даромъ же установило тотъ или другой порядокъ и сберегло обломки различныхъ историческихъ эпохъ. Это археологическое почтеніе къ старинѣ въ особенности развилось у Карамзина съ тѣхъ поръ, какъ онъ получилъ титулъ «исторіографа» Россійской Имперіи и погрузился съ особеннымъ усердіемъ въ изученіе той жизни, въ которой свободныя традиціи были вырваны съ корнемъ московскими князьями, а политическій застой возведенъ ими же на степень непреложнаго догмата. Отсюда почерпнулъ исторіографъ и новые аргументы для своей вражды къ преобразованіямъ, и свѣжее негодованіе противъ всѣхъ реформаторовъ вообще. Негодованіе это излилось бурнымъ потокомъ въ извѣстной «Запискѣ о древней и новой Россіи». «Всякая новость въ государственномъ порядкѣ—писалъ Карамзинъ—есть зло, къ коему надобно прибѣгать только по необходимости, ибо мы болѣе уважаемъ то, что̀ давно уважаемъ, и все дѣлаемъ лучше отъ привычки... Мудрые законодатели, принужденные измѣнять уставы политическіе, старались какъ можно менѣе отходить отъ старыхъ... Требуемъ болѣе мудрости охранительной, нежели творческой... Гораздо легче отмѣнить новое, нежели старое. Новости ведутъ къ новостямъ и благопріятствуютъ необузданностямъ произвола» (стр. 101). Вотъ вѣнецъ политической мудрости Карамзина, предъ которою умиляется г. Галаховъ и заставляетъ насъ умиляться также; вотъ послѣднее слово того умственнаго поворота, который, начавшись съ отвращенія къ революціи и пройдя недолгій путь туманнаго поклоненія европеизму, какъ

«высшей ступени человѣческаго развитія», ударился подъ конецъ въ глухія дебри азіатскаго застоя и неподвижности. Въ странѣ, преисполненной всяческаго старовѣрства и грубыхъ, окаменѣлыхъ предразсудковъ, Карамзинъ толковалъ о превосходствѣ «охранительной» силы предъ силою творческою и организующей; народу, задыхавшемуся подъ тяжестью вѣковаго гнета, онъ рекомендовалъ—избѣгать «новостей въ государственномъ порядкѣ» и страшиться «необузданностей произвола». Какъ много во всемъ этомъ умственной зрѣлости, публицистическаго такта и здраваго пониманія настоящихъ потребностей эпохи!

Съ такимъ-то образомъ мыслей, съ такими симпатіями и антипатіями, вошелъ Карамзинъ въ кругъ высшаго русскаго общества, въ которомъ, подъ прямымъ вліяніемъ самого государя, составилась довольно сильная фракція людей честныхъ и образованныхъ, готовыхъ на важныя уступки либеральнымъ стремленіямъ вѣка. Какое положеніе занялъ въ этомъ обществѣ Карамзинъ? какъ отнесся онъ къ борьбѣ идей, происходившей въ правительствѣ и отчасти въ литературныхъ кружкахъ? Чью программу взялся онъ поддерживать и на что устремилъ стрѣлы своей діалектики? Въ 1811 г., при личномъ знакомствѣ съ Александромъ Павловичемъ, онъ дебютируетъ «Запиской о древней и новой Россіи», изъ которой мы привели уже такую характеристическую цитату. Цѣль записки состояла въ томъ, чтобы подорвать кредитъ Сперанскаго и внушить государю, отличавшемуся своей подозрительностью, недовѣріе и даже опасеніе ко всѣмъ преобразовательнымъ мѣрамъ, предложеннымъ его умнымъ и энергическимъ совѣтникомъ. «Рѣзкая, хотя и благонамѣ-

ренная, критика того, что было совершено въ Россіи въ первое десятилѣтіе XIX вѣка, не понравилась государю», говоритъ г. Галаховъ. Но Карамзинъ не унывалъ и настойчиво продолжалъ свою агитацію, поддерживаемый всѣми ретроградными элементами въ правительствѣ. Когда онъ, въ 1816 г., пріѣхалъ въ Петербургъ съ первыми томами своей исторіи, либералы отъ него отшатнулись, а враги Сперанскаго встрѣтили его дружески, какъ стараго союзника; самъ графъ Аракчеевъ обласкалъ его и замолвилъ за него слово государю, — то вѣское слово, которое имѣло рѣшительное вліяніе какъ на ускореніе печатанія исторіи, такъ и на награду, данную ея автору. «Литераторы и правительственныя лица — читаемъ мы у г. Галахова — съ разными чувствами встрѣтили москвича, который хотя не имѣлъ никакого участія въ администраціи, но понималъ, что дѣлалось въ Россіи и судилъ о томъ откровенно, съ извѣстной точки зрѣнія. Если многіе изъ первыхъ видѣли въ немъ либеральнаго нововводителя, то нѣкоторые между вторыми разумѣли его, какъ сторонника антилиберальныхъ идей въ политикѣ. Самого Сперанскаго, противъ котораго главнѣйшимъ образомъ направлена «Записка о древней и новой Россіи», не было въ столицѣ, но были другіе, на глаза которыхъ реформаторъ въ словесности отсталъ отъ вѣка по своимъ понятіямъ о реформахъ государственныхъ». Откуда вышли эти разныя чувства, съ которыми Карамзинъ былъ встрѣченъ въ Петербургѣ? справедливо ли упрекали его въ отсталости понятій о реформахъ государственныхъ? — на все это г. Галаховъ отвѣчаетъ весьма уклончиво и опять-таки старается представить дѣло въ благопріятномъ свѣтѣ

для Карамзина. Прежде всего онъ пробуетъ уравновѣсить нападки Карамзина на Сперанскаго съ тѣми осужденіями, которыя находилъ самъ Карамзинъ въ лагерѣ доносчиковъ, подобныхъ Кутузову:—если Карамзинъ возставалъ противъ тогдашнихъ реформаторовъ за то, что они стремились слишкомъ далеко впередъ, то, съ другой стороны, въ русскомъ обществѣ встрѣчалось не мало лицъ, полагавшихъ, что и самого Карамзина слѣдуетъ, для пользы отечества, осадить нѣсколько назадъ. Шишковъ съ компаніей увѣряли, напримѣръ, что реформа литературнаго слога, произведенная Карамзинымъ и его послѣдователями, скрывала подъ собою неблагонамѣренное направленіе мысли и чувства; различіе между языками славянскимъ и русскимъ, установленное этою реформою, объяснялось суровымъ славянофиломъ, какъ результатъ злостнаго желанія отдѣлить духовныя книги отъ свѣтскихъ и привлечь умъ и сердце читателей къ однимъ свѣтскимъ писаніямъ, гдѣ столько разставлено сѣтей къ «помраченію ума и уловленію нравственности». «Языкъ— провозглашалъ Шишковъ, цѣлясь въ своихъ противниковъ— есть душа народа, зеркало нравовъ, показатель просвѣщенія, неумолчный проповѣдникъ дѣлъ. Возвышается народъ,— возвышается языкъ; благонравенъ народъ,—благонравенъ языкъ. Никогда безбожникъ не можетъ говорить языкомъ Давида: слава небесъ не открывается ползающему въ землѣ червю. Никогда развратный не можетъ говорить языкомъ Соломона; свѣтъ мудрости не озаряетъ утопающаго въ страстяхъ и порокахъ... Гдѣ нѣтъ въ сердцахъ вѣры, тамъ нѣтъ въ языкѣ благочестія. Гдѣ ученіе основано на мракѣ лжеумствованій, тамъ въ языкѣ не воз-

сіяетъ истина; тамъ въ наглыхъ и невѣжественныхъ писаніяхъ господствуетъ одинъ только развратъ и ложь» (стр. 76). Это обращеніе ad hominem — пріемъ донынѣ весьма употребительный между нашими «патріотическими» публицистами—высказывалось, по крайней мѣрѣ, гласно, въ печати, и допускало публичное же возраженіе со стороны обвиняемыхъ лицъ; но не всѣ враги Карамзина довольствовались этимъ не вполнѣ надежнымъ средствомъ вредить ему. Между ними же нашелся одинъ, а именно Кутузовъ, кураторъ московскаго университета, который, при каждомъ возвышеніи Карамзина, громилъ еще его негласными доносами, адресованными то къ тому, то къ другому изъ высокопоставленныхъ лицъ. Такъ напримѣръ, по случаю пожалованія Карамзину ордена Владиміра 3-й степени въ 1810 году, Кутузовъ, возмущенный до глубины души этимъ отличіемъ, писалъ къ министру народнаго просвѣщенія, графу А. К. Разумовскому: «Не могу равнодушно глядѣть на распространяющееся у насъ уваженіе къ сочиненіямъ г. Карамзина. Вы знаете, что оныя исполнены вольнодумческаго и якобиническаго яда... Карамзинъ явно (!!) проповѣдуетъ безбожіе и безначаліе. Не орденъ ему надобно бы дать, давно бы пора его запереть... Ваше есть дѣло открыть государю глаза и показать Карамзина во всей его гнусной наготѣ, яко врага Божія и яко орудіе тьмы» (Письма К-на къ Дмитріеву). По выраженію: «вы знаете», употребленному Кутузовымъ въ этомъ доносѣ, можно думать, что и графъ Разумовскій, преклонявшій, какъ извѣстно, свой слухъ къ внушеніямъ извѣстнаго клерикала и обскуранта Жозефа де-Местра, былъ тоже не прочь подмѣтить

въ сочиненіяхъ Карамзина разныя «сумнительныя мѣста». Отсюда видно, что Карамзинъ, уже въ зрѣлыхъ лѣтахъ, отказавшись отъ своихъ либеральныхъ стремленій, все еще возбуждалъ противъ себя подозрительность невѣжества кое-какими пріемами мысли и оборотами рѣчи, сохранившимися у него отъ прежнихъ вліяній, и еслибы г. Галаховъ ограничился указаніемъ превосходства Карамзина надъ Кутузовымъ, Шишковымъ и другими подобными же дѣятелями, то мы ни на одну минуту не стали бы противорѣчить ему и почли бы несправедливымъ охлаждать его симпатію, совершенно законную въ этихъ предѣлахъ. Мы сказали бы: да, Карамзинъ, какъ реформаторъ слога, какъ издатель журналовъ, пріучившихъ публику къ этого рода чтенію, наконецъ, какъ человѣкъ, европейски - образованный, стоялъ цѣлою головою выше тупыхъ неучей и злонамѣренныхъ доносчиковъ, способныхъ задушить самую невинную мысль и затравить ни за что, ни про что кротчайшаго въ мірѣ индивидуума: защитникъ золотой середины, онъ не одобрялъ, напримѣръ, ни «министерства затмѣнія», руководимаго Шишковымъ, ни страшныхъ военныхъ поселеній, заведенныхъ Аракчеевымъ, ни губительной цензуры, стоявшей, по его выраженію, «какъ черный медвѣдь», на дорогѣ писателя; въ немъ нашлось столько трезвости мысли и стойкости убѣжденій, чтобы не поддаться мистическому повѣтрію, которое во второй половинѣ царствованія Александра Павловича, повѣяло у насъ сильнѣе и вреднѣе, чѣмъ при своемъ появленіи, въ послѣдней четверти XVIII столѣтія. Всего этого, однако, слишкомъ недостаточно для того, чтобы посадить Карамзина на такомъ высокомъ пьедесталѣ, какой усили-

вается создать ему г. Галаховъ. Дальше этой золотой середины Карамзинъ никогда не пошелъ, и коль скоро поднималась рѣчь не о палліативныхъ только средствахъ къ ограниченію зла, а о совершенномъ его искорененіи путемъ широкихъ и послѣдовательныхъ реформъ, то онъ сейчасъ же начиналъ защищать statu quo, обнаруживая свои точки соприкосновенія съ наиболѣе отсталыми партіями въ обществѣ и правительствѣ. Такъ дѣйствовалъ онъ по отношенію къ Сперанскому и вообще ко всѣмъ либеральнымъ представителямъ тогдашней администраціи, оказывая вольную или невольную услугу тому самому мракобѣсію, противъ излишествъ котораго онъ же впослѣдствіи поднималъ свой голосъ—конечно, лишь при удобномъ случаѣ и, большею частію, по секрету. На этомъ основаніи баронъ Корфъ имѣлъ полное право сказать о Карамзинѣ, что «современная публика нашла въ его запискѣ (о древней и новой Россіи) свое собственное темное неудовольствіе, облеченное въ форму изящной рѣчи», и что записка эта «представляетъ собою итогъ толковъ тогдашней консервативной оппозиціи и тѣхъ массъ, которыя, обветшавъ, требовали обновленія». Онъ же полагаетъ, что изъ сужденій Карамзина о Сперанскомъ «впослѣдствіи образовались важнѣйшія обвиненія противъ государственнаго секретаря и, частію, самыя пружины, употребленныя къ его низверженію» («Жизнь графа Сперанскаго», томъ I, стр. 132, 142—3). Г. Галахову извѣстны факты, изложенные въ книгѣ барона Корфа, и онъ даже соглашается, повидимому, съ нѣкоторыми мнѣніями біографа Сперанскаго; но его собственные выводы мало выигрываютъ отъ этого, а историческая критика остается, попрежнему,

одностороннею и пристрастною въ пользу одного изъ обсуждаемыхъ направленій. Баронъ Корфъ, напримѣръ, называетъ Карамзина органомъ «консервативной оппозиціи» и темнаго неудовольствія «обветшавшихъ массъ», а г. Галаховъ беретъ изъ этой характеристики только одно первое слово и объявляетъ, что оно справедливо, такъ-какъ Карамзинъ выражалъ, дѣйствительно, «консервативное мнѣніе о работахъ Сперанскаго» (стр. 100). Дальнѣйшія же поясненія онъ опускаетъ совсѣмъ, и выходитъ, какъ-будто бы баронъ Корфъ говоритъ то же самое, что и г. Галаховъ. Между тѣмъ разница въ ихъ мнѣніяхъ слишкомъ замѣтна, и въ то время, какъ г. Галаховъ признаетъ Карамзина «консерваторомъ въ разумномъ смыслѣ этого слова» (стр. 99), баронъ Корфъ иронически замѣчаетъ: «чего именно желалъ Карамзинъ, то остается, по крайней мѣрѣ, для насъ неразгаданнымъ... въ запискѣ только критика новаго, но нѣтъ ни критики стараго, ни окончательнаго вывода, въ которомъ выразилось бы положительное заключеніе сочинителя». Для г. Галахова, напротивъ, совершенно понятно, чего хотѣлъ Карамзинъ: онъ хотѣлъ, изволите видѣть, «утвердить систему государственныхъ улучшеній на историческомъ подножіи, т. е. допускалъ поступательное движеніе народа впередъ не иначе, какъ на условіяхъ прошедшей и настоящей его жизни, на соображеніяхъ съ дѣйствительными его потребностями». Опять туманныя фразы, отводящія глаза читателю; опять шифрованная грамота, къ которой невозможно подобрать ключа! Какъ можетъ совершиться поступательное движеніе при сохраненіи всѣхъ условій настоящей жизни? Кто сказалъ г. Галахову, что дѣйствительныя

потребности народа, быть можетъ, неясно имъ сознаваемыя, были поняты Сперанскимъ хуже, чѣмъ Карамзинымъ? Впрочемъ, скажемъ спасибо автору и за то уже, что онъ не рѣшился перенести цѣликомъ въ свою исторію словесности тѣхъ рѣзкихъ филиппикъ противъ русскаго либерализма, которыми онъ украсилъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, свою статью, написанную по поводу столѣтней годовщины рожденія Карамзина. «Своими сочувствіями — писалъ тогда г. Галаховъ—Карамзинъ стоялъ по ту сторону революціи, не допуская внутренней связи между нею и вѣкомъ просвѣщенія, то есть XVIII вѣкомъ до 1789 г.; либералы, напротивъ, стояли по эту сторону революціи съ такими мнѣніями и требованіями, которыя Карамзинъ уподоблялъ саранчѣ, вышедшей изъ оставленныхъ ею (то-есть революціею) сѣмянъ. Согласіе между нимъ и ими оказывалось невозможнымъ... Карамзина трудно было сбить на этомъ пунктѣ, потому что, надобно сказать правду, онъ былъ умнѣе либералистовъ и не въ примѣръ ихъ здравомысленнѣе... Независимо отъ разногласія въ мнѣніяхъ, либералисты представляли для Карамзина еще другую слабую сторону. Онъ умѣлъ бы почтить противоположный образъ мыслей, еслибы эти мысли относились къ искреннимъ убѣжденіямъ, еслибы онѣ были не только сознательно восприняты умомъ, ищущимъ истины, но и прочно приняты сердцемъ, желающимъ употребить истину на служеніе людямъ... Въ либералистахъ, какъ видно, онъ не замѣчалъ требуемой имъ нравственной состоятельности» («Журн. Министер. Народн. Просвѣщ.» 1867 г., № 1). Отдѣлавъ гуртомъ всѣхъ «либералистовъ» за недостатокъ здра-

вомыслія и искренности убѣжденій, г. Галаховъ одобрялъ Карамзина за его презрительный отзывъ о статьяхъ Куницына и находилъ похвальнымъ его равнодушіе къ такимъ капитальнымъ литературнымъ явленіямъ, какимъ была, въ свое время, книга Н. Тургенева: «Опытъ теоріи налоговъ». О Сперанскомъ г. Галаховъ не говорилъ прямо; но такъ-какъ, по его словамъ, «организаціонныя работы Сперанскаго производились въ томъ же либеральномъ направленіи», то, понятно, что и послѣдній подпадалъ, наряду съ Куницынымъ и Тургеневымъ, огульному осужденію г. Галахова. Нынѣ г. Галаховъ не такъ строгъ къ нашимъ политическимъ теоретикамъ александровскаго времени и, обвиняя ихъ (словами Карамзина) «въ излишнемъ уваженіи формъ государственности,» въ ущербъ духу, наполняющему эти формы, съ тѣмъ вмѣстѣ считаетъ и Карамзина несвободнымъ отъ упрека въ излишнемъ пренебреженіи къ государственному строю, въ излишней увѣренности, что индивидуальное развитіе возможно и безъ хорошихъ учрежденій. Но упрекъ, мимоходомъ брошенный, не нарушаетъ общаго хвалебнаго тона книги, и г. Галаховъ, даже высказывая его, пользуется случаемъ сослаться на одну цитату, отрытую имъ въ «Исторіи государства Россійскаго» (103). Что же касается до этого послѣдняго произведенія, то, въ разборѣ его, г. Галаховъ находитъ множество поводовъ отнестись сочувственно къ образу мыслей Карамзина. «Исторію государства россійскаго» онъ разсматриваетъ въ связи съ «Запиской о древней и новой Россіи», и уже по этому одному обстоятельству можно предвидѣть, какъ снисходительно отнесется онъ къ ея недостаткамъ и какъ старательно выставитъ впередъ

всѣ ея достоинства, даже очень спорныя и сомнительныя. Исторію Карамзина, такъ же какъ и его «Записку», г. Галаховъ признаетъ сочиненіемъ тенденціознымъ, то-есть имѣющимъ цѣлью не только познакомить насъ съ событіями минувшаго, но и расположить ихъ по личному идеалу историка, навести читателя, преднамѣренною ихъ группировкою, на практическіе выводы, приложимые къ современной жизни. Разсказывая историческія происшествія, слѣдя за возникновеніемъ и развитіемъ Московскаго государства, Карамзинъ всегда имѣетъ въ виду вопросы, возбужденные современностью, и нерѣдко выходитъ самъ изъ-за кулисъ повѣствованія, чтобы провести какую-нибудь параллель или выдвинуть начало, ему любезное. Въ своемъ предисловіи къ «Исторіи» Карамзинъ пишетъ: «должно знать, какъ искони мятежныя страсти волновали мятежное общество и какими способами благотворная власть ума обуздывала ихъ бурныя стремленія, чтобы учредить порядокъ, согласить выгоды людей и даровать имъ возможное на землѣ счастіе». Хотя въ этихъ строкахъ нѣтъ прямаго указанія на французскую революцію, но, по мнѣнію г. Галахова, оно безспорно подразумѣвается, тѣмъ болѣе, что позднѣе, въ характеристикѣ Іоанна Грознаго, Карамзинъ выискалъ-таки случай упомянуть прямо о «дикихъ страстяхъ», свирѣпствовавшихъ во время французской революціи. «Исторія», на ряду съ «Запиской», отстаиваетъ крѣпостное право, и Карамзинъ не только не осуждаетъ Годунова за прикрѣпленіе крестьянъ къ землѣ, но еще, напротивъ, видитъ въ этомъ законѣ добродѣтельное желаніе утвердить между владѣльцами и сельскими работниками «союзъ неизмѣнный, какъ бы семействен-

ный, основанный на единствѣ выгодъ, на благосостояніи общемъ». Въ «Запискѣ» Карамзинъ нападалъ на Сперанскаго за его разрушительныя стремленія, за его намѣренія—пошатнуть или, по крайней мѣрѣ, видоизмѣнить установившійся вѣками строй государственной жизни; въ «Исторіи» онъ идеализируетъ и этотъ строй, и типъ власти, способствовавшій его установленію. Соотвѣтственно этому коренному началу построенъ и весь планъ «Исторіи государства Россійскаго». Немудрено, что, при такомъ взглядѣ на развитіе нашей исторической жизни, Карамзинъ проглядѣлъ участіе въ ней народа, который всегда представляется у него тупою и безличною массою, только напрасно мѣшающею грандіозному шествію государственнаго идеала. Не будь этого народа, этой темной толпы, ни на что не нужной,—и россійская исторія получила бы еще болѣе величія и назидательности, сосредоточившись безраздѣльно въ біографіяхъ двухъ-трехъ лицъ, заправлявшихъ ея судьбами. Г. Галаховъ самъ замѣчаетъ, что такой историческій взглядъ противорѣчитъ въ конецъ всѣмъ современнымъ требованіямъ науки; но, какъ усердный адвокатъ, онъ старается перемѣстить центръ тяжести возраженій на ту точку, на которой они были бы менѣе серьезны и опасны для историка государства Россійскаго. «Карамзина—говоритъ онъ—упрекали въ томъ, что онъ изображеніе внутренней жизни народа не вставлялъ въ самый разсказъ, а помѣщалъ его въ отдѣльныя главы, примыкая ихъ, какъ бы дополненіе, къ концу каждаго періода,—упрекъ, по моему, незаслуженный, отзывающійся педантизмомъ. Не все ли равно, гдѣ бы ни стояло описаніе внутренняго быта, лишь бы оно было

надлежащее?» Какъ будто упреки Карамзину касаются, дѣйствительно, только выбора мѣста для описанія внутренней жизни народа, а не того, что эта жизнь совершенно пренебрежена имъ и разсматривается, какъ лишній, механическій придатокъ къ исторіи государства. Какъ будто въ этомъ мѣстѣ заключается вся сила, и нужно только переплести нѣсколько иначе главы Карамзинскаго труда, то-есть поставить первыя послѣдними и послѣднія первыми, чтобы легкомысленные упреки упали сами собою. Главная же суть обвиненія—бездушность идеала писателя и невѣрность историческихъ характеристикъ, искаженныхъ, съ умысломъ или безъ умысла, ради предвзятой узкой теоріи—оставляется г. Галаховымъ совсѣмъ безъ отвѣта. «Не наше—говоритъ онъ—дѣло объяснять, вѣрны ли въ историческомъ смыслѣ характеристики лицъ у Карамзина, то-есть согласны ли онѣ съ дѣйствительными ихъ образами въ лѣтописяхъ и иныхъ памятникахъ»; не его же дѣло опредѣлить и степень «просвѣтительнаго содержанія» въ самомъ идеалѣ Карамзина. Устранивъ себя отъ прямаго сужденія объ этихъ предметахъ, обязательнаго для историка просвѣтительныхъ идей, г. Галаховъ не уберегся, однако, отъ слѣдующей патріотической тирады: «какъ бы ни отзывалась критика о научномъ значеніи «Исторіи государства Россійскаго»—но по важности и благородству идеаловъ (?), по искусству, съ какимъ они проведены, по силѣ патріотическаго чувства, равно по искусству постройки и красотѣ внѣшней формы, трудъ Карамзина есть твердый памятникъ, воздвигнутый во славу родной земли и въ свою собственную славу: онъ будетъ говорить потомству о своемъ

творцѣ до тѣхъ поръ, пока, выражаясь словами поэта, «есть у насъ отечество!» (стр. 110). Громко, но неубѣдительно.

V.

Мы пишемъ не курсъ литературы, а рецензію на книгу, и находимся, слѣдовательно, въ нѣкоторой невольной зависимости отъ ея автора. О чемъ онъ говоритъ подробно и доказательно, о томъ мы должны упоминать лишь вскользь съ единственной цѣлью—не пройти молчаніемъ хорошихъ сторонъ разбираемаго труда; но то, что̀ упущено авторомъ изъ виду или истолковано неправильнымъ образомъ, то и должно составить предметъ нашего особеннаго вниманія. По этимъ соображеніямъ, мы не распространялись о качествахъ литературнаго слога Карамзина, о борьбѣ, возникшей изъ-за него между поклонниками славянщины и адептами новой литературной школы, между «Бесѣдой» и «Арзамасомъ»; мы не останавливались также на спеціальныхъ особенностяхъ того сантиментальнаго направленія, которое, появившись до Карамзина, достигло при немъ наибольшаго развитія; подробное разсмотрѣніе журнальной дѣятельности Карамзина также не входило въ наши разсчеты. Всѣмъ этимъ занялся старательно г. Галаховъ, и его объясненія, по скольку они касаются второстепенныхъ сторонъ дѣла и поддерживаются обширной начитанностью автора, могутъ быть признаны удовлетворительными. Изъ этихъ объясненій видно довольно ясно: какое измѣненіе внесено Карамзинымъ въ строй русскаго языка, откуда занесены къ намъ первыя сѣ-

мена сантиментализма въ драмѣ и въ повѣсти, и въ какомъ духѣ относились журналы Карамзина къ политическимъ событіямъ въ Европѣ и къ дѣятельности правительства въ нашемъ отечествѣ. Знакомство съ литературою предмета обнаружено въ достаточной степени; цитатъ разнаго сорта— множество. Но начитанность не замѣняетъ таланта, и узкость понятій еще ярче сквозитъ между фактическими знаніями. Покуда рѣчь идетъ о слогѣ карамзинистовъ и шишковистовъ, г. Галаховъ совершенно на своемъ мѣстѣ; содержаніе «Марѳы Посадницы» и разныхъ статей, помѣщенныхъ въ «Московскомъ журналѣ» и въ «Вѣстникѣ Европы», онъ изучилъ также весьма изрядно; о крайностяхъ сантиментализма, проявившагося, съ легкой руки Карамзина, въ русскихъ чувствительныхъ путешествіяхъ, онъ подаетъ мнѣнія далеко не безъосновательныя. Когда же автору приходится высказывать приговоръ надъ сущностью взглядовъ, выражаемыхъ изящнымъ слогомъ, надъ общественнымъ значеніемъ литературной роли Карамзина, — онъ постоянно хитритъ, перетолковываетъ свои же данныя, впадаетъ въ диѳирамбъ вмѣсто критики и преднамѣренно умалчиваетъ обо всемъ, что могло бы бросить иной свѣтъ на вопросы, имъ обсуждаемые. Образчики всего этого мы представляли уже выше нашимъ читателямъ; но мы исполнили бы только половину нашей задачи, еслибы, рядомъ съ радужнымъ изображеніемъ Карамзина, не поставили его настоящій историческій обликъ въ томъ видѣ, въ какомъ рисуется онъ по историческимъ свѣдѣніямъ и по собственнымъ сочиненіямъ этого писателя. При этомъ мы воспользуемся и фактами, приведенными у г. Галахова, но сгруппируемъ ихъ нѣсколько иначе, подъ дру-

гимъ угломъ зрѣнія, и дополнимъ тѣми необходимыми комментаріями, которыхъ не пожелалъ дать намъ авторъ «Исторіи русской словесности».

Литературная дѣятельность Карамзина началась въ осьмидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія, и первый періодъ ея прошелъ подъ вліяніемъ того мистицизма, который появился въ Европѣ, какъ противодѣйствіе сильно распространявшемуся ученію французскихъ энциклопедистовъ. Этотъ мистицизмъ, извѣстный подъ именемъ масонства, имѣлъ нѣкоторое сродство съ деистической философіей, и масоны, такъ же какъ и деисты, послѣдователи Локка, стремились осуществить въ практической жизни «религію разума», или «натуральную религію», чуждую догматизма и конфессіональной розни. Но это тожество основнаго принципа касалось только сферы религіозныхъ вопросовъ, да и тутъ еще масонство прихватило, съ теченіемъ времени, столько наносныхъ элементовъ, что, благодаря имъ, «естественная религія» обратилась въ какой-то своеобразный культъ, замѣнившій старую обрядность новыми манипуляціями. Въ вопросахъ же науки и политической жизни масонство отошло еще дальше отъ своего первоначальнаго источника, — и въ то время, какъ деисты раціональнаго толка расширяли область научной критики и проповѣдовали политическую свободу, европейскіе мистики пытались воскресить элевзинскія таинства въ наукѣ и относились съ пренебреженіемъ къ правильному развитію гражданскихъ и политическихъ формъ. Только немногія фракціи масонскаго ордена примкнули къ политической оппозиціи и организовали изъ себя тайныя общества, имѣвшія цѣлью преобразованіе государственнаго строя; эти-

то уклоненія и возбудили въ правительствахъ недовѣріе къ масонскимъ ложамъ вообще. Въ русскомъ масонствѣ не было совсѣмъ политически-оппозиціоннаго характера, который проникнулъ отчасти въ западныя масонскія ложи, и наши мистики, погружаясь съ большою охотою въ отысканіе философскаго камня, мало интересовались недостатками общественной организаціи, какъ бы ни были они крупны и возмутительны для человѣческаго чувства. Нравственное совершенствованіе, которое озабочивало собой русскихъ масоновъ, могло уживаться, по ихъ мнѣнію, со всякой общественной формой, со всякимъ политическимъ устройствомъ; поэтому дѣятельность ихъ ограничивалась филантропическими подвигами, — правда, весьма почтенными, но слишкомъ недостаточными, чтобы произвести серьезное измѣненіе къ лучшему,—да пропагандой «нравоученія и высокомыслія», въ противоположность «низкому любомудрію» новѣйшихъ философовъ. «Развратъ въ наукахъ — твердили масоны — происходитъ отъ незнанія источника, изъ котораго онѣ проистекли, и отъ незнанія предмета, куда онѣ текутъ. Науки суть плодъ созрѣвшаго безсмертнаго человѣческаго духа. Если человѣкъ цѣлую жизнь упражняется въ томъ же, въ чемъ и животныя, то наука разума не только ему безполезна, но и пагубна. Когда же человѣкъ имѣетъ главною своею цѣлію совершенство духа, состоящее въ познаніи безсмертныхъ истинъ, то наука разума приноситъ ему пользу». Подъ этимъ «упражненіемъ въ томъ же, въ чемъ упражняются и животныя», масоны разумѣли послѣдованіе той философской школѣ, которая не проклинала человѣческихъ страстей и склонностей, но, признавая ихъ за благодѣтельный даръ

природы, учила не искоренять ихъ, а только сдерживать въ извѣстныхъ границахъ и направлять къ хорошимъ цѣлямъ.

Что же касается до политическихъ преобразованій, то они вовсе исключались изъ програмы «Дружескаго Общества». Лопухинъ, одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ членовъ этого кружка, объясняя разницу между русскимъ и западно-европейскимъ масонствомъ, прямо говоритъ: «нашего общества предметъ былъ добродѣтель и стараніе, исправляя себя, достигать ея совершенства при сердечномъ убѣжденіи въ совершенномъ ея въ насъ недостаткѣ; а система наша — что Христосъ начало и конецъ всякаго блаженства». Тайныя же политическія общества, по мнѣнію Лопухина, основаны на томъ, чтобы—«отвергать Христа, а обществъ оныхъ предметъ: заговоръ буйства, побуждаемаго глупымъ стремленіемъ къ необузданности и неестественному равенству». Въ своемъ масонскомъ катихизисѣ Лопухинъ предписываетъ правовѣрному масону чтить правительство и «во всякомъ страхѣ повиноваться ему, не только доброму и кроткому, но и строптивому». Нельзя рѣзче осудить всѣ реформаторскія попытки, выходящія изъ среды самого общества, помимо или противъ желанія вліятельныхъ лицъ; нельзя выразить болѣе терпѣливой готовности сносить ошибки и притѣсненія силы. Масоны не только чуждались политическихъ замысловъ, но и ихъ религіозное вольнодумство, — противъ котораго не совсѣмъ безъ основанія витійствовали хранители ортодоксіи, — будучи въ сущности отрицаніемъ конфессіональныхъ распрей, прекрасно уживалось, однако, съ формальнымъ, исключительнымъ догматизмомъ господствующаго вѣроученія. Фи-

лантропическое настроеніе масоновъ также не было на столько сильно, чтобы оттолкнуть ихъ отъ самаго негуманнаго учрежденія—крѣпостнаго права,—и тотъ же Лопухинъ, желая видѣть крестьянъ благоденствующими, съ тѣмъ вмѣстѣ, отстаивалъ крѣпостное право, нужное, по его мнѣнію, «для обузданія народа». Пробывъ около трехъ лѣтъ въ новиковскомъ кружкѣ, Карамзинъ надолго сохранилъ въ себѣ нѣкоторыя черты его вліянія. Отъ природы склонный къ меланхоліи и самоуглубленію, одарённый сильной фантазіей и чувствительностью, болѣзненно развившейся отъ чтенія сантиментальной беллетристики, Карамзинъ легко поддался ученію, которое требовало отъ человѣка внутренней работы надъ самимъ собою, сулило въ отдаленной перспективѣ возвращеніе золотаго вѣка и, узаконяя гуманный взглядъ на человѣческую личность, не смущало однако своихъ адептовъ необходимостью опасной борьбы противъ учрежденій, противорѣчащихъ этому гуманному взгляду. Словомъ, всѣ выдающіяся стороны натуры Карамзина находили себѣ удовлетвореніе въ «Дружескомъ Обществѣ»; умственное же развитіе его, видимо, не возмущалось крайнимъ невѣжествомъ людей, отрицавшихъ всѣ новѣйшія пріобрѣтенія науки. Между тѣмъ первыя впечатлѣнія молодости сильно ложатся на воспріимчивую душу—и вотъ мы замѣчаемъ, что, даже отрѣшившись впослѣдствіи отъ мистическихъ бредней своихъ бывшихъ друзей, Карамзинъ навсегда остался масономъ по многимъ существеннымъ пунктамъ своихъ политическихъ и нравственныхъ убѣжденій. Уваженіе къ личности человѣка, независимо отъ ея соціальнаго вѣса и значенія, твердое сознаніе, что и внѣ государственной службы, одною частною

дѣятельностью, можно принести пользу обществу, полнѣйшая вѣротерпимость, блистательно проявившаяся у Лопухина во время производства имъ слѣдствія надъ духоборцами — все это хорошія черты масонскаго вліянія, и ими Карамзинъ обязанъ своему трехлѣтнему пребыванію въ кругу людей, отличавшихся своею общественною благотворительностью и гуманностью личнаго характера, пренебрегавшихъ чинами и почестями, и смотрѣвшихъ безъ фанатизма на различіе религіозныхъ понятій и исповѣданій. Уже много лѣтъ спустя по выходѣ изъ масонскаго общества, Карамзинъ отзывается равнодушно о чиновничьей карьерѣ и, не выражая къ ней никакой зависти, остается вполнѣ доволенъ своимъ скромнымъ, но независимымъ призваніемъ литератора. Въ одномъ стихотвореніи, написанномъ вскорѣ по возвращеніи изъ-за границы, Карамзинъ говоритъ:

Прости! твой другъ умретъ тебя достойнымъ,
Послушнымъ истинѣ, въ душѣ своей покойнымъ.
Не скажутъ вѣкъ объ немъ, чтобъ онъ чиновъ искалъ,
Чтобъ знатнымъ подлецамъ когда-нибудь ласкалъ.

(Соч. Карамзина, изд. 1848 г., стр. 49).

И тотъ же взглядъ высказываетъ онъ черезъ шесть лѣтъ въ письмѣ къ И. И. Дмитріеву изъ Москвы. «Видно—пишетъ онъ своему другу, который, вѣроятно, жаловался на какихъ-нибудь «знатныхъ подлецовъ» — что приказныя хлопоты не свойственны душѣ твоей, когда онѣ такъ тревожатъ и гнетутъ ее. Слѣдственно, дорого платишь ты за свое оберъ-прокурорство. (Дмитріевъ служилъ тогда оберъ-прокуроромъ въ сенатѣ.) Для такихъ упражненій надобно имѣть самую холодную и песчаную душу: иначе бѣдная пропадетъ съ грусти. Лѣнивый верблюдъ проходитъ благопо-

лучно по мертвой степи Каменистой Аравіи; гордый, пламенный конь томится, сохнетъ и умираетъ среди песчаныхъ ея морей» (Письма Карамзина къ Дмитріеву. стр. 96). Въ бытность свою при дворѣ онъ выражался не менѣе рѣзко объ интригахъ и проискахъ, происходившихъ предъ его глазами: «Мнѣ гадки — писалъ онъ къ тому же лицу — и низкіе честолюбцы, и низкіе корыстолюбцы. Дворъ не возвыситъ меня. Люблю только любить государя. Къ нему не лѣзу и не полѣзу» (Ibid. стр. 248). Свою литературную профессію Карамзинъ ставилъ чрезвычайно высоко и не давалъ ее въ обиду передъ чиновническими притязаніями: талантливый писатель могъ быть, по его мнѣнію, столько же полезенъ отечеству, какъ и самый важный государственный сановникъ. Говоря въ одномъ своемъ стихотвореніи о вліяніи изящныхъ искусствъ на развитіе человѣческихъ обществъ, онъ слѣдующимъ образомъ характеризуетъ значеніе поэтовъ и художниковъ, которыхъ называетъ любимцами Феба:

Они безъ власти, безъ короны,
Даютъ умомъ своимъ законы;
Ихъ кисть, рѣзецъ, струна и гласъ
Играютъ нѣжными душами,
Улыбкой, вздохами, слезами,
И чувства возвышаютъ въ насъ.

(Соч. Карамзина, стр. 143).

Это довѣріе къ умственной власти, высказанное еще въ концѣ прошлаго столѣтія, заслуживаетъ, конечно, всякой похвалы, и примѣръ Карамзина, доказавшаго возможность прочнаго положенія, пріобрѣтеннаго одними литературными заслугами, не прошелъ безслѣдно для русскаго общества. Въ его лицѣ литература и наука впервые поднялись на ту высоту, на которую прежде ставились у насъ только круп-

ный чинъ или знатное происхожденіе; не имѣя никакого громкаго титула, ни значительнаго оффиціальнаго мѣста, русскій историкъ входилъ, «не стыдясь», въ высшій кругъ генераловъ и министровъ, и «смотрѣлъ имъ смѣло въ глаза». По этой причинѣ Николай Тургеневъ, современникъ Карамзина, далеко не раздѣлявшій его взглядовъ на вещи, относился къ нему съ уваженіемъ и называлъ его «литераторомъ въ самомъ широкомъ и прекрасномъ значеніи этого слова» (La Russie et les Russes, I, стр. 325). Карамзинъ, по увѣренію Тургенева, никогда и не хотѣлъ быть ничѣмъ другимъ: императоръ Александръ предлагалъ ему нѣсколько разъ портфель министра народнаго просвѣщенія, но чуждый тщеславія писатель постоянно отказывался отъ этой чести, довольствуясь званіемъ исторіографа и личнымъ расположеніемъ государя. Отсутствіе фанатизма и разумная терпимость ко всѣмъ религіознымъ убѣжденіямъ также должны быть поставлены въ заслугу Карамзину; усвоивъ себѣ этотъ взглядъ въ масонскомъ обществѣ, онъ никогда уже не отказывался отъ него и выхвалялъ Вольтера преимущественно за то, что «онъ распространилъ взаимную терпимость въ вѣрахъ, которая сдѣлалась характеромъ нашихъ временъ, и наиболѣе посрамилъ гнусное лжевѣріе, которому еще въ началѣ XVIII вѣка приносились кровавыя жертвы въ Европѣ». Не забудемъ упомянуть и о филантропическихъ чувствахъ Карамзина, объ его готовности помочь человѣку въ бѣдѣ или въ опасности (извѣстно, что его ходатайство спасло Пушкина отъ монастырскаго заключенія), о той благосклонной мягкости въ житейскихъ отношеніяхъ, которую Карамзинъ требовалъ отъ каждаго, считая ее «цвѣтомъ общежитія, своего

рода добродѣтелью, слѣдствіемъ утонченнаго человѣколюбія, которое поставляетъ себѣ въ обязанность и малыми знаками, и ласковымъ словомъ, привѣтливымъ взоромъ—оказывать ближнему благорасположеніе». Не преувеличивая важности этихъ житейскихъ добродѣтелей,—притомъ же ограниченныхъ въ своемъ дѣйствіи только кружкомъ лицъ, близкихъ къ Карамзину и принадлежавшихъ къ одному съ нимъ общественному слою, — можно однако сказать, что онѣ составляли утѣшительное явленіе въ той средѣ, гдѣ грубость нравовъ пустила глубокіе корни, гдѣ гуманное обращеніе съ людьми казалось ненужною поблажкою, а въ офиціальныхъ сферахъ—даже «бездѣйствіемъ власти», забывающей свое прямое назначеніе вселять повсюду страхъ и трепетъ.

Но этими хорошими сторонами не исчерпывалось вліяніе масонства на Карамзина. Проповѣдуя любовь къ ближнимъ, масоны нимало не цѣнили тѣхъ общественныхъ учрежденій, которыя могли бы гарантировать людямъ торжество справедливости и человѣколюбія; выставляя «нравственное совершенствованіе», какъ альфу и омегу своего ученія, они не понимали: въ какой тѣсной связи находится это совершенствованіе какъ съ умственнымъ развитіемъ отдѣльнаго человѣка, такъ и съ политическимъ прогрессомъ цѣлаго общества. Это непониманіе перешло къ Карамзину и засѣло въ немъ плотно,—такъ плотно, что ни заграничная поѣздка, ни разнообразное чтеніе, ни событія, проходившія предъ его умственнымъ взоромъ, не прояснили этого тумана, не разбили этого камня преткновенія.

Если мы прибавимъ къ этому крайнюю слабость отвлеченнаго мышленія вообще и даже какую-то боязнь предъ

строгой логической послѣдовательностью, не допускающей ни бездоказательныхъ посылокъ, ни трансцендентальныхъ полу-рѣшеній и quasi-отвѣтовъ на вопросы,—то мы найдемъ ключъ къ разгадкѣ всего нравственнаго содержанія личности Карамзина. Мы поймемъ тогда, почему Карамзинъ, разставшись съ масонами и вступивъ на точку зрѣнія философскаго деизма, ограничился мелковатымъ восхваленіемъ всего сущаго и не пошелъ дальше по дорогѣ, проложенной другими деистами: этому помѣшала метафизическая закваска, заимствованная отъ масоновъ и постоянно бродившая въ душѣ у Карамзина. Теорія благотворности страстей, которую проповѣдовалъ Карамзинъ въ отпоръ масонской доктринѣ, взывавшей къ ихъ аскетическому умерщвленію,—составляла, конечно, значительный шагъ впередъ; но фикція «мудрой и любящей природы», лежавшая въ основаніи этой теоріи, не была, уже и въ то время, послѣднимъ словомъ въ раціональномъ развитіи европейской мысли. Лучшимъ доказательствомъ того, какъ узко и ограниченно понималъ Карамзинъ европейскихъ авторитетовъ, служитъ его извѣстное увлеченіе Ж.-Жакомъ Руссо. «Чувствительный и добродушный философъ», стоявшій тверже другихъ на своей абсолютно-моральной точкѣ зрѣнія, былъ, понятнымъ образомъ, ближе и симпатичнѣе Карамзину, который любилъ цитировать его изреченія. Но вѣдь не эта чувствительность придавала обаяніе пламенной проповѣди Руссо: она была только формой, подъ которой скрывалось глубоко-полемическое и страстно-отрицательное отношеніе ко всѣмъ общественнымъ порядкамъ, тяготившимъ сознаніе развитыхъ людей. Естественныя права человѣка, отнятыя у него деспотическимъ воспитаніемъ,

извращенной цивилизацiей и несправедливымъ общественнымъ устройствомъ—вотъ всегдашняя цѣль стремленiй Руссо, вотъ движущiй стимулъ его литературной дѣятельности. Но эта полемическая струя, этотъ рѣзкiй и горячiй протестъ не оставили никакого слѣда въ холодно-резонерскомъ и чуждомъ всякой страстности умственномъ темпераментѣ Карамзина, и изъ всей философiи Руссо на виду остались, въ «Письмахъ русскаго путешественника», только безпрестанные гимны пастушескому быту, да еще метафизическiя размышленiя на тему: «кто засыпаетъ на рукахъ отца, тотъ не заботится о своемъ пробужденiи». Соцiальная сторона ученiя Руссо улетучилась цѣликомъ въ сантиментальной передѣлкѣ Карамзина. Здѣсь уже, кромѣ общей слабости теоретическаго развитiя Карамзина, дѣйствовала и другая, болѣе частная и спецiальная причина, — а именно тотъ недостатокъ общественнаго, политическаго смысла, на который мы указывали выше. Въ своей оптимистической доктринѣ, составлявшей крайнiй предѣлъ его либерализма, Карамзинъ утверждалъ, что «равенство счастiя состоитъ не въ равной суммѣ благъ, данныхъ каждому человѣку, а въ равенствѣ чувства, съ которымъ наслаждается каждый данною ему долею блага». При такой постановкѣ вопроса, заботы о лучшемъ распредѣленiи общественныхъ благъ, которыя составляютъ сущность всякаго политическаго движенiя, уже изгонялись изъ круга интересовъ образованной личности, и хотя молодость Карамзина, а также настроенiе среды, его окружавшей, парализировали вначалѣ полное примѣненiе этой эгоистической теорiи; но можно было предвидѣть, что она, со временемъ, возьметъ-таки свое, и чѣмъ дальше, тѣмъ больше будетъ оттал-

кивать Карамзина отъ господствовавшихъ стремленій его эпохи. По стихотвореніямъ Карамзина нетрудно прослѣдить, какъ умственный темпераментъ, подкрѣпленный масонскимъ вліяніемъ, постепенно бралъ въ немъ перевѣсъ надъ мимолетными увлеченіями молодости. Въ одномъ стихотвореніи, относящемся къ 1793 году, Карамзинъ разсказываетъ, что и онъ «обольщался мечтами», любилъ горячо людей, какъ своихъ братьевъ, желалъ имъ добра всею душою и даже готовъ былъ «пожертвовать для ихъ счастія своею кровью». Но—продолжаетъ онъ—

... время, опытъ разрушаютъ
 Воздушный замокъ юныхъ лѣтъ;
Красы волшебства исчезаютъ,
 Теперь иной я вижу свѣтъ,—
И вижу ясно, что съ Платономъ
 Республикъ намъ не учредить,
Съ Питтакомъ, Өалесомъ, Зенономъ
 Сердецъ жестокихъ не смягчить.
. . . .
 Гордецъ не любитъ наставленья,
Глупецъ не терпитъ просвѣщенья—
 Итакъ, лампаду угасимъ,
Желая доброй ночи имъ.

Затѣмъ, отыскивая поддержку и утѣшеніе въ жизни, Карамзинъ говоритъ, что нужно «построить себѣ тихій кровъ, куда бы злые и невѣжды не нашли дороги», и въ этомъ кровѣ наслаждаться любовью и дружбой. Личное и, пожалуй, семейное счастіе становится идеаломъ Карамзина, и ему приноситъ онъ въ жертву свои «волшебныя мечты» и «воздушные замки юныхъ лѣтъ». Понятно послѣ этого, почему личныя и семейныя обстоятельства отражаются такъ сильно въ исторіи умственной жизни Карамзина. Когда (по словамъ г. Галахова)

«вокругъ него все устроилось хорошо и пріятно, а будущее могло обѣщать еще лучшее и пріятнѣйшее», — Карамзинъ исповѣдовалъ радужную доктрину оптимизма; умерла у него жена—и міръ, изъ прекраснаго храма, воздвигнутаго любящею матерью-природой, обратился въ «училище терпѣнія» и въ безобразную кучу недостатковъ всякаго рода. Попавши разъ на этотъ путь личнаго и семейнаго эгоизма, предпочтя всему на свѣтѣ филистерское счастіе по пословицѣ: «моя хата съ краю, ничего не знаю», Карамзинъ естественно не ограничился однимъ лишь безмолвнымъ отстраненіемъ себя отъ тревогъ и опасностей общественной пропаганды. Сначала онъ намѣревался только «угасить» свою собственную лампаду, чтобы не разгнѣвать какихъ-то глупцовъ, не терпящихъ свѣта; но это—первая стадія въ развитіи филистерскаго идеала. Затѣмъ начинается вторая. За усталостью и опасеніемъ непріятностей неизбѣжно слѣдуетъ желаніе успокоиться совершенно, заткнуть себѣ уши отъ тревожнаго шума, набѣгающаго извнѣ, уединиться навсегда въ пріятной и хорошо обогрѣтой семейной раковинѣ. Но общественныя движенія и катастрофы нарушаютъ этотъ привольный и теплый покой; они назойливо врываются въ самое святилище домашняго очага и требуютъ жертвъ, волненій, борьбы. Въ семейной раковинѣ раздается шумъ и гулъ происходящей снаружи битвы; побѣдители оглашаютъ воздухъ грозными криками, побѣжденные молятъ о пощадѣ. Личное счастіе филистера ежеминутно подвергается ставкѣ, и банкометъ—судьба можетъ холодно провозгласить: «ваша карта убита; неугодно-ль другую?» Какое-жъ тутъ спокойствіе, какая «тихая жизнь»?! И вотъ филистеръ начинаетъ съ озлобленіемъ смотрѣть на этихъ волнующихся

людей, которые бѣгаютъ и шумятъ вокругъ его жилища, не обращая ни малѣйшаго вниманія на то, что онъ, филистеръ, уже надѣлъ свой ночной колпакъ и, прочтя молитву на сонъ грядущій, уткнулъ голову въ подушки. Въ концѣ концовъ филистеръ восклицаетъ:

Въ правленьяхъ новое опасно,
  А безначаліе ужасно.
Какъ трудно общество создать!
  Оно устроилось вѣками;
Гораздо легче разрушать
  Безумцу съ дерзкими руками.
Не вымышляйте новыхъ бѣдъ:
  Въ семъ мірѣ совершенства нѣтъ!

(Соч. К—на, т. I, стр. 253).

Подозрительность филистера усиливается послѣ этого до nec plus ultra: среди бѣла дня ему мерещатся привидѣнія; легкій стукъ за дверью, шорохъ подъ окномъ кажутся предвѣстіемъ грабежа и насилія. «Нѣтъ, ужь пусть лучше все идетъ по старому—шепчетъ онъ про себя, смежая очи,— и если я останусь безъ политической свободы, о которой, по правдѣ сказать, я никогда серьезно не заботился, зато мой носовой платокъ несомнѣнно останется въ карманѣ». И съ этими тихими мыслями засыпаетъ...

Идеалъ семейнаго счастія, гармоническаго сліянія двухъ «любящихъ душъ,» конечно, имѣетъ свою цѣну, если онъ нейдетъ въ разрѣзъ съ понятіемъ объ общественной солидарности, о взаимности интересовъ, связывающихъ въ одно цѣлое разнообразныя человѣческія ассоціаціи; въ такомъ видѣ идеалъ этотъ существуетъ у всѣхъ образованныхъ націй и воспѣвается поэтами, у которыхъ преданность общему благу не враждуетъ съ ихъ личными привязанностями. Семья,—кружокъ близ-

кихъ и единомыслящихъ людей,—является тогда какъ бы азилемъ, въ которомъ вырабатываются новыя силы, выходящія потомъ на общественную арену. Но другое дѣло, когда семья является замѣною общества, когда она, подобно трясинѣ, засасываетъ въ себя цѣлаго человѣка, убиваетъ въ немъ всякую энергію, съуживаетъ кругозоръ его понятій, дѣлаетъ мелкимъ и трусливымъ эгоистомъ, готовымъ отдать все, поступиться самыми завѣтными стремленіями за чечевичную похлебку у домашняго очага. Проповѣдовать такой идеалъ, и притомъ въ обществѣ молодомъ, разрозненномъ и неусвоившемъ себѣ даже первыхъ понятій о соціальной связи, значило—не двигать его впередъ, а оставлять, по малой мѣрѣ, на одной и той же точкѣ развитія.

Философія квіэтизма, эгоистическаго равнодушія къ интересамъ ближняго такъ сродна и присуща всякому дурно-организованному обществу, что ее слѣдовало бы, кажется, не поощрять и поддерживать посредствомъ искусной замаскировки вредныхъ ея сторонъ, а, напротивъ того, изгонять и преслѣдовать всѣми возможными средствами. Карамзинъ же поступалъ какъ разъ наоборотъ, и не только способствовалъ общественному усыпленію своими радужно-сантиментально-патріотическими иллюзіями, но, не довольствуясь этимъ, вошелъ, наконецъ, въ открытую борьбу съ зачинавшимся умственнымъ движеніемъ противоположнаго свойства.

Это новое направленіе, противъ котораго возсталъ Карамзинъ всѣми остатками своей угасавшей энергіи, всѣмъ запасомъ своего литературнаго таланта, нисколько не угрожало существующему политическому устройству общества, оставляло его даже по виду неизмѣннымъ, но вносило въ него въ

сущности идеи инаго лучшаго порядка, которыя могли бы, при добросовѣстномъ выполненіи, значительно умѣрить дурныя послѣдствія старыхъ традицій. Отсюда пошли толки объ «основныхъ законахъ» страны, о «государственныхъ сословіяхъ» или учрежденіяхъ, призванныхъ выражать законныя требованія націи. Еслибы Карамзинъ не отставалъ отъ развитія своего вѣка, еслибы онъ усвоилъ себѣ глубоко и искренно ту теорію, которую нѣкогда хотѣлъ «примѣнить къ практикѣ», то для него въ этихъ новыхъ стремленіяхъ не нашлось бы ничего ужаснаго и анархическаго. Люди желали воспользоваться грозными уроками исторіи, надѣялись устранить своими комбинаціями возможность повторенія народныхъ вспышекъ, шумъ которыхъ еще стоялъ, такъ сказать, въ воздухѣ. Этотъ политическій либерализмъ не миновалъ и Россіи, и даже пользовался, въ первой половинѣ царствованія Александра Павловича, сильною поддержкою въ высшихъ сферахъ русскаго правительства. Извѣстны слова, сказанныя самимъ Александромъ г-жѣ Сталь. Подъ руководствомъ государя и по его настоянію составлялся у насъ огромный проектъ, долженствовавшій обновить всю нашу политическую жизнь «отъ волостнаго правленія до кабинета государева». Въ этомъ проектѣ Сперанскій, касаясь смѣшенія и путаницы въ нашихъ гражданскихъ законахъ, а также смутнаго недовольства общества, проистекающаго изъ такого положенія дѣлъ, спрашивалъ: «Но гдѣ средства улучшить эти законы, ввести въ нихъ желаемый порядокъ, когда мы не имѣемъ законовъ политическихъ? Къ чему служатъ законы, опредѣляющіе права собственности каждаго, когда сама эта собственность не имѣетъ никакого

прочнаго и опредѣленнаго основанія? Къ чему гражданскіе законы, когда ихъ таблицы могутъ каждый день разбиться? Жалуются на безпорядокъ въ финансахъ; но можно ли устроить хорошо финансы тамъ, гдѣ нѣтъ публичнаго кредита, гдѣ не существуетъ никакого политическаго учрежденія, которое могло бы обезпечивать его прочность? Жалуются на медленность, съ какой распространяются просвѣщеніе, промышленность; но гдѣ принципъ, который могъ бы оживотворить ихъ? Къ чему стараться просвѣщать раба, если просвѣщеніе не должно имѣть на него другого дѣйствія, кромѣ того, что оно заставитъ его еще болѣе почувствовать тягость своего положенія? Наконецъ, это общее недовольство, эта наклонность все критиковать суть ничто иное, какъ выраженіе скуки отъ нынѣшняго порядка вещей... Умы находятся въ тягостномъ безпокойствѣ; а это безпокойство можно объяснить только полнымъ измѣненіемъ, происшедшимъ въ мнѣніяхъ, только желаніемъ другого управленія, желаніемъ, пожалуй, неопредѣленнымъ, но тѣмъ не менѣе живымъ. Все это доказываетъ, что существующая система управленія не соотвѣтствуетъ болѣе состоянію общественнаго мнѣнія, и что пришло время замѣнить эту систему другою». О крѣпостномъ правѣ Сперанскій выражался такимъ образомъ: «Какія бы трудности ни могло представить освобожденіе (крестьянъ), крѣпостное право есть вещь, столь противорѣчащая здравому смыслу, что его нельзя считать иначе, какъ временнымъ зломъ, которое неминуемо должно имѣть свой конецъ». Сторонникамъ мысли, что крестьянъ нельзя освобождать, не давши имъ напередъ просвѣщенія, Сперанскій возражалъ рѣзко и основательно:

«Что̀ такое образованіе, знаніе для народа несвободнаго, какъ не средство живѣе почувствовать бѣдственность своего положенія, источникъ волненій, которыя могутъ только способствовать къ бо̀льшему его порабощенію, или могутъ навлечь на страну ужасы безначалія. Изъ человѣколюбія столько же, сколько изъ политики, слѣдуетъ оставить рабовъ въ невѣжествѣ, если не хотятъ дать имъ свободы». Идеи, выраженныя Сперанскимъ, не составляли секрета для читающей русской публики: онѣ находили отголосокъ въ нашей литературѣ того времени, и сила этого отголоска напрасно уменьшается, съ задней цѣлью, нѣкоторыми историками русской мысли. Конечно, цензурныя условія не дозволяли этимъ идеямъ высказываться въ печати такъ же широко и опредѣленно, какъ высказывались онѣ въ законодательномъ проектѣ Сперанскаго; но читающая публика, безъ сомнѣнія, совершенно ясно понимала, на̀ какіе именно вопросы намекается въ подцензурной прессѣ. Въ 1818 году (22-го марта) С. С. Уваровъ произнесъ рѣчь въ торжественномъ собраніи главнаго педагогическаго института, въ которой коснулся политическаго направленія того времени. «По примѣру Европы—говоритъ онъ—мы начинаемъ помышлять о свободныхъ понятіяхъ. Политическая свобода, по словамъ знаменитаго оратора нашего вѣка, есть послѣдній и прекраснѣйшій даръ Бога; но сей даръ пріобрѣтается медленно, сохраняется неусыпною твердостью; онъ сопряженъ съ большими жертвами, съ большими утратами. Въ опасностяхъ, въ буряхъ, сопровождающихъ политическую свободу, находится вѣрнѣйшій признакъ всѣхъ великихъ и полезныхъ явленій одушевленнаго и бездушнаго міра, и мы должны, по совѣту того же оратора, или не стра-

шиться опасностей, или вовсе отказаться отъ сихъ великихъ даровъ природы». Разбирая эту рѣчь, извѣстный профессоръ А. П. Куницынъ останавливается, между прочимъ, на фразѣ: «мы начинаемъ помышлять о свободныхъ понятіяхъ» и говоритъ: «Конечно, такъ; но мы давно о нихъ помышляли: никогда не были они чужды россійскому народу. Вѣча, боярскія думы, третейскій и совѣстный судъ, разбирательство дѣлъ при посредничествѣ присяжныхъ, равныхъ званіемъ подсудимому, были еще въ древности существенными принадлежностями образа правленія въ нашемъ отечествѣ. Въ важныхъ происшествіяхъ государства обыкновенно всѣ сословія принимали участіе и дѣйствовали единодушно. Отраженіе нашествія враговъ, постановленіе общихъ законовъ, избраніе достойнаго поколѣнія для занятія россійскаго престола обыкновенно составляли предметъ совѣщанія и согласнаго рѣшенія всѣхъ государственныхъ чиносостояній. Иностранные народы прежде насъ дали непремѣнныя формы государственному правленію, но не позже ихъ мы о томъ помышляли» («Сынъ Отеч.» 1818 г., т. XXIII). Въ томъ же 1818 году, черезъ нѣсколько дней послѣ рѣчи гр. Уварова, произнесена была въ Варшавѣ самимъ императоромъ Александромъ другая рѣчь, еще болѣе замѣчательная, еще болѣе надѣлавшая шуму въ русскомъ обществѣ. «Образованіе, существовавшее въ вашемъ краѣ—говорилъ Александръ польскимъ депутатамъ—дозволяло мнѣ ввести немедленно то, что я вамъ даровалъ, руководствуясь правилами законно-свободныхъ учрежденій, бывшихъ предметомъ моихъ помышленій, и которыхъ спасительное вліяніе надѣюсь я, при помощи Божіей, распространить и на всѣ страны, Провидѣ-

ніемъ попеченію моему ввѣренныя. Такимъ образомъ вы мнѣ подали средства явить моему отечеству то, что я уже съ давнихъ лѣтъ ему пріуготовляю, и чѣмъ оно воспользуется, когда начала столь важнаго дѣла достигнутъ надлежащей зрѣлости. Вы призваны дать великій примѣръ Европѣ, устремляющей на васъ свои взоры. Докажите своимъ современникамъ, что законно-свободныя постановленія, коихъ священныя начала смѣшиваютъ съ разрушительнымъ ученіемъ, угрожавшимъ въ наше время бѣдственнымъ паденіемъ общественному устройству, не суть мечта опасная; но что, напротивъ, таковыя постановленія, когда приводятся въ исполненіе по правотѣ сердца и направляются съ чистымъ намѣреніемъ къ достиженію полезной и спасительной для человѣчества цѣли, то совершенно согласуются съ порядкомъ, и общимъ содѣйствіемъ утверждаютъ истинное благосостояніе народовъ. Вамъ предлежитъ нынѣ явить на опытѣ сію великую и спасительную истину». (См. «Духъ журналовъ 1818 г.» № 14). «Варшавскія рѣчи—писалъ по этому поводу Карамзинъ къ Дмитріеву—сильно отозвались въ молодыхъ сердцахъ; спятъ и видятъ конституцію; судятъ, рядятъ; начинаютъ и писать—въ Сынѣ Отечества, въ разборѣ рѣчи Уварова; иное уже вышло, другое готовится. И смѣшно, и жалко! Но будетъ, чему быть. Знаю, что государь ревностно желаетъ добра; все зависитъ отъ Провидѣнія—и слава Богу! Не перестаю наслаждаться своимъ образомъ мыслей или, лучше сказать, сердечнымъ удостовѣреніемъ, что мы такъ, а Богъ по своему. Въ сей системѣ какой покой для ума зрителей, т. е. для нашей братіи! Пусть молодежь ярится: мы улыбаемся. «(Письмо К-на къ Дмитріеву,

стр. 236—7.) Но молодежь не переставала яриться и не находила особеннаго наслажденія въ «спокойной системѣ» Карамзина; даже другъ его, князь Петръ Андреевичъ Вяземскій, бывшій тогда въ Варшавѣ, «пылалъ свободомысліемъ» (ibid. стр. 253) и притомъ такъ честно и искренно, что потерялъ изъ-за этого мѣсто по службѣ, будучи приглашенъ удалиться изъ польской столицы. Русскіе журналы перепечатали рѣчь государя. Куницынъ разобралъ ее въ «Сынѣ Отечества», въ особой статьѣ. «Ужасы революціи—говоритъ онъ—миновались; умы начинаютъ дѣйствовать свободно; причины сего политическаго переворота открываются. Несчастія Франціи произошли не отъ того, что она желала свободнаго, незыблемаго постановленія, но отъ стремленія учредить образъ правленія ей несвойственный и для всякаго европейскаго народа неудобный». Дальше доказывалось, что республиканскій образъ правленія, испробованный Франціею, могъ быть умѣстенъ только въ древнихъ государствахъ—городахъ, которыхъ ограниченныя территоріи дозволяли всѣмъ жителямъ свободно собираться на площадяхъ для совѣщанія о дѣлахъ общественныхъ; жители же новѣйшихъ государствъ не имѣютъ этого удобства по большому пространству, ихъ раздѣляющему. Кромѣ того, въ древнихъ республикахъ существовали рабы, которые исполняли разныя хозяйственныя работы, занимались ремеслами и даже изящными искусствами и, такимъ образомъ, обезпечивали свободнымъ гражданамъ досугъ порѣшать исключительно государственные вопросы. «Потому—продолжалъ Куницынъ—граждане древнихъ республикъ могли проводить время на публичныхъ площадяхъ, въ слушаніи ораторовъ, въ преніяхъ о постановленіи и отмѣнѣ законовъ,

въ обличеніи и судѣ безпорядочныхъ чиновниковъ. Когда и сихъ дѣлъ не доставало, то они переходили къ воинскимъ упражненіямъ и публичнымъ играмъ. Нынѣ другія времена, другіе обычаи. Городская и сельская промышленность, по причинѣ вліянія на общее благосостояніе, взошли на степень уваженія, ей приличную. Люди свободнаго состоянія считаютъ прибыточныя упражненія похвальными, а праздность и безпечность о дѣлахъ хозяйственныхъ постыднымъ препровожденіемъ времени. Граждане древнихъ республикъ полагали свободу въ томъ, чтобы повиноваться тѣмъ только законамъ, которые они сами постановили или допустили; жители новѣйшихъ государствъ не желаютъ сего права, крайне для нихъ убыточнаго по причинѣ многотрудныхъ и нескончаемыхъ государственныхъ занятій. Нынѣ мирный гражданинъ желаетъ только того, чтобы законы были для него справедливы, чтобы никакая сила не могла тѣснить лица его ненаказанно, чтобы никто не воспользовался его собственностью безъ замѣны и вознагражденія, чтобы никто, кромѣ закона, не смѣлъ остановить его дѣятельность и учинить труды его безполезными, а ожиданія тщетными. Потому жители нынѣшнихъ государствъ, вопреки духу древнихъ республиканцевъ, не желая сами быть законодателями, хотятъ только имѣть при лицѣ верховнаго властителя своихъ представителей, которые бы его, яко отца народа, извѣщали о нуждахъ общественныхъ, умоляли о принятіи мѣръ противъ золъ, существующихъ въ обществѣ, и съ благонадежностью могли испрашивать у его правосудія законовъ, для всѣхъ равно благодѣтельныхъ. Слѣдовательно, желанія новѣйшихъ народовъ стремятся только къ тому, чтобы верховная власть

имѣла всю возможность къ открытію общественныхъ безпорядковъ и всю силу, потребную къ прекращенію оныхъ. Таковое устроеніе государствъ служитъ залогомъ безопасности подданныхъ и величія трона. Сочетавая волю верховнаго властителя съ волею общею, оно совокупляетъ ихъ неразрывными узами. Никому не можетъ оно внушить опасенія, ибо оставляетъ каждаго на своемъ мѣстѣ и со всѣми правами, каковыя только въ обществѣ благоустроенномъ допущены быть могутъ» («Сынъ Отеч.», 1818 г., № XVIII). «Духъ журналовъ», опираясь на мысли, усиленныя авторитетомъ самого императора, печаталъ цѣликомъ, въ томъ же году, баварскую конституцію съ такимъ примѣчаніемъ отъ редакціи: «1818 годъ останется навсегда незабвеннымъ въ лѣтописяхъ Баваріи: въ семъ году баварцы получили отъ короля своего государственное уложеніе (конституцію), на правилахъ законной свободы, политической и гражданской, основанное. Актъ сей есть толикой важности, что мы нужнымъ считаемъ сообщить оный вполнѣ». Въ слѣдующемъ же году, въ первой своей книжкѣ, «Духъ журналовъ» откликнулся на жгучій вопросъ еще рѣшительнѣе, въ статьѣ подъ громкимъ заглавіемъ: «Чего требуетъ духъ времени? Чего желаютъ народы»? «Народы —отвѣчаетъ авторъ на этотъ вопросъ—желаютъ владычества законовъ—коренныхъ, неизмѣнныхъ, опредѣляющихъ права и обязанности каждаго, равно обязательныхъ и для властей, и для подвластныхъ, при которыхъ самовластіе мѣста имѣть не можетъ, и которыхъ столь же невозможно было бы ниспровергнуть, какъ и уклониться отъ нихъ. Спросите всѣ христіанскіе народы, во всѣхъ частяхъ свѣта: они другого

желанія не имѣютъ. Сіе одно имѣли въ виду въ продолжительныхъ войнахъ; для сего проливали кровь, терпѣли столько бѣдствій, перенесли неслыханныя тягости,—чтобы дѣти ихъ, внуки и правнуки блаженствовали подъ сѣнію владычества законовъ. Вотъ духъ времени, цѣль всеобщихъ желаній, не всѣми ясно понимаемая, но истинная, единственная цѣль... Сами государи восчувствовали необходимость поставить владычество законовъ на незыблемомъ основаніи, они сами одинъ передъ другимъ ревнуютъ (особенной-то ревности, впрочемъ, не было замѣтно) даровать народамъ своимъ сей залогъ отеческаго о нихъ попеченія, сей памятникъ мудрости своей и надежнѣйшее ручательство будущаго ихъ благоденствія—государственное уложеніе. Но уложеніе на бумагѣ есть только мертвая буква: оно также можетъ быть устранено, перетолковано, брошено, какъ тысячи другихъ узаконеній. Чтобъ оно было всегда въ силѣ, для сего необходимо нужно дать ему самостоятельное бытіе и учредить при немъ блюстителей. Многочисленными опытами дознано, что всякое сословіе, подъ вліяніемъ правительства состоящее, не можетъ быть надежнымъ охранителемъ государственнаго уложенія. Природные блюстители онаго суть народные представители. Они суть вѣрные охранители его неприкосновенности, преслѣдователи нарушителей его, совѣтники государей и соучастники въ законодательствѣ; безъ нихъ никакой новый законъ не можетъ быть изданъ, никакой налогъ наложенъ, никакое важное предпріятіе предпринято. Чрезъ нихъ народъ имѣетъ свой голосъ, который есть тогда по истинѣ гласъ Божій; при нихъ личность и собственность каждаго останется неприкосновенною, при нихъ никакое

злоупотребленіе власти не укроется, никакое нарушеніе правъ не останется безнаказаннымъ; при нихъ правосудіе недреманно, сильный не смѣетъ положить на вѣсы руки своей, ниже богатый—злата, чтобы наклонить ихъ къ обвиненію невиннаго: все тогда дѣлается гласно и предъ очами всѣхъ, ибо правда и доброе дѣло не имѣютъ нужды скрываться въ тайнѣ. Такое устройство сильно укрѣпляетъ духъ народный и ускоряетъ преуспѣяніе всего истинно полезнаго. А что всего важнѣе: вся машина государственнаго управленія, сообразно потребностямъ времени, легко поправляется и совершенствуется безъ внезапныхъ потрясеній, никогда не препинается въ ходѣ, но всякій разъ, когда нужно, заводится вновь и идетъ всегда ровно, единообразно и благоустройно. И вотъ чего требуетъ духъ времени, чего желаютъ народы—и въ чемъ сами государи предупреждаютъ ихъ желанія». Кромѣ общихъ политическихъ вопросовъ, въ русской журналистикѣ обсуждались довольно свободно и нѣкоторыя частныя явленія нашей государственной жизни. Крѣпостное право,—не смотря на перемежающуюся строгость цензуры или, лучше сказать, благодаря тому, что эта строгость не всегда поддерживалась съ одинаковымъ рвеніемъ,—подвергалось не разъ открытому нападенію, которое сильно озабочивало собой защитниковъ рабства. Органомъ этихъ дебатовъ служили поперемѣнно различныя изданія. Такъ, напримѣръ, «Духъ журналовъ» далъ у себя мѣсто статьѣ Правдина (быть можетъ, псевдонимъ какого-нибудь вліятельнаго лица), въ которой сравнивается положеніе крестьянъ въ Россіи и за границей, и отсюда дѣлаются разные, благопріятные для крѣпостнаго права, выводы. Правдинъ на-

ходитъ, что крѣпостное состояніе русскихъ крестьянъ обезпечиваетъ имъ, по крайней мѣрѣ, кусокъ насущнаго хлѣба, тогда какъ заграничные пролетаріи, принужденные скитаться отъ одного землевладѣльца къ другому, умираютъ съ голоду, впадаютъ въ преступленія или выселяются толпами въ Америку и Россію. Всѣ эти разсужденія пересыпаются возгласами о человѣколюбіи русскихъ помѣщиковъ, объ ихъ отеческой нѣжности къ своимъ крестьянамъ и пр. и пр. Апологія крѣпостничества не осталась безъ возраженія, и въ «Сынѣ Отечества» появилась противъ нея рѣзкая статья, гдѣ всѣ доводы Правдина разбирались поодиночкѣ, сопровождаемые остроумнымъ глумленіемъ надъ этимъ доморощеннымъ философомъ.

«Первое важнѣйшее право иностраннаго крестьянина—читаемъ въ «Сынѣ Отечества»—состоитъ въ томъ, что онъ самъ себѣ принадлежитъ и не переходитъ изъ рукъ въ руки посредствомъ мѣны, продажи, дара, наслѣдства и другихъ сдѣлокъ, но всегда остается своимъ господиномъ, и сіе право такъ драгоцѣнно, что, еслибы захотѣли присвоить и продать частно или съ аукціона самого сочинителя Правдина, то бы онъ вѣрно на сію перемѣну состоянія не согласился, хотя бы покупщикъ самому ему равенъ былъ въ человѣколюбіи. Хорошо тамъ, гдѣ насъ нѣтъ; легко проповѣдовать благополучіе неволи на чужой счетъ и рекомендовать оную другимъ, какъ райское состояніе, а самому навсегда оставаться при худой свободѣ. Второе важное право иностраннаго крестьянина состоитъ въ томъ, что сына его никто не возьметъ невольно въ личное услуженіе, какъ-то въ конюхи, лакеи, псари и т. п. Дочь его также не бу-

детъ взята въ кухарки, поломойки, горничныя и проч., но останется при родителяхъ своихъ до замужства, а потомъ вступитъ въ бракъ только по собственной склонности и по родительскому благословенію. Словомъ сказать, бракъ сей совершится по точному смыслу постановленій церкви, а не такъ, какъ оный происходитъ часто между крѣпостными: парню приказываютъ жениться на такой-то дѣвкѣ, а сей непремѣнно за него выйти, а если кто изъ нихъ окажется преслушнымъ, тотъ непремѣнно будетъ наказанъ. Третье важное право иностраннаго крестьянина состоитъ въ томъ, что онъ занимается дѣлами, къ его пользѣ относящимися, по собственному усмотрѣнію: нанимаетъ землю у кого хочетъ и такую, какая ему надобна; платитъ за нее оброкъ, на какой самъ добровольно согласится. За то всѣ плоды его трудолюбія принадлежатъ ему неотъемлемо. Работу исправляетъ онъ по собственному побужденію, а не по наказу, и трудится прилежно, имѣя несомнѣнную надежду улучшить свое состояніе. Никто не накажетъ его произвольно и пристрастно, ибо никто не имѣетъ къ тому ни права, ни побужденія». Далѣе авторъ доказываетъ, что экономическое положеніе иностранныхъ крестьянъ нельзя и сравнивать съ бытомъ нашихъ ободранныхъ крѣпостныхъ, что количество преступленій, падающихъ въ Западной Европѣ на низшій классъ, кажется намъ громаднымъ только потому, что у насъ все шито да крыто, тогда какъ тамъ судъ производится публично и процессы печатаются въ газетахъ; переселеніе же крестьянъ въ Америку и въ наше «благословенное отечество» объясняется не свободою, а другими причинами, неимѣющими съ нею ничего общаго. «Знаетъ

ли г. Правдинъ—продолжаетъ его оппонентъ—откуда переселились въ Россію колонисты? Изъ Баваріи, гдѣ феодальныя права помѣщиковъ на крестьянъ, живущихъ въ ихъ помѣстьяхъ, еще отчасти не уничтожены, гдѣ правительство, по географическому положенію своей страны, принимаетъ великое участіе въ политическихъ связяхъ Европы. Какая война между Франціей и Германіей не обращалась въ тягость Баварскому королевству? Къ тому же переселились къ намъ баварцы не католическаго, но лютеранскаго закона, слѣдовательно люди, исповѣдующіе не господствующую религію въ Баваріи. Правда, что правительство не преслѣдуетъ ихъ, какъ Юліанъ Богоотступникъ христіанъ преслѣдовалъ, но ихъ тѣснитъ духъ партій и ненависть католиковъ. Потому не свобода гонитъ ихъ въ Россію, а притѣсненія; не она виновна въ ихъ бѣдности, а другія причины. Свобода вѣроисповѣданія привела къ намъ гернгутеровъ нѣмецкихъ и шотландскихъ. Къ намъ переселились также въ разныя времена жители Эльзаса. Пусть г. авторъ вспомнитъ, каково было состояніе сей страны со временъ Людовика XIV и по 1818 годъ. Ихъ участь была такая же, каковую терпятъ молдаване, валахи и сербы со временъ Петра I. Здѣсь же надобно припомнить, что иностранные крестьяне приходятъ къ намъ не для того, чтобы поступать въ крѣпостные, но чтобы свободно заниматься земледѣліемъ и пріобрѣтать посильный достатокъ для себя, а не для другихъ. Пусть любопытный прочитаетъ манифесты объ иностранныхъ поселенцахъ, изданные императрицею Екатериною II и благополучно царствующимъ императоромъ. Въ правахъ, предоставленныхъ симъ иностранцамъ, найдетъ онъ также причину ихъ

благосостоянія. Если они, какъ увѣряетъ авторъ, бѣжали отъ свободы, то почему до сихъ поръ не подали еще просьбы объ укрѣпленіи ихъ за какимъ-либо благодѣтельнымъ помѣщикомъ? Нѣкоторыя колоніи существуютъ уже 30 и 40 лѣтъ въ Россіи и до сихъ поръ еще не увѣрились въ преимуществѣ закрѣпощенія передъ свободою. Пусть же г. авторъ напишетъ объявленіе въ иностранныхъ газетахъ о намѣреніи укрѣпить за собою нѣсколько душъ крестьянъ и пригласитъ желающихъ воспользоваться симъ случаемъ поступить къ нему въ собственность. Но онъ долженъ изъяснить притомъ всѣ права свои и обязанности крестьянъ — посмотримъ, много ли явится къ нему желающихъ?» («Сынъ Отеч.» 1818 г., № 17). Въ другихъ случаяхъ, тотъ же «Духъ журналовъ», съ которымъ полемизировалъ «Сынъ Отечества» по крестьянскому вопросу, относился сочувственно къ несчастному положенію низшихъ классовъ, какъ, напримѣръ, въ статьяхъ: о сохранныхъ кассахъ (1819 г., № 2), о винномъ откупѣ (1817 г., № 3) и пр. Самый вопросъ о крѣпостномъ правѣ былъ возбужденъ редакціею этого журнала въ видѣ письма отъ посторонняго лица и оставленъ открытымъ для обсужденія. Вообще говоря, крестьянскій вопросъ постоянно затрогивался въ нашей литературѣ, во все время царствованія Александра Павловича, начиная съ книги Пнина и кончая статьей, напечатанной въ «Историческомъ журналѣ» за 1820 годъ, и мыслящіе люди находили возможность, хоть изрѣдка, урывками, взглянуть на этотъ предметъ тѣмъ же прямымъ и просвѣщеннымъ взглядомъ, какимъ смотрѣли они на различныя формы политическаго устройства. Одновременно съ журнальными статьями, трактовавшими о представи-

тельномъ правленіи, крѣпостномъ правѣ, свободѣ печати и гласномъ судопроизводствѣ, появились у насъ два замѣчательныя ученыя изслѣдованія, которыя обратили бы на себя вниманіе даже въ болѣе богатыхъ европейскихъ литературахъ. Мы разумѣемъ «Естественное право» Куницына и «Опытъ теоріи налоговъ» Н. И. Тургенева. Въ первой изъ этихъ книгъ талантливый авторъ, слѣдуя ученію Руссо и Канта, разсматривалъ государственный союзъ, какъ свободный договоръ, заключаемый между верховной властью и ея подданными, и съ большою логической силой и смѣлостью примѣнялъ этотъ основный принципъ ко всѣмъ рѣшительно проявленіямъ государственной жизни. «Если исполнитель закона—говоритъ Куницынъ—поставляетъ на мѣсто онаго свою волю, то подданные имѣютъ право ему противиться; ибо кто требуетъ не того, что законы повелѣваютъ, тотъ незаконно присвоиваетъ себѣ власть законодателя. Власть можетъ быть передана только по согласію всѣхъ членовъ общества, ибо въ договорѣ соединенія нѣтъ условія, обязывающаго частнаго члена повиноваться произволу другихъ... Всѣ подданные одинъ другому равны, но равенство состоитъ въ томъ, что всѣ они равно могутъ быть принуждаемы властителемъ соблюдать взаимныя права, ибо властитель обязанъ защищать права всѣхъ членовъ государства равною силою. Слѣдовательно, ненаказанность одного, строжайшее наказаніе другого въ одинаковыхъ случаяхъ и за равныя преступленія не могутъ быть допущены по началамъ права. Равенство нарушается, когда одному предоставлена свобода пріобрѣтать такое право, которое воспрещено другимъ. Если не противно цѣли общества, когда одинъ кто либо распола-

гаетъ извѣстнымъ правомъ, то и другой на томъ же основаніи располагать онымъ можетъ». (Право естеств. Ч. П, стр. 65, 78, 108). Предоставляя властямъ право собирать свѣдѣнія объ имуществѣ, силахъ и поступкахъ подданныхъ, авторъ прибавляетъ: «Но властитель не можетъ употреблять для того средства, несовмѣстныя съ свободою и честью гражданъ, ибо, по договору подданства, граждане передали властителю право охранять всѣ свои права, слѣдовательно также и право на честь. Ни одинъ изъ подданныхъ не можетъ принять такого порученія, которое противно свободѣ его согражданъ, ибо, по договору соединенія, граждане обѣщали не нарушать взаимныхъ правъ. Посему каждый соглядатай есть врагъ общества, ибо онъ нарушаетъ свободу частныхъ людей, которую граждане государства обязались защищать совокупными силами. Итакъ, освѣдомленіе о поведеніи подданныхъ не должно нарушать частной свободы». Когда же найдутся основательныя причины подозрѣвать извѣстное лицо въ опасномъ намѣреніи, то и «тутъ самое подозрѣніе должно составлять актъ законный, судьею совершенный, ибо, по договору подданства, каждый обязался отвѣчать за свои дѣйствія закону, а не частному произволу. Изысканіе подозрѣнія, падающаго на какое либо лицо, состоитъ только въ точномъ разсмотрѣніи причинъ, къ оправданію или обличенію онаго служащихъ; слѣдовательно никакое насиліе причинено оному быть не можетъ. Подозрѣваемый въ преступленіи не есть еще преступникъ дѣйствительный. Слѣдовательно пытка и всякое истязаніе суть дѣйствія незаконныя» (стр. 88—91). Обязательность этихъ правилъ, по мнѣнію автора, не должна нарушаться ради, такъ называемыхъ, государственныхъ причинъ

(raisons d'état)—«которыми въ практикѣ прикрываются несправедливые поступки и которыя не могутъ быть допущены правомъ естественнымъ. Сіи темныя выраженія употребляются для отвращенія соблазна, который необходимо происходитъ въ народѣ отъ созерцанія неправоты, публичною властію причиняемой или допускаемой.» Вторую книгу, т. е. сочиненіе Тургенева, Куницынъ же съ восторгомъ привѣтствовалъ, какъ предвѣстіе новаго фазиса въ развитіи русской литературы. «Просвѣщеніе Россіи—писалъ въ своемъ разборѣ чуткій и умный рецензентъ—несмотря на мѣстныя обстоятельства, распространяется по тѣмъ же правиламъ, по которымъ оно распространялось въ другихъ государствахъ. Петръ I, воинъ и зиждитель, хотѣлъ укоренить въ Россіи прежде науки математическія и физическія; но вмѣсто оныхъ бо̀льшаго совершенства донынѣ у насъ достигли науки словесныя. Намъ такъ же, какъ и другимъ народамъ, надлежало написать множество стиховъ, сочинить и перевести съ иностранныхъ языковъ множество романовъ — въ чемъ и нынѣ рачительно упражняемся—надлежало прежде долго обучаться всему у другихъ народовъ, и потомъ уже могли мы получить смѣлость писать о предметахъ важныхъ и общеполезныхъ. Такимъ образомъ, съ начала текущаго столѣтія, мы занялись, съ большимъ прилежаніемъ и успѣхами, науками точными... Мы имѣемъ, наконецъ, отечественныхъ сочинителей по части сельскаго хозяйства, матаматики и физики, по части законовѣдѣнія теоретическаго и практическаго, по части управленія государства вообще. Исторія и статистика россійскаго государства нынѣ обработываются не одними иностранцами, но и природными россіянами... Нау-

ка финансовъ есть новая вѣтвь образованія въ нашемъ отечествѣ. До перевода сочиненія гр. Верри мы ничего на русскомъ языкѣ не читали о государственномъ хозяйствѣ; до перевода творенія Адама Смита мы ничего не могли знать о налогахъ изъ русскихъ сочиненій, и искусство опредѣлять и собирать подати почитали непринадлежащимъ къ кругу свѣдѣній частнаго человѣка. То, что непосредственно насъ касается, почитали мы дѣломъ чуждымъ и отдаленнымъ отъ нашихъ выгодъ; то, что составляетъ общій предметъ нашего вниманія, мы признавали собственностью нѣкотораго только класса людей. Нынѣ другое получаемъ понятіе о финансахъ: дѣло общее становится предметомъ общаго разсужденія». Мы не станемъ распространяться о томъ значеніи, какое имѣла, въ свое время, книга Тургенева; достаточно сказать, что онъ первый заговорилъ объ источникахъ государственныхъ доходовъ, о распредѣленіи налоговъ «между всѣми гражданами въ одинаковой соразмѣрности, безъ исключеній, вредныхъ для общества», объ ихъ опредѣленности, которая должна быть независима отъ власти собирателей (стр. 32—34), о собираніи налоговъ въ удобнѣйшую для плательщика пору, при чемъ авторъ находилъ не только безполезными, но и противными цѣли тѣлесныя наказанія, а также аресты и тюремныя заключенія, на томъ основаніи, что «если плательщикъ не имѣетъ средствъ удовлетворить требованіе казны, то чрезъ понесенное наказаніе не сдѣлается къ тому способнѣе; если же онъ имѣетъ собственность, то, въ крайнемъ случаѣ, она только можетъ подлежать продажѣ и вычету налога» (стр. 232—34). Онъ говорилъ также о налогѣ съ наслѣдства, о бумажныхъ деньгахъ, какъ о налогѣ, и—

по справедливому замѣчанію Куницына — «изложилъ свои мысли такъ ясно и подробно, что книга его можетъ быть полезна и для тѣхъ, которые, безъ предварительнаго наставленія; сами собою хотятъ пріобрѣсти свѣдѣнія объ этой важной части государственнаго управленія («Сынъ От.» 1818 г., №№ 50 и 51). Тотъ же Тургеневъ стоялъ, какъ извѣстно, за освобожденіе крестьянъ съ землею, и этою мѣрою подсѣкалъ въ корнѣ возраженіе сторонниковъ рабства, что крестьяне, внезапно освобожденные и не имѣющіе никакой собственности, останутся безъ куска хлѣба...

VI.

Мы не хотимъ преувеличивать важности направленія, вкратцѣ очерченнаго нами; но не имѣемъ также никакихъ причинъ ослаблять и унижать его значеніе въ пользу тенденцій, лишенныхъ всякаго достоинства и проникнутыхъ духомъ вражды или недовѣрія ко всему молодому, новому, свѣжему, только что зачинавшемуся въ общественной жизни. Конечно, либерализмъ русской литературы 20-хъ годовъ не отличался особенной глубиною и рѣшительностью; конечно, можно возразить многое, и съ теоретической, и съ практической стороны, противъ различныхъ мѣръ, предложенныхъ въ законодательномъ проектѣ Сперанскаго; но, вопервыхъ, не слѣдуетъ забывать, что наша литература не могла высказываться вполнѣ ясно и опредѣленно, и движеніе, происходившее въ обществѣ, только до нѣкоторой степени прорывалось въ печати; вовторыхъ, всѣ эти возраженія законны и убѣдительны вовсе не съ той точки зрѣнія, на какой стояли

наши «классическіе» писатели въ родѣ Карамзина. Сперанскому можно было возразить, что его государственной реформѣ должна была предшествовать реформа крестьянская; защитникамъ освобожденія крестьянъ полезно было напомнить (какъ то и дѣлалъ Н. И. Тургеневъ), что личная свобода должна основываться на свободѣ экономической; но развѣ то самое говорили Карамзинъ и его союзники? Развѣ они устраняли недостатки проектируемыхъ реформъ, а не отпихивали ихъ цѣликомъ во имя нелѣпыхъ понятій объ интересахъ государства и правахъ личности? Развѣ все послѣдующее развитіе русской мысли приближалось къ идеаламъ Карамзина, а не отходило отъ нихъ на болѣе и болѣе значительное разстояніе? Развѣ, наконецъ, великое слово, разрѣшившее въ наши дни крѣпостныя узы народа и давшее ему равный для всѣхъ гласный судъ— развѣ это слово находится въ бо̀льшей гармоніи со взглядами Карамзина, чѣмъ съ идеями Сперанскаго, Тургенева и Куницына? Нѣтъ и нѣтъ! Въ томъ-то и сила, что Карамзинъ порицалъ современныя ему явленія, какъ человѣкъ отсталый и безъ толку раздраженный, не умѣя ни спорить логически, ни понимать надлежащимъ образомъ возраженія своихъ противниковъ. А противниками этими были всѣ передовые люди русскаго общества. Борьба Карамзина со Сперанскимъ уже показала, чего можно ожидать отъ сантиментальнаго панегириста «Мареы Посадницы». Самъ Сперанскій, возвратясь изъ ссылки, избѣгалъ даже встрѣчи съ Карамзинымъ. «Сперанскій холоденъ со мною какъ ледъ— писалъ въ 1821 г. историкъ государства россійскаго—едва говоритъ, и то уже въ случаѣ необходимости; къ намъ не

ходитъ, и я къ нему не хожу» (Письма къ Дмитріеву, стр. 313). Да и что могъ чувствовать Сперанскій, кромѣ неуваженія, къ одному изъ представителей ретроградной партіи, отъ противодѣйствія которой пали въ прахъ всѣ его лучшія надежды и стремленія? Не съ бо̀льшимъ уваженіемъ отнесся къ Карамзину, по выходѣ его исторіи, и молодой Пушкинъ. Недовольство людей, считавшихъ непригодными историческіе взгляды Карамзина, не могло свободно выражаться въ тогдашней прессѣ, но изъ записки Н. Муравьева, напечатанной г. Погодинымъ, видно, въ чемъ состояло это недовольство и какія именно мысли знаменитаго «предисловія» вызывали сильнѣйшую оппозицію въ либеральной части русскаго общества. Карамзинъ, напримѣръ, писалъ въ своемъ предисловіи, что «исторія представляетъ намъ, какъ благотворная власть обуздывала бурное стремленіе мятежныхъ страстей». А Муравьевъ замѣчалъ на это: «Согласимся, что сіи примѣры рѣдки. Обыкновенно страстямъ противятся другія-же страсти; борьба начинается, способности душевныя и умственныя съ обѣихъ сторонъ пріобрѣтаютъ наибольшую силу. Наконецъ, противники утомляются, познаютъ общую выгоду, и примиреніе заключается благоразумною опытностью. Вообще весьма трудно малому числу людей быть выше страстей народовъ, къ которымъ принадлежатъ они сами, быть благоразумнѣе вѣка и удерживать стремленіе цѣлыхъ обществъ. Слабы соображенія наши противъ естественнаго хода вещей. И даже тогда, когда мы воображаемъ, что дѣйствуемъ по собственному произволу, и тогда мы повинуемся прошедшему—дополняемъ то, что сдѣлано, то, чего требу-

етъ отъ насъ общее мнѣніе... Вообще, отъ самыхъ первыхъ временъ одни и тѣ же явленія. Отъ времени до времени рождаются новыя понятія, новыя мысли; онѣ долго маются, созрѣваютъ, потомъ быстро распространяются и производятъ долговременныя явленія, за которыми слѣдуетъ новый порядокъ вещей, новая нравственная система». Здѣсь, какъ видитъ читатель, столкнулись два совершенно противоположные взгляда на вещи: Карамзинъ видѣлъ въ исторіи два ряда явленій, не имѣющихъ между собою ничего общаго — съ одной стороны мятежныя страсти народовъ, а съ другой благотворныя дѣйствія власти;—Муравьевъ же полагалъ, что мятежныя страсти господствуютъ какъ на той, такъ и на другой сторонѣ, и задача правительствъ состоитъ не въ томъ только, чтобы «обуздывать» желанія народа, но въ томъ, чтобы сообразоваться съ «общимъ мнѣніемъ» и дѣлать своевременныя уступки новымъ понятіямъ. Далѣе Карамзинъ требуетъ, чтобы изученіе исторіи «м и р и л о насъ съ несовершенствомъ видимаго порядка вещей, какъ съ обыкновеннымъ явленіемъ во всѣхъ вѣкахъ»; а Муравьевъ говоритъ: «Конечно, несовершенство есть неразлучный товарищъ всего земнаго: но исторія должна-ли только мирить насъ съ несовершенствомъ, д о л ж н а л и п о г р у ж а т ь н а с ъ в ъ н р а в с т в е н н ы й с о н ъ к в і э т и з м а? Въ томъ [illegible] состоитъ гражданская добродѣтель, которую народное просвѣщеніе воспламенять обязано? Не миръ, но брань вѣчная должна существовать между зломъ и благомъ; добродѣтельные граждане должны быть въ вѣчномъ союзѣ противъ заблужденій и пороковъ. Не примиреніе наше съ несовершенствомъ, не удовлетвореніе суетнаго любопытства,

не пища чувствительности, не забавы праздности составляютъ предметъ исторіи. Она возжигаетъ соревнованіе вѣковъ, пробуждаетъ душевныя силы наши и устремляетъ къ тому совершенству, которое суждено на землѣ. Священными устами исторіи праотцы взываютъ къ намъ: «не посрамите земли русскія». Несовершенство видимаго порядка вещей есть, безъ сомнѣнія, обыкновенное явленіе во всѣхъ вѣкахъ, но есть различіе между несовершенствами. Кто сравнитъ несовершенства вѣка Фабриціевъ или Антониновъ съ несовершенствами вѣка Нерона или гнуснаго Геліогабала, когда честь, жизнь и самые нравы гражданъ зависѣли отъ произвола развращеннаго отрока, когда владыки міра, римляне, уподоблялись безсмысленнымъ тварямъ?» Точно также остался неудовлетворенъ «предисловіемъ» Карамзина извѣстный Лелевель, напечатавшій свой разборъ въ «Сѣверномъ Архивѣ» за 1822 годъ (№ 23); а черезъ нѣсколько лѣтъ по смерти Карамзина Н. А. Полевой рискнулъ, наконецъ, высказать прямое и откровенное мнѣніе о всей литературной дѣятельности сошедшаго съ поприща писателя. «Хронологическій взглядъ на литературное поприще Карамзина—писалъ онъ — показываетъ намъ, что онъ былъ литераторъ, философъ, историкъ прошедшаго вѣка; прежняго, не нашего поколѣнія. Это весьма важно для насъ во всѣхъ отношеніяхъ, ибо симъ вѣрно оцѣняются достоинства Карамзина, его заслуги и слава... Онъ былъ, безъ сомнѣнія, первый литераторъ своего народа въ концѣ прошедшаго столѣтія, былъ, можетъ быть, самый просвѣщенный изъ русскихъ, современныхъ ему, писателей. Между тѣмъ вѣкъ двигался съ неслыханною до того времени быстротою. Ни-

когда не было открыто, изъяснено, обдумано столь много, какъ въ Европѣ въ послѣднія 25 лѣтъ. Все измѣнилось и въ политическомъ, и въ литературномъ мірѣ. Философія, теорія словесности, поэзія, исторія, знанія политическія — все преобразовалось. Но когда начался сей новый періодъ измѣненій, Карамзинъ уже кончилъ свои подвиги вообще въ литературѣ; онъ не былъ дѣйствующимъ лицомъ; одна мысль занимала его — исторія отечества... Безъ него развилась новая русская поэзія, началось изученіе философіи, исторіи, политическихъ знаній сообразно новымъ идеямъ, новымъ понятіямъ нѣмцевъ, англичанъ и французовъ, перекаленныхъ (retrempés, какъ они сами говорятъ) въ страшной бурѣ, и обновленныхъ на новую жизнь». Объ исторіи Карамзина Полевой отзывался слѣдующимъ образомъ: «Жизнь Россіи остается для читателя неизвѣстною, хотя его утомляютъ подробностями неважными, ничтожными, занимаютъ, трогаютъ картинами великими, ужасными, выводятъ передъ нимъ толпу людей, до излишества огромную. Карамзинъ нигдѣ не представляетъ вамъ духа народнаго, не изображаетъ многочисленныхъ переходовъ его отъ варяжскаго феодализма до деспотическаго правленія Іоанна и до самобытнаго возрожденія при Мининѣ. Вы видите стройную, продолжительную галлерею портретовъ, поставленныхъ въ одинакія рамки, нарисованныхъ не съ натуры, но по волѣ художника, и одѣтыхъ также по его волѣ. Это—лѣтопись, написанная мастерски, а не исторія» («Моск. Телегр.» 1829 года, № 12).

Бѣлинскій, отдавая справедливость многимъ заслугамъ Карамзина, уже просто подтрунивалъ надъ людьми, ко-

торые «живутъ памятью сердца и не могутъ выйти изъ убѣжденія, что Карамзинъ былъ великій геній, и что его творенія вѣчны и равно свѣжи для настоящаго и будущаго, какъ они были для прошедшаго» (т. VIII, стр. 139). А г. Галаховъ до сихъ поръ не хочетъ знать этихъ отзывовъ и, воскуряя фиміамъ, священнодѣйствуетъ по старинному на могилѣ Карамзина, какъ будто бы вокругъ него стоятъ князья Шаликовы, Макаровы и другіе сверстники автора «Бѣдной Лизы», какъ будто бы въ цѣлой подлунной не произошло ничего новаго послѣ бесѣды Филалета съ Мелодоромъ...

Время и мѣсто не позволяютъ намъ останавливаться на Жуковскомъ и Крыловѣ съ тою же подробностью, съ какою остановились мы на Карамзинѣ; но все сказанное нами относится въ полной мѣрѣ къ Жуковскому и отчасти къ Крылову. Жуковскій — при всѣхъ симпатичныхъ сторонахъ своей личности и своего таланта—не лучше Карамзина понималъ духъ вѣка, не съ бо́льшимъ сочувствіемъ относился къ нему, и его литературная карьера только тѣмъ отличается отъ карамзинской, что онъ началъ съ того, чѣмъ кончилъ Карамзинъ. У послѣдняго былъ короткій періодъ увлеченія свободной философіей; онъ идеализировалъ Мароу Посадницу, увлекался швейцарской республикой и уважалъ даже Робеспьера; Жуковскій же прямо началъ съ идеализаціи кроткихъ семейныхъ добродѣтелей, съ проповѣди общественнаго застоя, и никогда не сворачивалъ съ этой дороги. Въ началѣ своей дѣятельности онъ пѣлъ:

Друзья, любите сѣнь родительскаго крова!
Гдѣ-жь счастье, какъ не здѣсь, на лонѣ тишины,
Съ забвеніемъ суетъ, съ безпечностью свободы?
О, блага чистыя, о, сладкій даръ природы!

Гдѣ вы, мои поля? Гдѣ вы, любовь весны?
Страна, гдѣ я разцвѣлъ въ тѣни уединенья,
Гдѣ сладость тайная во грудь мою лилась и пр. и пр.

А въ концѣ поприща, пройдя безучастно среди умственныхъ тревогъ и волненій александровскаго времени, онъ успокоился въ томъ же семейномъ кругу, который воспѣвалъ съ юныхъ лѣтъ:

И нынѣ тихо, безъ волненья льется
Потокъ моей уединенной жизни.
Смотря въ лицо подруги, данной Богомъ,
На освященье сердца моего,
Смотря, какъ спитъ сномъ ангела на лонѣ
У матери младенецъ мой прекрасный,
Я чувствую глубоко тотъ покой,
Котораго такъ жадно здѣсь мы ищемъ...

Даже издавая журналъ, Жуковскій вносилъ въ свою программу такую обязанность: «имѣй въ виду семейство, въ которомъ со временемъ, на самомъ дѣлѣ, ты могъ бы исполнить всѣ лучшія мечты, озаряющія твою душу въ часы уединеннаго размышленія; симъ сладостнымъ ожиданіемъ разсѣевай скуку временнаго одиночества, воображая, что дѣйствуешь въ глазахъ избраннаго, достойнаго любви, привязаннаго къ тебѣ существа» (соч. Ж-го. Изд. 1869 г. Т. VI.). Къ общественнымъ движеніямъ, къ попыткамъ политическихъ реформъ Жуковскій относился съ такой же безпощадной строгостью, какъ и Карамзинъ. Такъ, въ одномъ своемъ письмѣ, онъ порицаетъ происшествія 1848 года въ Германіи; въ другомъ прозаическомъ очеркѣ, по поводу того же возникновенія представительныхъ правительствъ въ Германіи, Жуковскій пророчитъ: «представительная система сама себя въ своемъ развитіи уничтожитъ, уступивъ, наконецъ, мѣсто чистой монархіи, опирающейся на государственные штаты». У насъ, до

сихъ поръ, считаютъ Карамзина родоначальникомъ сантиментальнаго направленія, а Жуковскаго — представителемъ романтизма въ русской литературѣ; но если мы перестанемъ гоняться за словами, то увидимъ, что въ стремленіяхъ и идеалахъ обоихъ этихъ писателей существуетъ полнѣйшая солидарность, слегка оттѣняемая нѣкоторыми личными свойствами ихъ характеровъ. У Жуковскаго больше теплоты и сердечности, у Карамзина—холодности и резонерства; Жуковскій, какъ мистикъ и мечтатель, больше тянется къ облакамъ, Карамзинъ же гораздо положительнѣе его. Но чуть лишь Жуковскій вступилъ въ земную юдоль,—онъ смотритъ на все глазами Карамзина. Семейный кружокъ является для него такъ же, какъ и для Карамзина, апоѳеозой земнаго счастія; патріархальныя условія общественной жизни кажутся ему такою же точно святыней, до которой не должна касаться ничья продерзостная рука. Обоихъ писателей можно назвать одинаково проповѣдниками общественнаго квіэтизма (черта, усмотрѣнная въ Карамзинѣ Муравьевымъ) и узенькаго благополучія въ домашней сферѣ. Съ словомъ же «романтизмъ» нужно обращаться крайне осторожно, такъ-какъ оно производило въ оны дни такую же путаницу въ умахъ, какую производитъ, въ наше время, пресловутая кличка нигилизма. Подъ романтизмомъ понимали вообще уклоненіе отъ старыхъ школьныхъ правилъ, выработанныхъ псевдоклассическими піитиками, и этимъ отрицательнымъ названіемъ, которое, собственно говоря, ничего не опредѣляло, окрестили людей различнаго направленія, сходившихся въ противодѣйствіи мерзляковской риторикѣ. Такимъ образомъ, подъ это названіе подошли и Жуковскій, и Пушкинъ, и Веневити-

новъ, и Рылѣевъ, хотя каждый изъ нихъ вносилъ въ литературу совершенно особые элементы, весьма мало похожіе одинъ на другой. Какое сходство, напримѣръ, между «добрымъ и счастливымъ человѣкомъ» Жуковскаго, который ищетъ «лучшихъ наслажденій и драгоцѣнныхъ наградъ въ нѣдрѣ семейства», и тѣмъ вѣчно-тревожнымъ, самоотверженнымъ общественнымъ дѣятелемъ, который сказалъ о себѣ:

Еще отъ самой колыбели
Къ свободѣ страсть жила во мнѣ;
Мнѣ мать и сестры пѣсни пѣли
О незабвенной старинѣ!

Столь же мало общаго между Теономъ, усѣвшимся мирно у гроба своей возлюбленной въ ожиданіи будущей съ нею встрѣчи, и пушкинскимъ Алеко, который мечется изъ шатра въ шатеръ подъ вліяніемъ байроновскаго скептицизма и разочарованія. Веневитиновъ стоитъ также особнякомъ въ этой группѣ, съ своимъ разностороннимъ образованіемъ, съ своей философской пытливостью, наложившей рѣзкій отпечатокъ на всю его поэзію. А между тѣмъ всѣ названныя лица зачислялись современниками подъ одно общее знамя романтизма.—Г. Галаховъ, возвеличивая Карамзина, не упустилъ случая умилиться и предъ Жуковскимъ, и это, по крайней мѣрѣ, послѣдовательно съ его стороны. «Нетрудно оспаривать — говоритъ онъ — положеніе автора, ставящаго семейство на первомъ планѣ, впереди отечества и всего рода человѣческаго; но онъ думалъ такъ, и его мнѣніе имѣло для него силу искренняго убѣжденія. Кто усвоивалъ его образъ мыслей, тому было ясно, что семейство дѣйствительно заключаетъ въ себѣ всѣ особенности идеала, достойнаго сдѣлаться цѣлью исканій каждаго».

Ну а тѣ, кто не усвоилъ себѣ этого образа мыслей—что же вы объ нихъ-то умалчиваете, г. Галаховъ? правы они или нѣтъ, и трудно ли ихъ оспаривать? Впрочемъ г. Галаховъ не умалчиваетъ о нихъ и черезъ двѣ страницы даже вступаетъ съ ними въ полемику. «Обвиняютъ Жуковскаго — такъ возвращается онъ à ses moutons,—что своими заоблачными идеалами, своимъ стремленіемъ къ незримому и таинственному, онъ наводилъ на современныхъ читателей, преимущественно на молодежь, праздную мечтательность, созерцательную косность, не только не пригодную, но даже вредную для дѣятельной жизни. Нужно было укрѣплять наши силы въ виду борьбы, предстоящей каждому человѣку въ обществѣ—укоряли его—а онъ разслаблялъ насъ. Но такое обвиненіе, если оно и справедливо (?) падаетъ не на одного Жуковскаго, а на многихъ поэтовъ-идеалистовъ христіанскаго міра. Одно изъ двухъ: или надобно доказать внутреннюю несостоятельность поэтическаго идеализма вообще (что̀ невозможно), или видя въ немъ не случайное и фальшивое явленіе и признавъ за нимъ sa raison d'être, признать съ тѣмъ вмѣстѣ, что онъ настраивалъ сердца̀ къ благороднымъ и возвышеннымъ движеніямъ, которымъ не было причины оставаться безплодными и въ семействѣ, и въ обществѣ. Идеализмъ есть не только необходимая стадія въ развитіи поэзіи, но и необходимая, существенная ея принадлежность, безъ различія времени и народовъ. А если ужь каждому поэту непремѣнно слѣдуетъ быть Тиртеемъ борьбы въ жизни и для жизни, то притязательные критики могутъ успокоиться: Жуковскій также проповѣдовалъ войну—войну души съ нечистыми помыслами и дѣяніями» и пр. Здѣсь

г. Галаховъ начинаетъ уже иронизировать; но надъ кѣмъ или надъ чѣмъ иронизируетъ онъ? Что идеализмъ Жуковскаго отрывалъ умы людей отъ дѣйствительной жизни, что онъ нашептывалъ имъ пренебреженіе къ общественнымъ связямъ и обязанностямъ, ставя выше всего любовь къ женщинѣ, а, по смерти ея, «стремленье въ оный таинственный свѣтъ», куда никто не знаетъ дороги; что онъ тормозилъ довольно долго наклонность къ реальному мышленію — въ этомъ едва ли возможно сомнѣваться. Какимъ же чудомъ этотъ идеализмъ сдѣлался «необходимой, существенной принадлежностью поэзіи, безъ различія времени и народовъ»? Не смѣшиваетъ ли, попросту, авторъ творческую идеализацію, дѣйствительно необходимую поэту для осмысливанія и комбинированія наблюдаемыхъ фактовъ, съ идеализмомъ, какъ нравственною системой, слишкомъ извѣстной по своимъ характеристическимъ признакамъ? Если такъ, то пусть онъ посмѣется надъ самимъ собою, а не надъ «притязательными критиками», которые, по всей вѣроятности, лучше его понимаютъ эту разницу.

VII.

До сихъ поръ мы одобряли автора за «послѣдовательность» въ хвалебномъ настроеніи его пера; но теперь пришла минута, когда мы должны сильно ограничить или даже совсѣмъ отобрать назадъ и этотъ комплиментъ. Въ отношеніи къ Жуковскому г. Галаховъ стоитъ еще твердо и не даетъ его въ обиду разнымъ придирчивымъ критикамъ; но вотъ

зашла рѣчь о Крыловѣ—и картина быстро мѣняется. Г. Галаховъ забываетъ вдругъ всѣ уловки и извороты, всѣ circonstances atténuantes, которыми любилъ угостить читателя во славу своихъ любимцевъ; онъ самъ дѣлается, на этотъ разъ, строгъ и притязателенъ, и пробуетъ на бѣдномъ баснописцѣ всю мощь своего критическаго анализа. Мы бы собственно ничего не возразили противъ такой требовательности, еслибы она примѣнялась равномѣрно ко всѣмъ богамъ русскаго олимпа; но, обрушиваясь въ частности на одного Крылова, она побуждаетъ невольно вступиться за него—по крайней мѣрѣ, «для сравненія его съ сверстниками». Крыловъ, напримѣръ, осуждалъ, подобно Карамзину, либерализмъ александровской эпохи, называлъ ослами, забравшимися на Парнасъ, первыхъ совѣтниковъ государя, и даже—по мнѣнію г. Кеневича—не пощадилъ и Сперанскаго въ баснѣ: «Орелъ и паукъ», представивъ его въ видѣ паука, который «безъ ума и трудовъ» взлетѣлъ высоко на орлиномъ хвостѣ. Послѣднее толкованіе г. Кеневича, правда, подвергается сомнѣнію, но общій неодобрительный тонъ Крылова по отношенію къ современному ему политическому свободомыслію не нуждается въ доказательствахъ. Казалось бы, что г. Галахову, потратившему немало краснорѣчія на защиту Карамзина, слѣдовало также отстаивать и Крылова— и, пожалуй, отстаивать съ бо̀льшимъ азартомъ, такъ-какъ аллегорическія картинки дѣдушки-баснописца легче поддаются объясненію въ ту или другую сторону. Такъ мы и ждали, но — какъ сказано — обманулись. За Сперанскаго г. Галаховъ стоитъ горой; къ свободѣ мысли изъявляетъ платоническое влеченіе и за недостатокъ этого влеченія въ

Крыловѣ обзываетъ его—словами Сперанскаго—«порядочнымъ невѣждой». Онъ даже ссорится, въ нѣсколькихъ мѣстахъ, съ г. Кеневичемъ за его неисправимое пристрастіе къ своему идеалу—Крылову. Вотъ, напримѣръ, какому разбору подвергаетъ г. Галаховъ басню Крылова «Водолазы»:

«Съ какой стороны ни судить о притчѣ—пишетъ нашъ строгій критикъ—она оказывается несостоятельною, построенною на такомъ сравненіи, которое, по французской поговоркѣ, ничего не доказываетъ. Алчность къ пріобрѣтенію матеріальныхъ богатствъ нельзя уподоблять жаждѣ умственныхъ изслѣдованій, глубинѣ знанія. Въ стремленіи къ истинѣ умъ не можетъ остановиться на срединѣ. Врожденная, совершенно законная пытливость духа влечетъ человѣка нескончаемо и безгранично, хотя бы за это влеченіе онъ жертвовалъ жизнью (боже, какой паѳосъ!) или навсегда утрачивалъ счастіе, какъ юноша въ Шиллеровомъ стихотвореніи: «Покрытый истуканъ въ Саисѣ». Эта пытливость есть столько же прирожденное намъ свойство, сколько и необходимое условіе нашего совершенствованія, почему и нельзя сказать, будто водолазъ Крылова «погибаетъ оттого, что рѣшился на дѣло, противное природѣ человѣка». (Это сказано г. Кеневичемъ въ одномъ изъ его безчисленныхъ и на половину не нужныхъ примѣчаній). Если же на притчу смотрѣть по отношенію ко времени ея появленія, то ее, по малой мѣрѣ, слѣдуетъ назвать несвоевременною и неумѣстною. Мы и теперь еще не можемъ похвалиться успѣхами въ любомудріи: если любомудріе—зло, то оно и теперь у насъ въ большомъ недостаткѣ, а не въ большомъ излишкѣ. Разумѣется,

и предки наши, въ первую половину царствованія Александра I-го, не до такой степени погружались въ знанія, чтобы слѣдовало удерживать ихъ рвеніе; напротивъ, было бы благоразумнѣе и патріотичнѣе возбуждать въ нихъ охоту къ умственнымъ трудамъ, которымъ очень немногіе посвящали свое время. Мнѣніе, что Крыловъ, по существующему отличію своего таланта, ко всему относился не иначе, какъ критически (это опять мнѣніе г. Кеневича), можетъ оправдывать другаго писателя, а не нашего, который такъ высоко цѣнилъ нравоучительные выводы, и цѣлью авторской дѣятельности ставилъ пользу сограждань. Такой писатель, и при выборѣ предметовъ для сатиры, и въ самой сатирѣ, обязанъ руководствоваться не естественнымъ позывомъ таланта, но и взглядомъ на литературу, имъ же самимъ высказаннымъ. Въ неумѣньѣ на первыхъ порахъ приняться за хорошее дѣло или въ неловкости, съ какой принимаются за него новички, и въ происходящихъ отсюда комическихъ сценахъ, онъ не дозволитъ себѣ видѣть уже крайность зла и не замѣчать начала добра: иначе сатира нанесетъ вредъ самымъ уважительнымъ стремленіямъ общества. Настроеніе сатирика сообщится читателямъ, которые, ради нелѣпостей и неудачъ, обнаруживаемыхъ при вступленіи въ неизвѣданныя дотолѣ области, сочтутъ и послѣднія нелѣпостью. Къ числу такихъ областей принадлежала въ нашемъ обществѣ наука» (стр. 311—12). Въ другомъ мѣстѣ, разобравъ еще нѣкоторыя басни Крылова, направленныя противъ вольнодумства и философіи («Сочинитель и разбойникъ»; «Огородникъ и философъ» и др.), г. Галаховъ снова настойчиво замѣчаетъ: «Общественное

значеніе литературныхъ произведеній опредѣляется какъ подборомъ ихъ предметовъ, такъ и взглядами, въ нихъ выражаемыми. И предметы, и взгляды пріобрѣтаютъ бо̀льшую или меньшую важность, смотря по ихъ отношенію къ мѣсту и времени. Что̀ хорошо и кстати въ одну эпоху, то непригодно и даже вредно для другой. Съ этой точки зрѣнія, басни Крылова, о которыхъ мы говорили, подлежатъ осужденію. Дѣйствительно баснописецъ долженъ былъ подумать: чѣмъ болѣе страдало современное ему русское общество— привычкою ли видѣть то, чего нельзя не видѣть, что по величинѣ своей бросается въ глаза каждому (см. басню «Любопытный»), или неумѣньемъ замѣчать такія вещи, которыя, кромѣ глазъ, требуютъ умственнаго зрѣнія и вниманія? поклоненіемъ ли навыку, державшему легіоны въ крѣпостной у себя зависимости, или педантическимъ стремленіемъ замѣстить безсознательный навыкъ сознательнымъ образомъ мыслей,—желаніемъ, которое заявляли единицы и десятки? довѣріемъ ли къ наукѣ и страстію рыться и погибать въ ея глубинахъ или, наоборотъ, мелкимъ плаваніемъ по знанію?... Развивалась ли на виду у баснописца литература съ безнравственнымъ направленіемъ? гдѣ сочинители, отравлявшіе ядомъ своихъ твореній общество, или философы—наставники, заражавшіе ядовитымъ ученіемъ юношество? Если отвѣты на эти вопросы легки и ясны, то непонятна случайность, по которой человѣкъ такого ума и таланта, какъ Крыловъ, обходилъ большинство явленій наиболѣе тяжкихъ, будто ихъ вовсе не существовало, и выбиралъ предметомъ своей сатиры меньшинство противоположныхъ явленій, какъ

будто въ нихъ сосредоточивалась вся сила народнаго зла?... Почему и какъ баснописецъ преслѣдовалъ мошекъ и букашекъ и не замѣчалъ слона?» Отсюда г. Галаховъ дѣлаетъ выводъ, что образованіе баснописца было мелко и ограниченно, что онъ чувствовалъ полнѣйшее равнодушіе къ знанію независимо отъ ближайшихъ и практическихъ въ немъ надобностей, что онъ не имѣлъ никакого положительнаго образа мыслей, и его «идеалъ заключался въ покоѣ безстрастія». Говоря откровенно, мы находимъ такой приговоръ слишкомъ рѣзкимъ и одностороннимъ, такъ-какъ трезвый и практическій умъ Крылова нерѣдко указывалъ ему на дѣйствительно-важные недостатки русскаго общества (вспомнимъ басни: «Свинья подъ дубомъ», «Рыбьи пляски», «Мірская сходка», «Листы и корни», «Слонъ на воеводствѣ»); но въ примѣненіи къ разобраннымъ баснямъ критическій пріемъ г. Галахова совершенно вѣренъ. Мы недоумѣваемъ только: почему г. Галаховъ опрокинулся съ такой строгостью на Крылова, у котораго вредное вліяніе одной басни часто парализировалось несомнѣнно хорошимъ вліяніемъ другой, и не испробовалъ своего критическаго пріема на всей дѣятельности Карамзина, начиная съ «Записки о древней и новой Россіи»? Поживы ему было бы гораздо больше, и онъ могъ бы закидать своего излюбленнаго писателя такими вопросами: «неужели въ русскомъ обществѣ александровскаго времени политическій либерализмъ былъ самою зловредною чертою, наиболѣе заслуживающей полемики? неужели въ немъ не было никакого другаго, болѣе сильнаго и живучаго зла? считались ли у насъ тысячами люди, интересовававшіеся общественными событіями, или,

наоборотъ, нашу инерцію, нашу безпечность въ этомъ отношеніи нужно было будить героическими средствами? гдѣ скрывались, наконецъ, наши Дантоны и Мараты, которыми Карамзинъ стращалъ пугливый народъ?» и пр. и пр. Если-бы г. Галаховъ захотѣлъ быть справедливымъ, то на эти вопросы онъ отвѣтилъ бы еще рѣзче, чѣмъ на вопросы, заданные имъ скромному баснописцу, который уже тѣмъ выше Карамзина, что, по собственному выраженію, «не пускался въ открытое море», чувствуя недостаточность своихъ силъ, и не брался служить для цѣлаго государства мужемъ разума и совѣта.

О НОВѢЙШЕМЪ ПРЕПОДАВАНІИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ДРУГИХЪ ПРЕДМЕТОВЪ.

(О преподаваніи русской литературы. Соч. Владиміра Стоюнина. Курсъ общей педагогики, г. Юркевича).

I.

Преподаваніе теоріи и исторіи словесности представляется, до сихъ поръ, крайне неудовлетворительнымъ въ нашихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Это хорошо извѣстно всѣмъ практическимъ педагогамъ, всѣмъ лицамъ, сколько-нибудь заинтересованнымъ въ этомъ дѣлѣ. Объясненія для этого факта представляются различныя. Иные, напр., относя все къ личности преподавателя, умѣющаго или неумѣющаго осмыслить и изложить свой учебный предметъ, склонны находить причину явленія въ плохой подготовкѣ учителей, изъ которыхъ далеко не всѣ прошли «серьезную филологическую школу», то-есть, воспитали себя на чтеніи и изученіи классическихъ авторовъ. Повидимому съ цѣлью помочь этой бѣдѣ, основанъ здѣсь историко-филологическій институтъ, питомцы котораго должны будутъ преподать намъ образцы надлежащаго пониманія задачъ и требованій современной науки въ ея примѣненіи къ педагогическимъ условіямъ среднихъ общеобразовательныхъ школъ... Мы желаемъ всякихъ успѣховъ новому разсаднику филологическихъ познаній въ Рос-

сіи; но думаемъ, что дѣятельность его врядъ ли принесетъ замѣтную пользу, если ко времени перваго выпуска его «дорогихъ» слушателей (несомнѣнно, что они стоютъ казнѣ очень дорого, такъ-какъ въ институтѣ совсѣмъ нѣтъ своекоштныхъ воспитанниковъ, и классическую древность признано полезнымъ изучать только на казенный счетъ),—если къ этому великому дню не измѣнятся нисколько господствующіе нынѣ взгляды на преподаваніе словесныхъ наукъ. Личность преподавателя, его познанія и педагогическій тактъ, безъ сомнѣнія, много значатъ для успѣха преподаванія; но самая-то личность несетъ на себѣ вліяніе общихъ условій, которыя не всегда удобно и не всегда возможно устранить. Какъ ни будь свѣдущъ и талантливъ преподаватель, но если его свяжутъ по рукамъ и по ногамъ обязательной программой, односторонней и схоластической,—то врядъ ли онъ можетъ выпутаться совершенно невредимо изъ этихъ крѣпкихъ тенетъ, врядъ ли не загубитъ въ нихъ бóльшую часть своихъ познаній и горячаго рвенія къ дѣлу. Къ сожалѣнію, въ нашихъ вліятельныхъ педагогическихъ сферахъ, откуда излетаютъ всевозможные «прожекты» и програмы,—все, повидимому, съ цѣлью усовершенствовать,—никакъ не можетъ установиться и окрѣпнуть правильный взглядъ на задачу и объемъ преподаванія словесности. Въ былые дни мы изучали «по Зеленецкому» всѣ роды и виды поэзіи и прозы, всѣ риторическія украшенія рѣчи; обогащали свою память бездною тонкихъ, отвлеченныхъ опредѣленій романа, драмы, комедіи и пр., не прочтя толкомъ ни одного порядочнаго автора; бойко сдавали, наконецъ, свой выпускной экзаменъ и, уже много лѣтъ спустя, при первомъ запросѣ на действи-

тельныя познанія, на серьезную критическую оцѣнку литературнаго произведенія. убѣждались, что зазубрить по книжкѣ теоретическое опредѣленіе—не значитъ еще умѣть примѣнить его къ живому литературному образцу. Такъ научались мы по Зеленецкому теоріи словесности. По тому же курсу (но по другой книжкѣ) знакомились мы съ прогрессивнымъ движеніемъ русской литературы. Тутъ узнавали мы имена и отчества почти всѣхъ сочинителей, когда либо воздѣлывавшихъ вертоградъ россійской словесности, запоминали годъ ихъ рожденія и смерти, чины и знаки отличія, полученные ими (буде сочинители состояли въ государственной службѣ), заучивали неукоснительно всѣ заглавія никогда не прочтенныхъ нами поэмъ, драмъ, и, въ заключеніе всего, начинивъ себя различными фразами о сентиментальности Карамзина, народности Пушкина и юморѣ Гоголя, получали право сказать, что мы-де знаемъ исторію русской литературы. Схоластика Зеленецкаго рухнула и, послѣ нѣсколькихъ попытокъ раціональнаго веденія дѣла, мы снова пришли къ другой, не менѣе вредной крайности. Многіе педагоги (и притомъ изъ вліятельныхъ), осудивъ Зеленецкаго за обиліе отвлеченной мудрости, вообразили, что теорія и исторія словесности не могутъ быть ничѣмъ инымъ, какъ звонкими, безсодержательными фразами, нимало непонятными для учениковъ; ссылаясь на плохой результатъ обученія «по Зеленецкому», они стали увѣрять, что вообще критика литературныхъ произведеній съ выводомъ изъ нея основныхъ теоретическихъ различій (т.-е., того, что̀ составляетъ въ здравомъ преподаваніи теорію словесности) недоступна ученику средняго учебнаго заведенія—такъ точно,

какъ недоступно ему связное систематическое изложеніе постепеннаго развитія и смѣны понятій и идеаловъ въ исторіи словесности. Оба предмета, взаимно-дополняющіе одинъ другой, исчезали, такимъ образомъ, изъ гимназическаго курса, а чтобы замѣстить чѣмъ-нибудь этотъ пробѣлъ, новые педанты предлагали особенно налечь на исторію языка. Какъ будто историческое изученіе языка—дѣло немногихъ спеціалистовъ—болѣе доступно пониманію юношества, болѣе своевременно и плодотворно, чѣмъ изученіе литературныхъ произведеній въ достаточно широкой, разъясняющей ихъ исторической обстановкѣ; какъ будто, наконецъ, раціональная исторія языка возможна безъ исторіи мысли, выражавшейся въ немъ! Въ духѣ этой филологической односторонности составлены всѣ новѣйшія программы по исторіи русской словесности, въ которыхъ видно желаніе расширить, сколько возможно, филологическій матеріалъ и сжать до послѣдней степени исторію мысли въ литературныхъ произведеніяхъ. Такимъ образомъ, число авторовъ и количество сочиненій, обязательныхъ для разбора въ старшихъ классахъ гимназій, убавляется съ каждымъ годомъ: изъ Фонъ-Визина нынѣ рекомендуется только одинъ «Недоросль», котораго нельзя ни понять, ни оцѣнить, не сопоставивъ его съ другими произведеніями того же писателя и современныхъ ему авторовъ; изъ лирическихъ стихотвореній Пушкина берутся только «Бородинская годовщина» и «Клеветникамъ Россіи»; за Грибоѣдовымъ, кажется, совсѣмъ не признано права просвѣщать русское юношество, и т. д. Зато филологія процвѣтаетъ!

Но въ то время, какъ оффиціальныя программы обна-

руживають попытку обойтись совсѣмъ безъ теоріи и исторіи литературы, ограничившись одними лингвистическими упражненіями,—въ нашей педагогической литературѣ разрабатываются съ большимъ толкомъ новые методы преподаванія обоихъ изгоняемыхъ предметовъ. Одному изъ нихъ посвящена полезная книга г. Водовозова: «Словесность въ образцахъ и разборахъ, съ объясненіемъ общихъ свойствъ сочиненія и главныхъ родовъ поэзіи и прозы». Здѣсь авторъ сдѣлалъ довольно удачный опытъ—выводить главнѣйшія правила, такъ-называемой, теоріи словесности изъ внимательнаго критическаго разбора самихъ литературныхъ произведеній, устраняя всѣ схоластическіе пріемы, донынѣ употреблявшіеся при этомъ случаѣ. Такъ, напримѣръ, г. Водовозовъ сличаетъ весьма подробно «Капитанскую дочку» съ историческимъ описаніемъ пугачевскаго бунта и затѣмъ, уже послѣ долгихъ объясненій и выводовъ, приступаетъ къ характеристикѣ поэзіи вообще. Также точно, родовыя свойства эпоса, отличительныя черты народнаго творчества, общія свойства драмы, трагическое и комическое въ искусствѣ— изслѣдуются у автора чисто-индуктивнымъ путемъ, и теоретическія обобщенія даются имъ, какъ результатъ точнаго и дробнаго анализа. Свойства образнаго слога (то, что въ старыхъ риторикахъ называлось тропами и фигурами) указывались г. Водовозовымъ тоже на примѣрахъ, и притомъ безъ лишняго употребленія терминовъ. Въ своемъ критическомъ разборѣ литературныхъ произведеній авторъ книги такъ мало скупился на анализъ всѣхъ, даже незначительныхъ подробностей, такъ добросовѣстно углублялся во всѣ изгибы поэтической мысли, что вызвалъ справедливый упрекъ

въ излишествѣ мелочныхъ критическихъ наблюденій и въ недостаткѣ синтеза, то-есть обобщающихъ выводовъ. Тѣмъ не менѣе книга его составляетъ пріобрѣтеніе для педагогической литературы. Въ такомъ видѣ теорія словесности перестаетъ быть пугаломъ для учениковъ и дѣлается средствомъ для полезныхъ умственныхъ занятій, естественнымъ продолженіемъ и завершеніемъ высшаго грамматическаго курса. Отъ изученія языка, какъ формы, въ которой выражается человѣческая мысль, такъ просто и необходимо перейти къ анализу самой этой мысли, къ отысканію тѣхъ общихъ правилъ, по которымъ создаются литературныя произведенія и обогащаютъ языкъ новыми образами, выраженіями и оборотами рѣчи. Сколько бы ни говорили педанты о томъ, что подобная критическая работа приходится будто бы не по силамъ учениковъ въ старшихъ классахъ гимназій, педагогическій опытъ всегда будетъ свидѣтельствовать противное и покажетъ яснымъ образомъ, что за этимъ соболѣзнованіемъ о слабыхъ силахъ юношей скрываются какія-нибудь другія, болѣе искреннія и болѣе внушительныя соображенія въ родѣ тѣхъ, которыя высказаны были довольно откровенно въ одномъ отчетѣ о преподаваніи словесности въ гимназіяхъ здѣшняго учебнаго округа. Въ этомъ отчетѣ говорилось, напримѣръ (и, помнится, именно по поводу преподаванія г. Водовозова), что ученики не должны-де критически относиться къ с а м о м у Карамзину, что такое отношеніе разовьетъ въ нихъ гордость, фразерство, самоувѣренныя претензіи и т. п., тогда какъ въ ихъ нѣжномъ возрастѣ полезнѣе внимать безпрекословно хвалебнымъ характеристикамъ, которыя услышатъ они съ каѳедры учителя (конечно, вельми благонамѣреннаго)

и прочтутъ въ учебникахъ (конечно, одобренныхъ начальствомъ). При такомъ оригинальномъ взглядѣ на значеніе критическаго анализа въ воспитаніи, преподаваніе словесности можетъ, дѣйствительно, превратиться въ пустую, самодовольную, недопускающую возраженій, догматику съ одной стороны и въ безсмысленное заучиванье фразъ учителя или учебника—съ другой. Такого рода словесность, дѣйствительно, безполезна, и мы за нее не стоимъ.... Но зачѣмъ же сваливать свою вину на другихъ и обвинять въ подготовленіи фразеровъ именно тѣхъ людей, которые, развивая въ ученикахъ способность критической оцѣнки предметовъ, тѣмъ самымъ отучаютъ ихъ отъ рабскаго, неосмысленнаго повторенія чужихъ фразъ? Зачѣмъ отказываться отъ логическихъ послѣдствій своего собственнаго мнѣнія? Il faut avoir courage de son opinion, messieurs...

Если книга г. Водовозова полезна для раціональнаго преподаванія теоріи словесности, то книга г. Стоюнина, заглавіе которой приведено выше, въ той же мѣрѣ полезна для преподаванія исторіи русской литературы. Она выдержала уже нѣсколько изданій и вполнѣ заслуживаетъ своего успѣха, такъ-какъ, несмотря на нѣкоторые чувствительные недостатки, она представляетъ единственный или, по крайней-мѣрѣ, лучшій образчикъ примѣненія литературнаго курса къ потребностямъ среднихъ учебныхъ заведеній. Г. Стоюнинъ не имѣлъ въ виду написать цѣлый курсъ исторіи русской литературы въ строгой связи и послѣдовательности; цѣль его была преимущественно педагогическая, а именно онъ вознамѣрился, по поводу нѣкоторыхъ книгъ, общеупотребительныхъ въ преподаваніи русской словесности (какъ-то: «Исто-

ріи словесности» г. Галахова и христоматій гг. Буслаева и Филонова), изложить свои мысли о томъ, чѣмъ должна быть исторія литературы въ гимназическомъ курсѣ, какъ нужно подготовлять учениковъ къ ея слушанію и на какія именно стороны литературныхъ произведеній, древнихъ и новыхъ, слѣдуетъ обращать вниманіе при классномъ разборѣ. Такимъ образомъ книга г. Стоюнина распадается на нѣсколько частей, недостаточно спаянныхъ между собою. Прежде всего авторъ опредѣляетъ педагогическую цѣль въ преподаваніи словесности (разумѣя здѣсь какъ теорію, такъ и исторію предмета) и указываетъ средства, какими можетъ быть достигнута эта цѣль; далѣе онъ обращается къ книгѣ г. Водовозова и высказываетъ свое мнѣніе, вполнѣ добросовѣстное, о степени ея педагогической пригодности; затѣмъ переходитъ собственно къ исторіи литературы и останавливается подробно, въ связи съ разбираемыми имъ книгами, на самыхъ важныхъ моментахъ въ развитіи русской литературы— на тѣхъ моментахъ, на которыхъ долженъ сосредоточиваться, по его мнѣнію, весь интересъ и смыслъ преподаванія. Въ этомъ послѣднемъ отдѣлѣ авторъ обращаетъ всего больше вниманія на развитіе народныхъ «идеаловъ», понимая подъ этимъ словомъ образное представленіе народа о политической власти, о религіозныхъ, общественныхъ и семейныхъ обязанностяхъ человѣка. Здѣсь мы находимъ вѣрное пониманіе многихъ, весьма важныхъ литературныхъ вопросовъ; кромѣ того, встрѣчается нѣсколько сдержанныхъ, но вѣскихъ и справедливыхъ возраженій г. Галахову. Только уже въ 21-й главѣ своей книги авторъ представляетъ образцы разборовъ по теоріи словесности, хотя эти разборы были бы умѣстнѣе въ началѣ

книги: вѣдь теорія словесности должна предшествовать исторіи, а не наоборотъ. Изъ этого краткаго перечня содержанія главъ видно, что книга г. Стоюнина страдаетъ недостаткомъ правильнаго и опредѣленнаго плана. Авторъ желалъ совмѣстить въ своемъ трудѣ, по малой мѣрѣ, три разнородныя задачи: вопервыхъ, написать критическій разборъ на нѣсколько книгъ (гг. Галахова, Водовозова, Буслаева и Филонова); вовторыхъ, представить пробный курсъ по теоріи словесности и, наконецъ, втретьихъ, прослѣдить всѣ главнѣйшіе моменты въ развитіи русской литературы и общества. Между тѣмъ для каждой изъ этихъ задачъ, чтобы исчерпать ее вполнѣ, понадобилось бы написать особую книгу, какъ это и сдѣлалъ г. Водовозовъ исключительно для теоріи словесности. Вслѣдствіе этой разрозненности плана г. Стоюнинъ не успѣлъ высказать вполнѣ своихъ взглядовъ на развитіе русской литературы, такъ-какъ первый томъ «Исторіи словесности» Галахова, на который онъ писалъ свой разборъ, доведенъ только до появленія Карамзина, и это обстоятельство стѣснило, замѣтно, г. Стоюнина, ограничившагося обязанностью рецензента. По той же причинѣ, курсъ теоріи словесности, вошедшій въ книгу въ видѣ пробныхъ уроковъ, оказался черезчуръ сжатъ и не представляетъ отвѣта на многіе крупные теоретическіе вопросы, неизбѣжно являющіеся при оцѣнкѣ литературныхъ произведеній. Г. Стоюнинъ, пожалуй, возразитъ намъ, что онъ считаетъ теорію и исторію словесности одним ъ предметомъ, а потому и говоритъ объ нихъ въ одной книгѣ; но этимъ возраженіемъ врядъ-ли возможно удовлетвориться. Какъ бы ни были шатки теоретическія основанія литератур-

ной критики, составляющія то, что называется на учебномъ языкѣ «теоріей словесности», какъ бы мало ни соотвѣтствовала современная эстетика названію науки (мы не будемъ спорить съ г. Стоюнинымъ, что такого названія она покуда и не заслуживаетъ); но несомнѣнно, однако, то, что, приступая къ чтенію и оцѣнкѣ литературныхъ произведеній, необходимо установить эстетическія начала въ томъ или другомъ видѣ, примѣняясь, конечно, къ потребностямъ и пониманію учениковъ. Итакъ, одно дѣло—изучать литературу съ цѣлью: указать общіе признаки, по которымъ словесныя произведенія группируются подъ рубрики драмы, эпоса и лирики, а также найти критическія требованія, одинаково приложимыя къ цѣлому роду произведеній, и другое дѣло—коснуться спеціально исторіи литературы своего только народа, чтобы показать существенныя черты народнаго духа и постепенное измѣненіе народныхъ идеаловъ. Въ первомъ случаѣ возможно, и даже должно, заимствовать подходящіе примѣры и доказательства изъ всѣхъ европейскихъ литературъ; во второмъ случаѣ преподаватель ограниченъ исторіей одного народа, и чѣмъ больше захватитъ онъ въ свой курсъ реальныхъ, бытовыхъ и историческихъ чертъ, тѣмъ полезнѣе будетъ онъ для своихъ учениковъ. Выяснять критическія начала, растолковывать ходячіе литературные термины тутъ уже поздно: это дѣло должно быть сдѣлано ранѣе. Нужно только сравнить двѣ половины книги г. Стоюнина — историческую и эстетическую, — чтобы увидѣть, что и самъ онъ преслѣдуетъ въ обоихъ случаяхъ разныя цѣли.—При всемъ томъ книга г. Стоюнина заключаетъ въ себѣ много хорошихъ сторонъ: сюда относимъ мы всѣ педагогическія разсужденія его,

обнаруживающія въ немъ опытнаго и здравомыслящаго педагога, и бо̀льшую часть его историко-литературныхъ взглядовъ, за исключеніемъ, напримѣръ, преувеличенныхъ похвалъ Кантемиру, изъ всѣхъ сатиръ котораго только одна сатира «Къ уму моему» заслуживаетъ, на нашъ взглядъ, разбора съ учениками, да и то не сама по себѣ, а какъ удобный предлогъ для характеристики петровскаго времени. Педагогическая цѣль преподаванія словесности опредѣлена у г. Стоюнина совершенно правильно, и съ этимъ опредѣленіемъ стоитъ познакомить нашихъ читателей. По мнѣнію г. Стоюнина, каждый преподаватель долженъ найти въ своемъ учебномъ предметѣ три живыя силы, которыя благодѣтельно дѣйствовали бы на учащихся: 1) онъ долженъ сообщать имъ истинныя познанія, касающіяся природы и человѣка; 2) развивать ихъ и 3) пріучать къ труду. Примѣняя эти требованія къ преподавателямъ словесности, авторъ находитъ, что только немногіе изъ нихъ удовлетворяютъ всѣмъ нужнымъ условіямъ, большинство же гонится за однимъ изъ нихъ, забывая остальныя. «Есть такіе преподаватели—пишетъ г. Стоюнинъ—которые исключительно заботятся о количествѣ знаній; чѣмъ больше, тѣмъ лучше—говорятъ они—и, дѣйствительно, передаютъ много фактовъ и даже разсужденій, разсчитывая на силу памяти, которая на извѣстное время можетъ удержать все переданное. Про ихъ учениковъ можно сказать, что они выучили предметъ, но нельзя сказать, что они правильно развивались на этомъ предметѣ, а тѣмъ болѣе, что они разумно надъ нимъ работали и слѣдственно привыкали къ труду. Они только учили на память, считая это занятіе утомительнымъ трудомъ, къ

которому трудно почувствовать расположеніе. Есть другіе преподаватели, которые на первомъ планѣ ставятъ развитіе, и основываютъ его на занимательности или интересности передаваемыхъ познаній. Необходимо овладѣть вниманіемъ ученика—говорятъ они,—чтобы онъ слушалъ васъ съ большимъ интересомъ; только при такомъ условіи онъ безъ всякаго труда, легко и скоро, будетъ запоминать ваши уроки и, конечно, будетъ развиваться вашими бесѣдами съ нимъ. Такіе преподаватели, дѣйствительно, разсказываютъ чрезвычайно интересно. Ученики слушаютъ ихъ очень внимательно, разспрашиваютъ ихъ съ удовольствіемъ, а они еще съ большимъ удовольствіемъ распространяются въ подробностяхъ на ихъ разспросы. Все это очень хорошо, потому что въ такихъ бесѣдахъ много жизни, есть живая связь между наставниками и учениками; но нѣтъ одного очень важнаго обстоятельства: заботясь о всевозможныхъ облегченіяхъ, наставникъ нисколько не думаетъ о трудѣ. Его ученики легко воспринимаютъ все, что онъ имъ разсказываетъ, показываетъ и объясняетъ; такъ какъ онъ знаетъ во всемъ мѣру, то они не утомляются, а всегда бодры, свѣжи и радуютъ его, пересказывая его разсказы и объясненія, убѣждая при этомъ, что любознательность дѣйствительно возбуждена въ нихъ. И это хорошо; но тутъ мы видимъ только страдательное, пассивное воспринятіе. Онъ доставляетъ ученику больное удовольствіе, раскрывая ему новый міръ, сообщая много новыхъ понятій; самому ему (ученику) трудиться не надъ чѣмъ. А между тѣмъ, впереди ждетъ его жизнь, главное значеніе которой должно быть въ трудѣ. Если воспитаніе готовитъ человѣка для жизни, то большая ошибка со стороны воспитателя не обращать вни-

манія на возбужденіе труда, не заставлять трудиться такъ, чтобы ученикъ увидѣлъ, наконецъ, въ трудѣ нравственную пользу, независимо отъ матеріальной, чтобы трудъ сталъ его потребностью». Наконецъ, есть третій сортъ педагоговъ, которые, вообразивъ, по словамъ г. Стоюнина, что «мука и трудъ одно и то же, съ намѣреніемъ дѣлаютъ разныя трудности, лишь бы только помучить ученика надъ работою». Г. Стоюнинъ совершенно правъ въ теоретическомъ опредѣленіи достоинствъ педагога; но такъ-какъ совершенства на землѣ нѣтъ (что̀ давно извѣстно даже не учившимся въ семинаріи), то мы думаемъ, что изъ всѣхъ представленныхъ имъ односторонностей самая терпимая и—скажемъ больше—самая желательная при настоящихъ условіяхъ, это, именно, вторая односторонность. Пусть существуетъ «живая связь между наставниками и учениками», пусть ученики слушаютъ съ наслажденіемъ учителя и, такъ сказать, влюбляются въ науку въ его разсказахъ; положимъ, что это будетъ «пассивный трудъ», какъ выражается г. Стоюнинъ, и самостоятельной умственной работы, къ которой должна пріучать школа, здѣсь не окажется; но добрыя сѣмена все-таки западутъ въ молодую душу, и если ученикъ не попадетъ потомъ въ особенно душную атмосферу, то принесутъ непремѣнно хорошіе плоды. Любви и привычки къ усидчивому труду они не дали, но не поселили, по крайней мѣрѣ, отвращенія къ нему, и мальчикъ, выходя изъ школы, не вспомнитъ съ ненавистью своихъ наставниковъ и не броситъ съ озлобленіемъ въ печку свои книги и тетради. Такой результатъ былъ бы еще очень сносенъ; но у насъ, къ сожалѣнію, сталъ развиваться въ послѣднее время третій сортъ педагоговъ, которые «дѣлаютъ различныя трудно-

сти, чтобы только помучить ученика надъ работою»; иначе чѣмъ же бы объяснить непомѣрное усиленіе въ гимназіяхъ латыни и греческаго языка, противъ котораго начинаютъ уже протестовать разумнѣйшіе изъ «классиковъ»? Чтобы сообщить при изученіи словесности истинныя познанія ученикамъ и дать имъ при этомъ удобный матеріалъ для самостоятельной разработки по вопросамъ, указаннымъ преподавателемъ, г. Стоюнинъ дѣлаетъ строгій выборъ произведеній, полезныхъ для чтенія въ классѣ. «Въ каждой литературѣ—говоритъ онъ—есть столько прекрасныхъ произведеній, что нѣтъ возможности перечитать въ классѣ ихъ всѣ, слѣдственно, необходимо опредѣлить, чего держаться при выборѣ ихъ для чтенія и изученія въ классѣ, а съ этимъ вмѣстѣ и обсудить достоинство тѣхъ познаній, которыя будутъ сообщать они. Разумѣется, эстетическимъ и народнымъ произведеніямъ литературы должно дать предпочтеніе передъ всѣми прочими уже потому, что они развиваютъ эстетическое чувство; это въ педагогическомъ дѣлѣ есть ихъ спеціальность, такъ-какъ всѣ другіе учебные предметы не имѣютъ въ виду этой стороны развитія. Впрочемъ, указывая на изящныя произведенія, мы никакъ не хотимъ ограничиться одною эстетикой, чтобы носиться въ заоблачномъ мірѣ безусловно и вѣчно прекраснаго и восхищаться одними возвышенными идеалами. Нѣтъ, здѣсь мы имѣемъ въ виду еще другія условія. Каждое истинно-эстетическое произведеніе отражаетъ въ себѣ жизнь, дѣйствительность, съ которою связывается много нравственныхъ, общественныхъ и другихъ вопросовъ. Разбирая такое произведеніе, мы необходимо должны подробно обсудить его содержаніе, безъ чего

невозможна даже и одна эстетическая оцѣнка, слѣдственно, должны имѣть дѣло съ разноообразными вопросами жизни: коснемся ли разбора фактовъ, или личностей и ихъ характеровъ, или отношенія ихъ между собою, или идеаловъ самого поэта и пр., все будетъ наводить насъ на вопросы близкіе и интересные каждому, вопросы житейскіе, а съ ними вмѣстѣ будутъ разъясняться и самыя понятія — нравственныя, семейныя, общественныя;—понятія, которыя у учениковъ обыкновенно бываютъ слишкомъ туманны, неопредѣленны и сбивчивы, такъ-какъ имъ рѣдко приходится задумываться надъ ними. Въ этомъ туманѣ они нерѣдко остаются и по выходѣ изъ школы, а иной и всю жизнь... Умъ ученика, безпрестанно возбуждаемый вопросами, близкими къ жизни и, слѣдовательно, живо интересующими, а не отвлеченными, не будетъ принимать пассивно познанія, а напротивъ, самъ будетъ пріобрѣтать ихъ изъ наблюденія надъ даннымъ матеріаломъ. Заботиться только о томъ, чтобы ученикъ умѣлъ пересказать одно содержаніе литературнаго произведенія--значитъ, хлопотать о знаніяхъ безполезныхъ. Они займутъ свое мѣсто въ памяти, но не объяснятъ ни природы, ни жизни, ни человѣка». Подвергая такой всесторонней критической оцѣнкѣ читаемыя въ классѣ произведенія, г. Стоюнинъ невольно встрѣтился съ моднымъ нынѣ вопросомъ: будетъ ли полезно развивать въ ученикахъ критическій анализъ, и не поведетъ ли это къ фразерству, нигилизму и неповиновенію старшимъ? Съ своей обычной сдержанностью (переходящей иногда въ уклончивость) онъ отвѣчаетъ на этотъ вопросъ слѣдующимъ образомъ: «Нѣкоторыхъ педагоговъ пугаетъ слово: критическое изученіе предмета, чего мы рѣшительно не понимаемъ.

Вѣроятно, подъ именемъ критики мы разумѣемъ совсѣмъ не то, что они. Обстоятельно обсудить съ учениками прочитанное сочиненіе, найти въ немъ отвѣты на многіе вопросы, которые изъ него вытекаютъ, указать на достоинства и, вмѣстѣ съ тѣмъ, доказать, почему они считаются достоинствами, и равнымъ образомъ замѣтить недостатки: неужели это можетъ развивать въ ученикѣ фразерство и самонадѣянность, какъ иные предполагаютъ? Намъ кажется, напротивъ, такіе *пріемы* передадутъ ученику нѣсколько критическихъ *пріемовъ*, которые не позволятъ ему судить о сочиненіи вкривь и вкось, а пріучатъ вникать въ дѣло и убѣдить, что нельзя произносить своего рѣшительнаго суда безъ многихъ опредѣленныхъ доказательствъ. Фразерство развиваетъ не критика, а голословныя сужденія безъ всякихъ данныхъ, общія характеристики предметовъ, съ которыми ученикъ не успѣлъ познакомиться, когда его заставляютъ высказывать свой судъ, не давъ возможности собрать наблюденія. Но неужели же это критика? По нашему мнѣнію, критика есть судъ, на основаніи многихъ собранныхъ признаковъ. Пріучать собирать признаки и строго обсуживать ихъ, значитъ, пріучать къ строгому мышленію и къ осторожному суду. Тамъ фразерства быть не можетъ, гдѣ судъ составляютъ выводы изъ опредѣленныхъ данныхъ; могутъ быть ошибки, но ошибки еще далеко не фразерство. Мы даже не знаемъ, какимъ образомъ можно избѣжать критики, еслибы даже ограничиться объяснительнымъ чтеніемъ съ полнѣйшимъ усвоеніемъ содержанія произведенія. Вѣдь можетъ случиться, что ученикъ будетъ несогласенъ съ тою или другою мыслью изучаемаго сочиненія или ему не понравится какая-либо сцена и даже

цѣлое произведенie? Что же тутъ будетъ дѣлать учитель, опасающiйся критики? Заставить вѣрить на слово, что эта мысль вѣрна, а эта сцена прекрасна? Что же это за педагогическое средство убѣждать? И такъ, по нашему мнѣнiю, критики нечего бояться при изученiи литературнаго произведенiя: она часто бываетъ неизбѣжна, вызываемая самими учениками, и всегда полезна, потому что не допускаетъ никакихъ голословныхъ опредѣленiй».

Еслибы нѣсколько лѣтъ тому назадъ подобное сомнѣнiе въ пользѣ критическаго начала было высказано въ литературѣ, то врядъ ли нашлись бы даже охотники возражать на него: до такой степени оно показалось бы страннымъ, нелѣпымъ и незаслуживающимъ опроверженiя. Но теперь, при измѣнившихся обстоятельствахъ, мы рекомендуемъ отвѣтъ г. Стоюнина всѣмъ педагогамъ, которыхъ смущаетъ не гамлетовскiй, а молчалинскiй вопросъ: «Да можно-ль смѣть свое сужденiе имѣть?» Надѣемся, что такихъ педагоговъ наберется достаточное количество, и, слѣдовательно, мы не безъ пользы привели мнѣнiе почтеннаго автора.

II.

Что молчалинскiй вопросъ дѣйствительно смущаетъ нашихъ педагоговъ, и что есть между ними такiе теоретики, которые весьма категорически запрещаютъ имѣть «свое сужденiе»,—въ этомъ можно вполнѣ убѣдиться, прочтя «Курсъ общей педагогики» г. Юркевича. Прежде всего, эта книга наводитъ насъ невольно на одно сравненiе...

Изъ послѣдняго романа Виктора Гюго (L'homme qui rit)

многіе русскіе читатели узнали впервые, что въ XVII-мъ вѣкѣ существовало и даже процвѣтало въ Европѣ цѣлое общество людей, занимавшихся спеціально — не избіеніемъ, но изуродованіемъ младенцевъ, смотря по надобностямъ султановъ, папъ, англійскихъ лордовъ и тому подобныхъ заказчиковъ человѣческаго тѣла. Одному нужны были карлики, другому— вѣчно-смѣющіеся люди съ застывшею улыбкою на обезображенномъ лицѣ, третій искалъ человѣческаго горла, способнаго кричать по пѣтушьи (обычай, долго существовавшій при англійскомъ дворѣ), четвертый, наконецъ, нуждался въ евнухахъ для охраненія цѣломудрія своихъ женъ—и всѣмъ этимъ многоразличнымъ потребностямъ удовлетворяло знаменитое братство. «Требованіе на уродовъ—говоритъ Гюго (не можемъ отказать себѣ въ удовольствіи привести его подлинныя слова) — положило начало особенному искусству. Были воспитатели или, вѣрнѣе, образователи карликовъ. Брали человѣка и дѣлали изъ него недоноска; брали лицо и дѣлали изъ него мордочку. Останавливали ростъ, комкали человѣческій образъ. Искусственное производство уродливостей имѣло свои правила; это была цѣлая наука. Представьте себѣ искусство сохранять натуральныя формы человѣческаго тѣла и исправлять ихъ, если онѣ повреждены, въ обратномъ смыслѣ. Тамъ, гдѣ Богъ далъ прямой глазъ, искусство замѣняло его косиною; тамъ, гдѣ Богъ далъ гармонію, это искусство вносило уродство... Нѣкоторые анатомисты того времени умѣли очень удачно стереть съ человѣческаго образа божественный отпечатокъ... Дѣтопокупатели (по испански: компрахикосы) обладали талантомъ обезображивать, и этотъ талантъ служилъ имъ рекомендаціей для политики. Обезобразить гораздо

лучше, чѣмъ убить. Была, правда, желѣзная маска, но это уже средство чрезвычайное. Нельзя населить Европу желѣзными масками, между тѣмъ какъ изуродованные фигляры бѣгаютъ по улицамъ безъ всякаго стѣсненія; и потомъ желѣзную маску можно сорвать, тѣлесную—нельзя. Навѣкъ васъ замаскировать вашимъ же собственнымъ лицомъ—это преостроумная вещь. Дѣтопокупатели обдѣлывали человѣка, какъ китайцы обдѣлываютъ дерево. У нихъ были секреты этого искусства, у нихъ были станки. Утраченное искусство! Изъ ихъ рукъ выходило что-то невзрачное, хилое, чуднòе... Они съ такимъ умѣньемъ, съ такимъ умомъ обдѣлывали маленькое существо, что даже родной отецъ не могъ его узнать. Иногда они не трогали спиннаго хребта и оставляли его прямымъ, но преображали лицо. Они, такъ сказать, снимали съ ребенка его мѣтку, какъ спарываютъ мѣтку съ платка... Дѣтопокупатели нетолько отнимали физіономію у ребенка, они у него отнимали и память. Ребенокъ вовсе не сознавалъ, что подвергся изуродованію. Эта странная хирургія оставляла слѣды на его лицѣ, но въ его умѣ слѣда не оставалось. Самое бòльшее, чтò онъ могъ припомнить, было то, что онъ разъ былъ схваченъ какими-то людьми, потомъ уснулъ, потомъ его вылѣчили. Вылѣчили отъ чего? Онъ не помнилъ прижиганій сѣрой, ни нарѣзовъ желѣзомъ. Дѣтопокупатели, во время операцій, усыпляли маленькаго паціента посредствомъ одуряющаго порошка, который слылъ за волшебный и утишалъ, уничтожалъ боль». Читатели, прочтя эту меткую характеристику, можетъ быть, воскликнутъ вмѣстѣ съ авторомъ: «утраченное искусство!» Совершенно напрасно. Нѣтъ, господа, искусство это не утрачено, не забыто—по

крайней-мѣрѣ, въ нашей литературѣ и практикѣ; оно только измѣнило своѐ названіе и отбросило нѣкоторые, слишкомъ варварскіе пріемы; но сущность дѣла осталась возмутительною, какъ прежде. Современные компрахикосы величаютъ себя педагогами, современныхъ красавцевъ, вышедшихъ изъ ихъ педагогическихъ станковъ, титулуютъ они «благовоспитанными и хорошо дисциплинированными юношами»; прижиганіе сѣрой и надрѣзы желѣзомъ замѣняютъ они побоями, розгами или «предостереженіями», «внушеніями», «увѣщаніями» и другими «нравственными средствами», которыя, какъ бурсацкіе канчуки въ повѣсти Вій, «будучи употреблены въ большомъ количествѣ, дѣлаются вещью нестерпимою». Подобно прежнимъ компрахикосамъ, современные (преимущественно московскіе) педагоги пользуются разными научными средствами для достиженія своихъ цѣлей, съ тою, однако, разницею, что компрахикосы дѣйствовали только на тѣло, а педагоги стараются извратить самую душу своихъ питомцевъ и наложить на нее свое патентованное клеймо. Нужно еще замѣтить—и это замѣчаніе клонится къ чести дѣтопокупателей—что они, по чувству естественной стыдливости, скрывали свои настоящія цѣли и пріемы, употребляемые ими, тогда какъ современные педагоги, съ ихъ московскимъ оракуломъ во главѣ, преразвязно утверждаютъ, что «школа есть дисциплина»— и ничего больше, то-есть должна заботиться не о развитіи дѣтскаго ума, а объ удержаніи его на короткой уздѣ окаменѣвшихъ и безсмысленныхъ привычекъ и понятій...

Книга г. Юркевича, которая навела насъ на предыдущія мысли, служитъ весьма подробнымъ и безцеремоннымъ кодексомъ всѣхъ явныхъ и тайныхъ поползновеній совре-

менныхъ... компрахикосовъ. Авторъ нисколько не скрываетъ своей цѣли—выдѣлать изъ дѣтей послушныхъ куколъ, безжизненныхъ автоматовъ, которые всегда и во всемъ безпрекословно повиновались бы лицамъ, призваннымъ водворять между ними дисциплину. Книга эта дѣлится, для виду, на множество главъ съ мнимо-научными названіями: «идея воспитанія», «воспитательныя мѣры», «общая теорія обученія», «методика» и т. д., но сущность ея состоитъ вовсе не въ идеяхъ, а въ кое-какихъ практическихъ цѣляхъ, къ которымъ должна быть направлена дѣятельность ловкихъ педагоговъ. Главное зло, съ которымъ долженъ бороться педагогъ, сформулировано у г. Юркевича слѣдующимъ образомъ: «это есть та критика, которая все подрываетъ, во всемъ сомнѣвается, то и дѣло роется внутри человѣка, зондируетъ, переворачиваетъ, перестраиваетъ, то-есть извѣстный нигилизмъ, признакъ моральной порчи человѣка». Если устранить изъ этой тирады столь изъѣзженный нигилизмъ, который сохраняетъ еще у насъ значеніе «жупела», пугавшаго до обморока сердобольную купчиху Островскаго, — то ея смыслъ будетъ до нельзя простъ и очевиденъ: «воспитывайте дѣтей такъ, чтобы они ни въ чемъ не сомнѣвались, вѣрили на слово всякому доброму человѣку, взявшему на себя трудъ поучать ихъ, чтобы ни въ какомъ случаѣ не относились критически къ своимъ поступкамъ и не требовали отъ себя тѣхъ пустяковъ, которые называются на человѣческомъ языкѣ самостоятельностью и честностью убѣжденій». Намъ скажутъ, пожалуй, что мы невѣрно комментируемъ мысли автора. Но никто не въ правѣ сказать это: мы только придали идеямъ Юрке-

вича ихъ настоящій и естественный колоритъ, упростили форму ихъ выраженія. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ отсутствіе критическаго начала не есть моральное холопство и развѣ человѣкъ, лишенный способности «рыться внутри себя», не будетъ весь вѣкъ свой рыться въ навозѣ, даже безъ надежды найти въ немъ когда нибудь жемчужное зерно? Будьте справедливы, читатель, и согласитесь, что наша фраза вѣрно и характерно передаетъ взятую мысль. Опредѣливъ такимъ образомъ отправную точку педагога, г. Юркевичъ подгоняетъ къ ней всѣ другія части своей системы. Собственно обученіе, которое могло бы развить умъ дитяти и расширить его нравственный горизонтъ, авторъ «Педагогики» не цѣнитъ ни въ грошъ, такъ-какъ, по его мнѣнію, самое обученіе «должно быть религіознымъ», т.-е. ученикъ обязанъ вѣрить научнымъ истинамъ, а не убѣждаться въ нихъ путемъ повѣрки и анализа. Особенно недоброжелательствуетъ г. Юркевичъ естественнымъ наукамъ (это любимый конекъ всѣхъ московскихъ компрахикосовъ), особенно вооружается противъ ихъ критическаго метода, способнаго эманципировать нравственную личность питомца. По его категорическому мнѣнію, юноша, обогащенный свѣдѣніями изъ біологіи, знаетъ только «какія пилюли нужно употреблять противъ пагубныхъ послѣдствій дурной страсти, какія злокачественныя язвы уничтожаются цѣлительною мазью» (стр. 35). Вслѣдствіе этого г. Юркевичъ ставитъ на первомъ мѣстѣ въ воспитаніи «нравственное вліяніе» воспитателя, которое въ его глазахъ все исчерпывается строжайшею дисциплиной. При этомъ онъ оказываетъ большое вниманіе «дѣтямъ народа». «Если—говоритъ онъ—воспита-

ніе имѣетъ цѣлью напечатлѣть въ душѣ воспитанника готовое законодательство, то дисциплина принимаетъ обширные размѣры и опирается на тяжелыя понудительныя мѣры. Воспитатель, въ этомъ случаѣ, можетъ сказать по совѣсти (хороша, должно быть, совѣсть у такого воспитателя!): щадяй жезлъ, ненавидитъ сына. Сообразно съ этимъ, воспитаніе дѣтей народа, которыя не имѣютъ ни времени, ни средствъ къ глубокому внутреннему образованію, должно быть по преимуществу дисциплинарное. Самое обученіе должно не столько обогащать ихъ свѣдѣніями, сколько дисциплинировать ихъ разумъ, какъ бы приковывая его (?) къ немногимъ, но очень твердымъ истинамъ» (стр. 96). Но авторъ немного любезнѣе и къ дѣтямъ другихъ сословій. Отвергая гуманность, на которую «въ новѣйшее время стали указывать, какъ на путеводную звѣзду для воспитателя» (стр. 19), г. Юркевичъ полагаетъ, что такою звѣздою должна быть дисциплина, которая «не можетъ быть не строгой» (стр. 95), и вся разница въ воспитаніи «дѣтей народа» и «дѣтей благородныхъ» сводится только къ бо́льшему или меньшему количеству пинковъ и розогъ, отпускаемыхъ педагогами. Въ дисциплину г. Юркевичъ просто влюбленъ и смотритъ на нее глазами знаменитаго исправника, который хвастался тѣмъ, что если онъ пошлетъ вмѣсто себя свою палку, то и ей крестьяне будутъ кланяться и передъ ней будутъ снимать шапки. Покуда рѣчь идетъ о біологіи, гуманности и т. п. «скучныхъ матеріяхъ», г. Юркевичъ вялъ и невразумителенъ; но какъ только доходитъ дѣло до дисциплины и тѣлесныхъ наказаній, прозванныхъ нѣкогда тѣмъ же ав-

торомъ «энергическими мотивами жизни», г. Юркевичъ моментально оживляется и, какъ гоголевскій Пѣтухъ при заказываньѣ любимыхъ блюдъ, «и губами причмокиваетъ, и присасываетъ»—словомъ, получаетъ полнѣйшее удовольствіе. Самый стиль его крѣпнетъ и впадаетъ въ тонъ полицейскаго приказа. «Требованія — пишетъ онъ подъ рубрикою «дисциплины»—представляются воспитаннику въ отвлеченныхъ правилахъ, которыя установляютъ порядокъ для его жизни и дѣятельности. Правила должны быть исполняемы. Этимъ предполагаются мѣры и учрежденія, которыя содѣйствуютъ исполненію правилъ и затрудняютъ ихъ нарушеніе. Совокупность такихъ правилъ, мѣръ и учрежденій называется дисциплиной» и проч. Г. Юркевичъ глумится надъ педагогической теоріей, которая «унижаетъ высокое значеніе дисциплины» (стр. 95). Строгій и неослабный надзоръ воспитателя долженъ простираться на все: «какое мѣсто занимаетъ ученикъ въ классѣ, на какомъ мѣстѣ онъ оставляетъ свои книги и свою одежду; воспитатель долженъ дисциплинировать взоръ и голосъ ученика» (стр. 101),— до тѣхъ поръ, конечно, покуда ученикъ не заоретъ благимъ матомъ и не убѣжитъ вонъ, куда глаза глядятъ, изъ такого милаго учебнаго заведенія... Изъ всѣхъ качествъ, необходимыхъ для педагога, г. Юркевичъ цѣнитъ выше всего «искусство *пригрозить* (курсивъ въ подлинникѣ) рѣшительною перемѣною голоса или выраженія глазъ» (стр. 141). Такъ-какъ въ основѣ нравственнаго вліянія воспитателя г. Юркевичъ кладетъ страхъ или, какъ онъ выражается, «холодъ страха», задаваемаго питомцамъ, то понятно отсюда, что для автора «Педагогики» наиболѣе устра-

шающія средства будутъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, н наиболѣе дѣйствительными въ воспитаніи. «Строгость — говоритъ онъ — закаляетъ воспитанника въ вѣрности и преданности идеалу» (какому?). Чтобы меньше стѣснить воспитателя въ выборѣ строгихъ мѣръ, г. Юркевичъ настаиваетъ на томъ, чтобы законъ предоставилъ каждому педагогу «такъ-называемое отеческое право, то-есть право отвѣчать за принятую карательную мѣру только передъ своею совѣстью и передъ Богомъ» (стр. 184). Надо думать, однако, что такое ходатайство передъ закономъ останется неуваженнымъ, ибо въ противномъ случаѣ компрахикосы, выдрессированные авторомъ «Педагогики,» дохнуть не дадутъ своимъ несчастнымъ воспитанникамъ, да кромѣ того истребятъ на розги бо̀льшую часть отечественныхъ лѣсовъ, которые приказано уже беречь даже и въ троицынъ день. Тѣмъ не менѣе, г. Юркевичъ полагаетъ, что воспитателя не слѣдуетъ стѣснять въ правѣ пресѣкать зло, въ самомъ началѣ, вспышкой гнѣва, угрозой и «импровизированнымъ наказаніемъ» (стр. 185), и тутъ же замѣчаетъ, что тѣлесныя наказанія напрасно считаются щекотливыми въ наше время. Можно представить себѣ, что̀ было бы въ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ, еслибы какая-нибудь волшебная фея взялась удовлетворить требованіямъ г. Юркевича. Сцены могли бы произойти ужаснѣе той, которая разыгралась въ совѣтѣ московскаго университета по случаю забаллотированія г. Леонтьева.

Тѣлеснымъ наказаніямъ, или «энергическимъ мотивамъ жизни», г. Юркевичъ посвящаетъ даже особый параграфъ. Мы выписываемъ эти золотыя строки: «Склонность прибѣ-

гать къ средствамъ чувственнымъ прежде, чѣмъ истощены средства моральныя, свойственна учителямъ, какъ и всѣмъ людямъ; и такъ здѣсь очень близка опасность злоупотребленій. Но воспитателю подобаетъ довѣріе; если онъ вообще не заслуживаетъ его, то онъ недостоинъ своего званія... Для успокоенія тѣхъ, которые желаютъ лишить воспитателя самаго права прибѣгать къ тѣлеснымъ наказаніямъ, замѣтимъ, что когда обнаруживается педагогическое варварство въ примѣненіи тѣлесныхъ наказаній, то оно будетъ обнаруживаться и во всѣхъ отношеніяхъ воспитателя къ воспитанникамъ (хорошо успокоеніе!). Духъ народа, дѣйствующій сознательно и безсознательно въ мнѣніяхъ и чувствахъ воспитателя, производитъ и съ своей стороны вліяніе на выборъ и тяжесть наказаній. Если римляне наказывали мальчика за одно невниманіе плетью, хлыстомъ, палкой, розгой и «выдѣлкой кожи», то ничего подобнаго этому варварскому реэстру наказаній не представляетъ воспитаніе греческое. Даже китайское воспитаніе болѣе снисходительно: ученика ставятъ на колѣни передъ его товарищами или онъ стоитъ столбомъ у дверей школы, или получаетъ отъ 8 до 10 ударовъ вдоль по тѣлу, причемъ онъ лежитъ ничкомъ на длинной, узкой скамьѣ, которая имѣется въ каждой школѣ». Китайское наказаніе, повидимому, особенно нравится московскому компрахикосу, и его-то судитъ онъ россійскимъ юношамъ, буде начальство соблаговолитъ на его всепокорнѣйшія представленія.

Мы хотѣли-было кончить наши замѣтки, но вспомнили, что книга г. Юркевича произошла, какъ онъ самъ говоритъ, «изъ развитія записокъ, которыя были выданы для руко-

водства молодымъ педагогамъ, приготовляющимся къ своему званію въ учительской семинаріи военнаго вѣдомства въ Москвѣ». Если это правда (а сомнѣваться въ этомъ, кажется, невозможно), то намъ остается только пожалѣть бѣдныхъ молодыхъ педагоговъ «военнаго вѣдомства,» обязанныхъ руководствоваться такими принципами. Впрочемъ, къ счастію, подобныя зерна не всегда находятъ для себя благодарную почву, и намъ утѣшительно думать это къ чести будущихъ воспитателей, выходящихъ или уже вышедшихъ изъ педагогическихъ «станковъ» г. Юркевича. Въ противномъ же случаѣ, никакому преподаванію не будетъ мѣста, и оно живо замѣнится «выдѣлкою кожи» учениковъ, хотя бы и не тѣмъ варварскимъ способомъ, какъ производилось это у древнихъ римлянъ.

НОВАЯ ПЕРЕДѢЛКА КАРАМЗИНСКОЙ ТЕОРІИ.

(О вліяніи общества на организацію государства въ царскій періодъ русской исторіи. Соч. Н. Хлѣбникова. С.-Петербургъ, 1869 г.).

I

Наша историческая литература, еще не такъ давно занимавшаяся кропотливыми изслѣдованіями о древне-русской бородѣ, о сребрѣ ярославлѣ, о миѳологическомъ значеніи русскаго ухвата и т. п. интересныхъ и вызывающихъ на размышленіе предметахъ,—нынѣ обнаруживаетъ наклонность перейти отъ мелочныхъ, фактическихъ изысканій къ обобщающимъ взглядамъ и прагматическому осмысливанію добытыхъ и разработанныхъ фактовъ. Подобныя же попытки — подбирать факты къ извѣстнымъ, теоретическимъ рубрикамъ — производились, конечно, и прежде; но пріемы нашихъ прежнихъ теоретиковъ были до крайности просты и нехитры; а самыя ихъ теоріи, почерпнутыя изъ тѣхъ временъ, «когда свободно рыскалъ звѣрь, а человѣкъ бродилъ пугливо»,—не имѣли ничего общаго съ наукою. Выставитъ, бывало, русскій теоретикъ величественную аксіому: «народы дикіе любятъ независимость, народы образованные— порядокъ», а затѣмъ для него уже прояснялась мгновенно вся масса историческихъ фактовъ, такъ что ее легко было растасовать и пріурочить либо къ дикой независимости, либо къ образованному порядку. Дѣйствительно ли внѣшній порядокъ, водворяемый притомъ варварскими средствами,

совпадаетъ съ идеей цивилизаціи, а любовь къ независимости, хотя бы и въ грубой формѣ, съ дикостью и варварствомъ?— объ этомъ ужъ не задумывался отечественный Кифа Мокіевичъ и преспокойно распредѣлялъ свой историческій матеріалъ, относя къ дикости новгородскую свободу, а къ порядку — «собираніе земли русской» посредствомъ подкуповъ и насильствъ всякаго рода. Но несмотря на свою кажущуюся неблаговидность, мудрованія эти имѣли за собой то отрицательное достоинство, что ихъ шаткость и бездоказательность лишали ихъ возможности утвердиться надолго въ литературѣ, тѣмъ болѣе, что и сами наши «первоучители» не налегали вовсе на теоретическую разработку своихъ доктринъ, ограничиваясь почти одною художественною стороною въ исторіи. Какъ только художественный элементъ исчезъ, за отсутствіемъ сильныхъ талантовъ, изъ нашей исторической литературы, его смѣнила сейчасъ же археологія, которая совсѣмъ уже не рисковала пускаться въ отвлеченныя измышленія....

Но старыя понятія живучи и, кромѣ того, одарены способностью превращенія въ такой сильной степени, что поверхностный наблюдатель не сразу и замѣтитъ: какую форму выбрала для себя, въ данную минуту, традиціонная идея. Бываетъ даже, что послѣдователи традиціоннаго староверства вступаютъ въ борьбу съ его родоначальниками и прежними корифеями; но борьба эта происходитъ или по недоразумѣнію, которое вскорѣ разъясняется, или вслѣдствіе умысла, чтобы отвести глаза легковѣрнымъ людямъ и увѣрить ихъ, что подмалеванная старина—вовсе не старина, но получена на дняхъ изъ Парижа вмѣстѣ съ послѣдними модными картинками; или же, наконецъ, борьба касается не сущности

оспариваемой идеи, а какихъ нибудь второстепенныхъ ея аксессуаровъ, безъ которыхъ идея эта можетъ не только существовать, но процвѣтать и благоденствовать на бѣломъ свѣтѣ. Способностью горячиться и вступать въ споръ по недоразумѣнію отличается, какъ извѣстно, М. П. Погодинъ. Сколько разъ поднималъ онъ шумъ въ литературѣ, усматривая неблагонамѣренность то въ томъ, то въ другомъ сочинителѣ, и сколько разъ посрамлялся и признавалъ своими друзьями—людей, ошибочно принятыхъ за враговъ. Что же касается до умѣнья перечеканивать, такъ-сказать, старыя идеи, кладя на нихъ новый, болѣе современный штемпель, то по этой части весьма полезенъ г. Борисъ Чичеринъ, который, заимствовавъ у своихъ предшественниковъ драгоцѣнную мысль о несовмѣстимости порядка съ свободой и о преимуществѣ перваго надъ послѣдней, умудрился придать ей нѣкоторый приличный видъ и пустилъ снова въ ходъ подъ именемъ «государственной централизаціи». Штука, какъ видите, не особенно хитрая, но на нее поддаются многіе: «на ловца и звѣрь бѣжитъ», говоритъ пословица.

Наше общество до настоящаго времени такъ богато напоено и пропитано элементами допетровскаго и даже домостроевскаго склада жизни, что было бы странно, еслибы указанные нами мастера не находили поклонниковъ и хвалителей своимъ издѣліямъ между разною умственною ветошью нашего общества. Но бываетъ жаль смотрѣть, когда они въ сѣти своихъ философствованій изловляютъ людей молодыхъ, и въ особенности способныхъ. Мы никакъ не можемъ отказать г. Хлѣбникову въ дарованіи. Нечасто случается прочесть такое толковое изложеніе нашей

древней исторіи, какое встрѣчаемъ у него. У автора есть свѣтъ въ головѣ; онъ не подавляется грудою своего матеріала, какъ-то обыкновенно бываетъ съ чернорабочими историками; онъ умѣетъ владѣть имъ, и придавать ему, гдѣ нужно, извѣстный колоритъ, умѣетъ постоянно поддерживать интересъ читателя; у него немало наблюдательности, есть даже способность къ широкимъ обобщеніямъ,—однимъ словомъ, есть всѣ задатки, чтобы дать хорошее историческое сочиненіе. И тѣмъ не менѣе мы должны сказать, что книга его, по сущности основныхъ своихъ тезисовъ, должна быть зачислена въ разрядъ неудачныхъ и запоздалыхъ попытокъ—реставрировать знакомую намъ идею о неизбѣжности государственнаго деспотизма въ древней Руси. Доказывая это основное положеніе своей книги, авторъ обращается за помощью къ Гнейсту, Гизо, Макіавелли и даже Огюсту Конту, но при внимательномъ разсмотрѣніи его доводовъ легко убѣдиться, что бо̀льшая часть ихъ навѣяна никѣмъ инымъ, какъ «многоуважаемымъ» (по аттестаціи г. Хлѣбникова) профессоромъ Чичеринымъ. Разница состоитъ только въ томъ, что «многоуважаемый профессоръ», видя въ государственной централизаціи наилучшую политическую форму, привѣтствовалъ появленіе ея въ Московскомъ великомъ княжествѣ, тогда какъ г. Хлѣбниковъ допускаетъ ее съ соболѣзнованіемъ, какъ необходимое, фатальное послѣдствіе экономической и политической несостоятельности удѣльно-вѣчевыхъ порядковъ. Экономизмъ нынче въ модѣ, и г. Хлѣбниковъ пользуется имъ съ цѣлью утвердить на болѣе прочномъ фундаментѣ обветшавшую мысль нашихъ прежнихъ историковъ и юристовъ. Съ этою цѣлью, соціаль-

но-экономическое положеніе различныхъ классовъ русскаго общества изображается имъ самыми мрачными красками, такъ какъ именно въ этой мрачности онъ надѣется найти оправданіе и для государственнаго деспотизма, и для упадка самоуправленія, и даже для крѣпостнаго права, которое, по мнѣнію автора, «рѣшительно необходимо въ нѣкоторыя эпохи, чтобы пріучить народъ къ труду (какъ будто собственныя потребности человѣка недостаточно пріучаютъ его къ этому!), образовать богатое и образованное (ну, образованье-то у насъ не слишкомъ развилось при крѣпостномъ правѣ) сословіе, которое такъ необходимо въ государствѣ» (стр. 190). Въ своей экономической характеристикѣ авторъ начинаетъ съ высшаго сословія—съ боярскаго класса. Сильная аристократія не могла, по его мнѣнію, образоваться у насъ до Іоанна III по двумъ причинамъ: вопервыхъ, дружина наша сохраняла всегда подвижной характеръ, вслѣдствіе удѣльной системы, и переходила вмѣстѣ съ своими князьями; во вторыхъ, земли, при ихъ огромныхъ пространствахъ и при малочисленности населенія, не имѣли никакой цѣны и не могли доставить точки опоры своимъ владѣльцамъ. Впослѣдствіи же, когда дворъ московскаго царя сдѣлался центромъ національной жизни, аристократія обратилась въ военно-придворное сословіе, которое, и по своему положенію въ администраціи, и по своимъ матеріальнымъ средствамъ, вполнѣ зависѣло отъ верховной власти. Къ тому же низшій слой придворной аристократіи—дѣти боярскія—находился въ постоянной враждѣ съ боярами, такъ-какъ послѣдніе нерѣдко грабили и обирали первыхъ при назначеніи имъ помѣстій и денегъ за службу. Только прикрѣп-

леніе крестьянъ, по мнѣнію автора, дало опорную точку нашей аристократіи, и тогда она проникнулась корпоративнымъ духомъ, почувствовала себя сословіемъ, имѣющимъ общіе интересы. Въ смутное время, напримѣръ, она дѣйствуетъ уже, какъ твердая, сплошная корпорація (стр. 33). Но въ началѣ царскаго періода русской исторіи наша аристократія была бѣдна, слаба и руководствовалась однѣми личными эгоистическими цѣлями. Сравнивая русскую аристократію съ англійской въ соотвѣтствующій періодъ времени, г. Хлѣбниковъ приходитъ къ выводу, что нашъ первѣйшій богачъ едва-ли равнялся, по значительности матеріальныхъ средствъ, съ какимъ-нибудь второстепеннымъ англійскимъ барономъ. Такимъ образомъ, наша аристократія не могла служить сдерживающимъ началомъ для крайностей деспотизма, а, напротивъ, сама старалась поживиться отъ него, гдѣ можно и какъ можно, лакомыми кусочками. Однимъ изъ такихъ лакомыхъ кусковъ было, между прочимъ, и прикрѣпленіе крестьянъ, которое повлекло за собой постепенный переходъ дворянскихъ помѣстій,—раздаваемыхъ за службу и только на время службы,—въ вотчины, т. е. въ наслѣдственную поземельную собственность. Къ этому прикрѣпленію крестьянъ г. Хлѣбниковъ относится какъ-то двойственно и неопредѣленно. Съ одной стороны, какъ мы уже видѣли это,—онъ желаетъ доказать, что закрѣпощеніе массы народа способствуетъ развитію въ ней любви и привычки къ труду; съ другой стороны, историческая добросовѣстность заставляетъ его признать, что «экономическое положеніе крестьянъ, разумѣется, не могло сдѣлаться лучшимъ съ прикрѣпленіемъ крестьянъ, чѣмъ до

этого прикрѣпленія» (стр. 260);—стало быть, рабство весьма мало поощряетъ развитіе трудолюбія. Образованнаго и богатаго сословія, которое должно было воспитаться, по плану г. Хлѣбникова, на народныхъ харчахъ, тоже не оказывается въ концѣ книги, и рабство, раззоривъ до тла массу народа, не содѣйствовало скопленію богатствъ и въ привилегированной его части. При этомъ остается недоказанной и другая мысль г. Хлѣбникова, что «монархія болѣе благопріятствуетъ равноправности гражданъ, а господство аристократіи почти неизбѣжно ведетъ къ образованію рабства» (стр. 45). Напротивъ, изъ его собственнаго изслѣдованія видно, что Іоаннъ III, настоящій основатель Московской монархіи, первый вводитъ нѣкоторыя препятствія къ полному и свободному переходу крестьянъ (стр. 47), что Іоаннъ IV, не сдѣлавъ ничего путнаго въ пользу крестьянъ, только ограбилъ и передушилъ ихъ помѣщиковъ, и что, наконецъ, со временъ Бориса Годунова вплоть до царя Алексѣя Михайловича, московскіе монархи дѣйствовали въ постоянномъ союзѣ съ аристократическими классами, въ ущербъ интересамъ большинства народа, который и заявилъ свой протестъ бунтомъ Стеньки Разина. Правда, г. Хлѣбниковъ старается убѣдить насъ, что возстаніе Разина произошло главнымъ образомъ отъ введенія низкопробной мѣдной монеты при Алексѣѣ Михайловичѣ; но коренная причина этого народнаго взрыва слишкомъ ясна для каждаго, кто прочиталъ съ толкомъ даже одно разсужденіе г. Хлѣбникова и незнакомъ ни съ какими другими данными для рѣшенія вопроса. Борисъ Годуновъ, взойдя на тронъ, ищетъ опоры не въ цѣломъ народѣ, а въ духовенствѣ и служиломъ со-

словіи, которыя вручили ему власть. На соборѣ, избравшемъ въ цари Бориса, было 86 духовныхъ лицъ, 38 бояръ и окольничихъ, 198 мелкихъ поземельныхъ владѣльцевъ, 23 горожанина—и только 4 крестьянина!! Естественно, что это крестьянство и было принесено въ жертву правящимъ классамъ. Только въ 1601 году, усомнившись въ надежности прежней поддержки, Борисъ вздумалъ—да и то нерѣшительно—опереться на народъ, дозволивъ переходъ крестьянъ изъ имѣній мелкопомѣстныхъ. Но эта полумѣра, удержавъ въ силѣ прежнее запрещеніе крестьянамъ переходить изъ имѣній крупныхъ владѣльцевъ, какъ-то: бояръ, монастырей и самого царя,—не принесла пользы Борису: крестьяне были недовольны ею, потому что конкурренція однихъ мелкопомѣстныхъ между собою не могла довести аренду земли до слишкомъ низкаго уровня, какъ могла бы это сдѣлать конкурренція мелкихъ владѣльцевъ съ боярами; дѣти же боярскія, которыхъ новый указъ задѣлъ чувствительно по карману, конечно, отнеслись къ нему съ затаенною злобою. Бытъ крестьянъ мало выигралъ отъ этой попытки улучшенія.—Василій Шуйскій былъ еще больше, чѣмъ Борисъ Годуновъ, въ зависимости отъ аристократіи: въ избраніи его даже не участвовала земская дума, а дѣйствовала только одна боярская партія, которая и ограничила, по отношенію къ себѣ, извѣстною договорною грамотой, власть своего ставленника (стр. 204). По низверженіи Василія, сила бояръ не уменьшилась, и они заставили присягнуть себѣ народъ—«во всемъ ихъ бояръ слушати и судъ ихъ любити» (стр. 216). Когда же королевичъ Владиславъ провозглашенъ былъ русскимъ царемъ, то боярство, среди общаго разгрома страны, бомбардировало его

только просьбами о помѣстьяхъ, съ предательскими совѣтами о томъ, какъ подавить возстаніе въ непокорной части народа. Бояринъ Михаилъ Салтыковъ, — глава приверженцевъ Владислава, — поссорился съ Гонсѣвскимъ, представителемъ королевича, за то, что послѣдній допустилъ въ думу торговаго мужика Андронова, скоро получившаго огромный вѣсъ и значеніе; всѣ другіе бояре обидѣлись вмѣстѣ съ Салтыковымъ. «Эта единодушная борьба бояръ—иронически замѣчаетъ г. Хлѣбниковъ—борьба противъ одного только мужика, достигшаго власти, уже ясно обнаруживаетъ, какъ эгоистически смотрѣло это сословіе на государство».

II.

Ироническое замѣчаніе г. Хлѣбникова совершенно вѣрно, и мы не имѣемъ ни малѣйшаго желанія вступаться за гражданскія доблести того сословія, которое, не имѣя ни одного изъ благихъ свойствъ западно-европейской аристократіи, сосредоточило въ себѣ исключительно дурныя ея стороны. Но не слѣдуетъ забывать, что, съ возвышеніемъ Москвы, эти дурныя стороны не только не исчезли, но сообщились самой центральной власти, которая также (за исключеніемъ Минина) не пускала въ свою верховную думу торговыхъ мужиковъ. При избраніи Михаила Ѳедоровича боярская партія опять разыграла свою роль, и мы имѣемъ извѣстіе, что юный царь, вступая на тронъ, былъ также ограниченъ въ своихъ правахъ, относительно боярскаго класса, какъ и Василій Шуйскій. «Во все царствованіе Михаила—говоритъ г. Хлѣбниковъ—принадлежность всѣхъ

важнѣйшихъ государственныхъ должностей знатнымъ родамъ не была оспариваема». Какъ мало даже земскія услуги государству значили передъ важностью длиннаго ряда предковъ— это видно уже по тому факту, что знаменитый Пожарскій, очистившій Михаилу дорогу къ трону, былъ выданъ головой за мѣстническій споръ съ знатнымъ родомъ Салтыковыхъ. Мининъ, попавши въ боярскую думу, повидимому, былъ совершенно затертъ въ ней: онъ словно въ воду канулъ съ своимъ умомъ и желѣзною волей, поставившей на ноги, въ критическую минуту, всю Россію. Крестьянамъ и посадскимъ людямъ не стало легче отъ усиленія центральной власти и при Алексѣѣ Михайловичѣ. Въ 1646 г. посланы были писцы, чтобы переписать всѣхъ живущихъ крестьянъ, и было постановлено, что бѣглые крестьяне, принятые кѣмъ нибудь послѣ этой описи, будутъ отобраны и возвращены старымъ помѣщикамъ со всѣмъ своимъ имуществомъ, и, кромѣ того, на нихъ же взыщутся государевы и помѣщичьи подати за всѣ годы, которые они провели въ бѣгахъ. Въ 1647 г. десятилѣтній срокъ для отыскиванія бѣглыхъ былъ измѣненъ въ пятнадцатилѣтній; наконецъ, на земскомъ соборѣ 1649 г. срокъ сыска совсѣмъ отмѣненъ, и крестьянинъ окончательно прикрѣплялся къ землѣ. Какъ быстро падало въ «царскій періодъ» русской исторіи благосостояніе крестьянскаго населенія—это нетрудно вывести изъ сличенія слѣдующихъ фактовъ. Въ XVI-мъ столѣтіи, такъ называемые черносошные (т. е. тягловые государственные) крестьяне испытывали самую прискорбную участь: при незначительности дохода (простиравшагося среднимъ числомъ отъ 2 до 4 рублей въ годъ) на нихъ лежали громадною тяжестью государственныя

и общественныя повинности. Всѣ подати и повинности этого времени можно раздѣлить на три разряда. Къ первому разряду относятся повинности, предназначенныя на защиту государства: городовое дѣло, т. е., строеніе городскихъ стѣнъ и башенъ; пищальныя деньги, (на покупку оружія, на содержаніе ратныхъ людей); посошная служба, т. е. выставленіе рекрута; зелейное дѣло, т. е. приготовленіе пороха; засѣчное дѣло—устройство засѣкъ, чтобы помѣшать вступленію непріятелей. Ко второму разряду повинностей принадлежатъ сборы на содержаніе областнаго управленія: жалованье чиновникамъ мѣстнаго управленія и судебныя пошлины; дьячія писчія пошлины, приметъ или прибавка къ ямскимъ доходамъ, кромѣ содержанія самого яма и ямщиковъ, подмога ямскимъ охотникамъ; сюда же относится натуральная повинность—строеніе и починка мостовъ. Третій разрядъ—это подати, употребляемыя на содержаніе двора: оброкъ съ пожень, поплужная пошлина, соколій оброкъ, поминочные черные соболи. Эти налоги, по снисходительному расчисленію г. Хлѣбникова, обходились въ 1555 г. не менѣе 3 р. съ черной обжи (обжа равнялась 15-ти десятинамъ); слѣдовательно, крестьянинъ, владѣвшій обыкновенно одною третью обжи, т.-е. пятью десятинами, уплачивалъ отъ 3/4 до 1 рубля налоговъ, что̀ равнялось, по крайней мѣрѣ, половинѣ его дохода. Натуральныя повинности, отвлекавшія крестьянина отъ его собственнаго дѣла, совсѣмъ не входятъ въ этотъ разсчетъ. Понятно, что черносошные крестьяне, обираемые донага̀ и заваленные непосильной работой, рвались, что ни есть мочи, съ своихъ черныхъ земель въ имѣнья монастырскія и боярскія; ихъ судьбѣ могли

позавидовать только крестьяне, жившіе на земляхъ дѣтей боярскихъ, которымъ приходилось еще хуже (стр. 50—51). Въ XVII-мъ же столѣтіи эта картина мѣняется: помѣщичьи крестьяне приближаются, мало по малу, къ положенію холоповъ, такъ что въ 1647 г. совершается продажа крестьянъ безъ земли, и правительство не обращаетъ на это вниманія, явно показывая, что крестьяне столько же прикрѣпляются къ землѣ, сколько и къ личности землевладѣльца. Но это покуда исключительные факты; въ концѣ же царствованія Алексѣя Михайловича (въ 1675 г.) правительство разрѣшаетъ формально продажу крестьянъ порознь, какъ вьючнаго скота (стр. 273). Съ перемѣной обстоятельствъ, бытъ черносошныхъ крестьянъ, не утратившихъ ни личной свободы, ни общиннаго самоуправленія, дѣлается даже предметомъ зависти для крѣпостныхъ.

Таково было у насъ положеніе сельскаго класса; но и городское населеніе было поставлено отнюдь не въ лучшія условія. Торговля стѣснялась для посадскихъ людей: вопервыхъ, откупами, къ которымъ московское правительство было очень склонно, создавая монополію даже изъ торговли квасомъ, сусломъ, овсяною трухою и пр., вовторыхъ — конкурренціей иностранныхъ капиталистовъ, стрѣльцовъ и другихъ лицъ, которыя, не платя тяжелыхъ податей и не исправляя городскихъ службъ, могли, съ выгодой для себя, соперничать съ отягощенными посадскими. Городская служба, которую несли посадскіе по сбору и продажѣ монополизированныхъ товаровъ, была въ высшей степени тяжела для нихъ. Всѣ торговыя пошлины или отдавались на откупъ, или сбирались на вѣру, т.-е. сами горожане выбирали лицъ,

которыя бы взимали пошлины и отдавали въ казну. Трудно сказать, какой порядокъ вещей былъ болѣе обременителенъ для горожанъ. При отдачѣ на откупъ случались удивительные безпорядки, благодаря произволу откупщиковъ, и несмотря на вмѣшательство цѣловальниковъ, обязанныхъ смотрѣть, чтобы монополистъ не бралъ пошлинъ свыше опредѣленныхъ грамотами. При отдачѣ таможенныхъ сборовъ на вѣру, городу также было не легче, потому что за недоборъ отвѣчали сначала сборщики, а потомъ и всѣ ихъ избиратели. Такъ, напримѣръ, въ 1618 г. съ бѣлоозерцевъ взыскивались таможенныя недоборныя деньги съ такой безпощадной строгостью, что «многіе лутчіе (люди) съ правежовъ разбѣглися безвѣстно съ женами и съ дѣтьми, покиня домы свои пусты». Одинъ сборщикъ податей даже хвастался тѣмъ, что онъ «царскіе доходы правилъ нещадно — побивалъ на смерть». Кромѣ городскихъ службъ, посадскіе люди отбывали еще разные, чрезвычайные и обыкновенные налоги: уплачивали извѣстную часть имущества, вносили оброкъ, полоняночныя деньги (на выкупъ плѣнныхъ) и пр. Во все время царствованія Михаила и Алексѣя Михайловича посадскіе, доведенные до окончательнаго раззоренія, старались удрать изъ своихъ посадовъ и «заложиться» за властей, за монастыри — словомъ, всюду; шли даже въ кабальные холопы. Всякій выходъ посадскихъ, всякій «обѣленный» (т.-е. свободный отъ податей) дворъ ложился новой тягостью на остальныхъ посадскихъ, такъ-какъ правительство и не думало убавлять службъ, если горожанъ становилось меньше. Пришлось, наконецъ, угрожать посадскимъ смертною казнью за оставленіе посада! (стр. 292).

Принципъ крѣпостнаго права проведенъ былъ послѣдовательно во всѣхъ сферахъ русской жизни: крестьяне прикрѣплялись къ землѣ или, вѣрнѣе сказать, къ ея владѣльцу, городскіе жители—къ городу, высшіе классы—ко двору. «Для личности—такъ заключаетъ г. Хлѣбниковъ свою характеристику «царскаго періода»—не существовало никакого обезпеченія въ судѣ, въ случаѣ преступленій или проступковъ, кромѣ важной гарантіи (?), заключавшейся въ мягкости характера двухъ благочестивыхъ царей (т.-е. Михаила и Алексѣя). Отъ наказанія кнутомъ и батогами обычай и законъ началъ освобождать бояръ и думныхъ людей, но всѣ другіе подвергались ему за всякія преступленія... Отсутствіе законнаго суда, обезпечивающаго личность, заставляло людей прибѣгать къ лицемѣрію, къ двуличности и пр. Боязнь произвола сильныхъ заставляла людей прятать деньги и жить въ грязныхъ и дымныхъ лачугахъ, спать на скамьяхъ безъ постелей, носить грязное платье и бѣлье; все это дѣлалось съ тою цѣлью, чтобы не подать подозрѣнія въ богатствѣ» (стр. 249). Корыстолюбивое духовенство, овладѣвъ огромными богатствами, не содѣйствовало нимало умственному и нравственному развитію народа; напротивъ, оно старалось освободиться отъ всякихъ обязательныхъ отношеній къ государству и, по возможности, устраивало себѣ рай въ здѣшней жизни. Всегда раболѣпное передъ свѣтскою властью, которая распоряжалась мірскими благами, духовенство наше, за немногими исключеніями, вступалось ревнивѣе всего за свои матеріальные интересы. Когда же оно пробовало выйти изъ сферы матеріальныхъ разсчетовъ въ широкую область государственной жизни, его сочувствія

принадлежали застою и косности, а не движенію, не прогрессу.

Читатель видитъ, что картина, нарисованная нами по матеріаламъ г. Хлѣбникова, не отличается привлекательностью, и нужно имѣть «нарочито-острое» воображеніе, чтобы представить себѣ что-нибудь худшее. Тѣмъ не менѣе, г. Хлѣбниковъ стоитъ на томъ, что безъ благодѣтельной помощи московской централизаціи, мы просто сгинули бы со свѣту съ нашими старыми вѣчами и городскими республиками. Тутъ есть, очевидно, какое-то крупное недоразумѣніе, какая-то недомолвка, которую слѣдуетъ найти и указать автору. Постараемся сдѣлать это кратко, такъ-какъ картина, изображенная выше, краснорѣчиво говоритъ сама за себя и избавляетъ насъ отъ пространныхъ объясненій.

Географическія условія, способствующія, по мнѣнію г. Хлѣбникова, развитію деспотизма, существовали у насъ и прежде, въ эпоху напр. Владиміра Мономаха; границы были также мало обезпечены отъ нападеній враговъ: съ юга—половцевъ, съ запада—нѣмцевъ, поляковъ и венгровъ; но отчего же Владиміръ Мономахъ, по характеру своей власти и дѣятельности, такъ мало похожъ на царя опричниковъ? Возьмите «Поученіе» Владиміра Мономаха. Вы видите, что дѣятельный князь бо̀льшую часть своей жизни провелъ въ походахъ; но онъ находилъ время и совѣщаться съ дружиною, и заботиться о своемъ собственномъ образованіи. Человѣческій образъ «излюбленнаго князя» русской земли просвѣчиваетъ въ каждой строкѣ его поученія: онъ совѣтуетъ заботиться о бѣдныхъ, защищать слабыхъ, водить дружбу съ иностранными гостями, исполнять по духу, а не по бук-

вѣ, предписанія религіи. Есть ли тутъ сходство съ дикою бранью, изливаемой Іоанномъ Грознымъ на князя Курбскаго—за то только, что строптивый воевода отказался «принять вѣнецъ мученическій?» Могла ли вмѣститься въ головѣ Мономаха несчастная мысль—сдѣлаться мучителемъ своего народа, да и потерпѣлъ ли бы самый народъ такого мучителя? Новгородцы не менѣе кіевлянъ вынуждены были заботиться объ отраженіи непріятеля и слѣдовательно—по теоріи г. Хлѣбникова — у нихъ прежде всего должна бы развиться сильная диктатура; но это не мѣшало новгородцамъ ежеминутно изгонять своихъ князей: одного за то, что «не блюдетъ смердъ», другого за то, что овладѣваетъ частною и общественною собственностью, а также «выводитъ иноземцевъ», поселившихся въ городѣ, и т. д. Отсюда видно, что географическія условія и необходимость самозащиты далеко еще не ведутъ къ водворенію опричнины. Такъ же мало повела бы къ этому идея объединенія Россіи, еслибы народъ имѣлъ полный просторъ и свободу—выбрать для этой идеи соотвѣтствующую форму. Общерусскій патріотизмъ, сознаніе единства и нераздѣльности русской земли, пробивается уже сильной струей въ «Словѣ о полку Игоревѣ»; то же сознаніе, безъ всякой примѣси крѣпостническихъ замысловъ, видимъ мы въ дѣйствіяхъ лучшихъ князей удѣльно-вѣчеваго періода, — и странно утверждать, что единственнымъ исходомъ для русскаго патріотизма была именно московская централизація, закрѣпостившая народъ сверху до низу, лишившая его и политическихъ правъ, и сознанія необходимости пользоваться ими. Поголовныя народныя вѣча—сколько бы ни говорили противъ нихъ узкіе защитники порядка quand

même—имѣли ту неоспоримую заслугу, что, привлекая каждаго къ участію въ политической и общественной жизни, они строго соблюдали интересы народа и, вмѣстѣ съ тѣмъ, вкореняли въ немъ здравое понятіе о связи личныхъ, индивидуальныхъ правъ и выгодъ съ правами и выгодами цѣлаго гражданскаго общества. Московская. централизація только эксплуатировала въ свою пользу хорошіе результаты обогащенія и заселенія Руси, добытые прежней свободной жизнью народа. Г. Хлѣбниковъ самъ говоритъ: «Образованіе удѣловъ, раздробивши Россію на маленькія независимыя области, не давало возможности всеобщаго и одновременнаго прикрѣпленія крестьянъ, а частные законы въ отдѣльныхъ княжествахъ повели бы за собою ихъ обезлюдѣніе, такъ-какъ сосѣди воспользовались бы ими, чтобы сманить прикрѣпленныхъ крестьянъ. Земель было много, а работниковъ мало, а потому всѣ удѣльные князья не только не старались закрѣпить крестьянъ, но каждый наперерывъ старался давать льготы крестьянамъ, переманеннымъ изъ чужихъ удѣловъ» (стр. 46). Въ другомъ мѣстѣ г. Хлѣбниковъ признаетъ, что раздѣленіе государства на множество независимыхъ владѣній было всегда «очень полезно для развитія городовъ» (стр. 70). Такимъ образомъ, отправляясь отъ собственныхъ словъ г. Хлѣбникова, легко доказать, что если нашъ удѣльно-вѣчевой періодъ способствовалъ благосостоянію крестьянъ и развитію городовъ, то онъ сослужилъ этимъ однимъ огромную службу Россіи, и его дѣло только было испорчено послѣдующею правительственною системою. Торговое богатство Новгорода, его умственное и политическое развитіе, весьма высокое сравнительно съ Москвою —

это факты, которые невозможно отрицать или заподозривать: по свидѣтельству всѣхъ историческихъ документовъ новгородцы были богаче, честнѣе, нравственнѣе и умственно-развитѣе москвичей. При болѣе благопріятныхъ историческихъ условіяхъ, новгородское устройство могло бы распространиться по всей Россіи, соединивъ ее не крѣпостными цѣпями, но вольною, общенародною связью политическихъ, торговыхъ и промышленныхъ интересовъ. Г. Хлѣбниковъ напрасно измышляетъ: какую именно форму выбралъ бы для себя свободный союзъ русскихъ земель?—вопросъ этотъ уже разрѣшенъ самой исторіей Новгорода, и отдѣленіе Пскова, а также вятской общины отъ своей метрополіи показываетъ намъ, что опредѣленіе правильныхъ политическихъ отношеній между первенствующимъ городомъ и его колоніями вовсе не представляло непреоборимыхъ трудностей. Правда, что зависть между Псковомъ и Новгородомъ всегда существовала; но съ другой стороны они живо чувствовали солидарность своихъ политическихъ стремленій, и не даромъ у нихъ сложилась пословица: «душа на Волховѣ, сердце на Великой». Что же касается до экономической безурядицы, которую г. Хлѣбниковъ приводитъ въ числѣ главныхъ причинъ возвышенія центральной власти, — то изъ его собственнаго изложенія видно, что наше всеобщее раззоренье было не причиной, а слѣдствіемъ московскаго деспотизма.

Итакъ, по нашему мнѣнію, удѣльно-вѣчевой порядокъ палъ не вслѣдствіе своей внутренней несостоятельности и не потому, чтобы на смѣну его шелъ новый, болѣе совершенный политическій режимъ, но по другой причинѣ, которая пришла извнѣ и раздавила въ зародышѣ начатки свободной

политической жизни. Эту причину указываетъ мелькомъ г. Хлѣбниковъ, но не останавливается на ней съ должнымъ вниманіемъ и явно желаетъ навязать вѣчевому устройству то зло, которое не имѣетъ съ нимъ никакой органической связи. Татарское иго—вотъ пропасть, лежащая между Владиміромъ Мономахомъ и Иваномъ Грознымъ, и въ этой пропасти погибли и вѣча, и новгородская свобода, и естественное развитіе русскаго народа.

ОПЫТЪ ФИЛОСОФСКОЙ РАЗРАБОТКИ РУССКОЙ ИСТОРІИ.

(«Соціально-педагогическія условія умственнаго развитія русскаго народа». Соч. Аѳанасія Щапова. С.-Петербургъ. Изданіе Н. Полякова. 1870 г.).

I.

Между современными изслѣдователями русской исторіи г. Щаповъ занимаетъ совершенно особое мѣсто, рѣзко отличаясь, по складу мысли и направленію своей дѣятельности, какъ отъ московскихъ теоретиковъ, подгоняющихъ всѣ факты подъ идею государственнаго интереса и государственной цѣлости, такъ и отъ петербургскихъ анекдотистовъ, которые не задаются въ своихъ трудахъ ужь ровно никакою идеею и тискаютъ въ печатныя статьи нимало не осмысленные матеріалы, отрытые гдѣ-нибудь въ казенныхъ архивахъ или въ частныхъ запискахъ. Г. Щаповъ уже давно обратилъ на себя вниманіе именно своею способностью—отыскивать въ грудѣ разрозненныхъ фактовъ одну, обобщающую ихъ, идею; смотрѣть не поверхностно, но осмысленно и глубоко въ самую, такъ-сказать, подпочву развѣтвляющихся историческихъ событій, не обманываясь ихъ призрачной внѣшностью или выпуклой художественной стороною, и не ограничиваясь при этомъ какимъ-нибудь узенькимъ традиціоннымъ міровоззрѣніемъ, пропитаннымъ старовѣрствомъ, при полномъ отсутствіи истинно-научнаго, критическаго анализа. Въ такомъ,

по крайней мѣрѣ, духѣ были написаны всѣ его послѣднія статьи, въ которыхъ авторъ, отрѣшившись отъ своихъ прежнихъ, нѣсколько мистическихъ и преувеличенныхъ восхищеній нашимъ земскимъ, народнымъ геніемъ, сталъ на спокойную точку зрѣнія раціоналиста-историка, относящагося съ одинаковымъ безпристрастіемъ и къ прогрессивной роли правительства (въ тѣхъ случаяхъ, когда таковая роль дѣйствительно выпадала на его долю), и къ повальному «недоумству» народной массы, легко объясняемому ея безправнымъ состояніемъ и долговременной умственной забитостью. Исторія русскаго интеллекта, русской мыслящей силы, двигавшейся впередъ сквозь тысячи препятствій, полагаемыхъ ей какъ природой и климатомъ страны, такъ и всей соціально-воспитывающей обстановкой, возникшей изъ осложненныхъ физическихъ и психологическихъ причинъ—вотъ главная задача послѣднихъ работъ г. Щапова. При выполненіи этой задачи г. Щаповъ пользуется пріемами и методомъ, уже указанными Боклемъ въ его «Исторіи цивилизаціи Англіи»; но заимствуя у Бокля тѣ положенія, которыя одинаково примѣнимы къ исторіи умственнаго развитія всѣхъ народовъ, онъ видоизмѣняетъ или ограничиваетъ другіе боклевскіе тезисы, которые варьируются такъ или иначе, смотря по особымъ, характернымъ условіямъ исторической жизни каждаго народа. Такъ, напримѣръ, ставя на первый планъ, подобно Боклю, вліяніе природы на образованіе народнаго характера и признавая, вмѣстѣ съ нимъ, развитіе скептицизма начальнымъ шагомъ въ пріобрѣтеніи истинныхъ познаній, г. Щаповъ не могъ, въ виду великаго прогрессивнаго значенія петровской реформы, отнестись съ боклевской строгостью ко

всѣмъ рѣшительно проявленіямъ правительственной инціативы, хотя и не забылъ отмѣтить яркими красками дурныя послѣдствія господствовавшей у насъ государственной опеки и регламентаціи. Также точно—и по той же причинѣ—значенію личности Петра отведено у г. Щапова гораздо болѣе мѣста, чѣмъ сколько предоставляетъ его Бокль другимъ, подобнымъ же, вліятельнымъ лицамъ западноевропейской исторіи. Все это показываетъ намъ, что г. Щаповъ занимается не просто пересадкою къ намъ готовыхъ воззрѣній передовыхъ европейскихъ писателей; но что онъ, сознательно вооружившись новымъ научнымъ методомъ, съ тѣмъ вмѣстѣ, настолько изучилъ свой фактическій матеріалъ, что его выводы не предшествуютъ фактамъ, не навязываются имъ со стороны, но свободно вытекаютъ изъ нихъ, какъ болѣе или менѣе правильное, логическое заключеніе.

Книга г. Щапова—представляетъ собой, кажется, первую у насъ попытку обозрѣть въ связномъ, философски-обдуманномъ очеркѣ всю сумму общественно-воспитательныхъ, или соціально-педагогическихъ вліяній, подъ которыми суждено было развиваться русской мысли отъ основанія государства вплоть до нашихъ дней. Вліяніе природы, т.-е. физическихъ условій страны, на характеръ и склонности русскаго народа указывается здѣсь только мимоходомъ; главнѣйшимъ же образомъ г. Щаповъ разсматриваетъ въ своей книгѣ ту соціальную обстановку, которая, въ формѣ религіозныхъ представленій и государственныхъ «мѣропріятій», могущественно дѣйствовала на складъ, силу и направленіе русской мысли. Странно было бы требовать, чтобы въ этомъ едва-ли не первомъ опытѣ почтенный авторъ избѣжалъ всякихъ ошибокъ, упущеній или

даже недостатковъ въ самомъ планѣ работы: подобныя требованія были бы равносильны фантастическому желанію—видѣть цѣлую науку выходящей вполнѣ обработанною изъ головы одного человѣка; но, несмотря на то, что г. Щаповъ даетъ поводъ возразить себѣ по многимъ пунктамъ, мы все-таки должны признать его трудъ весьма замѣчательнымъ вкладомъ въ современную русско-историческую литературу.

II.

Мы передадимъ сначала въ общихъ чертахъ содержаніе книги г. Щапова, а затѣмъ укажемъ тѣ ея мѣста, которыя, по нашему мнѣнію, требуютъ выясненія, дополненій или даже переработки въ извѣстномъ смыслѣ.

Сравнивая, въ началѣ своего труда, исторію умственнаго развитія въ Россіи и въ Европѣ, г. Щаповъ говоритъ, что въ то время, какъ въ Европѣ теоретическая мысль и философская самодѣятельность развивались генеративно-послѣдовательно и образовали, наконецъ, въ XV вѣкѣ, цѣлую школу свободныхъ мыслителей, служившую выраженіемъ (по словамъ Гизо) умственной революціи,—въ исторіи умственнаго развитія русскаго народа не замѣтно было послѣдовательнаго, философскаго изощренія мыслительной силы, и потому много вѣковъ совсѣмъ не было особагo класса, который посвятилъ бы себя культурѣ мысли. Племена, вошедшія въ составъ русскаго народа при основаніи государства, стояли еще на самой низкой, примитивной степени

своего интеллектуальнаго развитія. Краніологическія изслѣдованія послѣдняго времени показываютъ, что къ какому бы племени ни принадлежало, напримѣръ, московское курганное поколѣніе, въ средѣ котораго зарождалось московское государство, во всякомъ случаѣ краніологическое развитіе его не показываетъ присутствія сколько-нибудь выработанной способности мышленія. Сжатый черепъ, длинный и узкій, сильное развитіе затылочной его части, низкій приплюснутый лобъ, малый личной уголъ—вотъ краніологическія черты этого племени, весьма напоминающія характеристическія формы череповъ каменнаго вѣка и басковъ (стр. 5). Такое племя, очевидно, не могло само собою, собственными интеллектуальными силами, начать могучую умственную самодѣятельность; во главѣ его не могъ выдвинуться самостоятельный мыслящій и руководящій классъ. Оно необходимо должно было подчиниться, вопервыхъ, интеллектуальному вліянію и господству скандинаво-германскихъ, варяжскихъ князей и дружинниковъ, имѣвшихъ больше возможности умственно развиться при условіи обширныхъ морскихъ походовъ, морской торговли и пр., вовторыхъ, интеллектуальному перевѣсу византійской церковно-учительной іерархіи, сильной и вліятельной, если не физико-математическимъ ученіемъ Аристотелей, Эвклидовъ, Архимедовъ, то догматикой Златоустовъ, Назіанзиновъ, Дамаскиныхъ и пр. И дѣйствительно, если мы, послѣ разсмотрѣнія череповъ, заглянемъ въ доисторическій, миѳологическій періодъ славяно-русскаго интеллекта, то не найдемъ въ немъ никакихъ яркихъ зачатковъ высшаго разсудочнаго процесса. Славяне не могли еще возвыситься, силою отвлеченнаго мы-

мленія, до идеи божества и обобщенной системы религіи: они только созерцали, ощущали и поклонялись непосредственно—по свидѣтельству Нестора и византійскихъ писателей—такимъ физическимъ типамъ и предметамъ природы, какъ, напримѣръ, рѣки, колодези, болота, деревья, камни и т. п. Передъ временемъ водворенія на Руси христіанства, сенсуальная воспріимчивость славянскихъ племенъ коснѣла еще на степени дикарскаго, звѣроловческаго, зооморфическаго міросозерцанія, такъ какъ многія племена славянскія жили еще, по словамъ лѣтописи, въ лѣсахъ, звѣринскимъ образомъ, и приносили въ жертву богамъ не только звѣрей, но и «сыны своя и дщери». Вслѣдствіе общей неразвитости умственныхъ способностей, при отсутствіи вполнѣ организованной, обобщенной догматической и обрядовой стороны религіи, при полной замѣнѣ, наконецъ, жреческой касты родовымъ значеніемъ отцовъ семействъ или старшихъ въ родѣ—классъ славянскихъ вѣдуновъ или знахарей не успѣлъ организоваться, во главѣ славянскихъ племенъ, въ замкнутую и умственно-владычествующую жреческую касту или іерархію. Тѣмъ болѣе знахарство это не могло положить начала раціонально-мыслящему классу народа, что оно само основывалось не на здравыхъ выводахъ мышленія и знанія, но на совершенно ложныхъ миѳическихъ представленіяхъ и сенсуальныхъ галлюцинаціяхъ. По всѣмъ этимъ причинамъ умственная сила и вліятельность вѣдуновъ и волхвовъ никогда не могли устоять въ борьбѣ съ византійской, строго выработанной, доктриной и съ византійскимъ клерикально-педагогическимъ классомъ. Наконецъ, и въ историческія уже времена, въ эпоху колонизаціи и

земскаго строенія—вѣковая, исключительно-физическая работа нашего народа въ области природы, обусловливая одну лишь первобытную, натуральную воспріимчивость, въ то же время почти совершенно исключала возможность развитія высшаго, теоретическаго мышленія. Эта вѣковая работа колонизаціи, напрягая одни внѣшнія чувства и способствуя накопленію однихъ лишь элементарныхъ, конкретныхъ впечатлѣній, не давала досуга народу мысленно обсуждать, сравнивать и обобщать всѣ разсѣянныя, безсвязныя чувственныя воспріятія, а также вырабатывать изъ нихъ своимъ мышленіемъ какіе-нибудь логическіе выводы или заключенія. Итакъ, славяно-русскій народъ, еще только выступая на поприще исторіи, подчинился, въ самомъ воспитаніи своей мыслительной силы, византійскому клерикальному классу, который явился на Руси сначала въ лицѣ византійскихъ грековъ, составлявшихъ первоначальную іерархію новосозданной русской церкви, а затѣмъ, будучи свободенъ отъ черныхъ работъ и обезпеченъ жалованными десятинами, землями и работами народными, организовался мало по малу въ самобытный славянскій церковно-учительный классъ, ставшій надолго во главѣ умственнаго воспитанія и направленія русскаго народа. Кромѣ того, славянскія племена, испытавши во времена родовой рѣзни и междоусобицъ недостаточность своего земскаго устройства и примирительнаго вліянія родоначальниковъ и старшинъ, подчинились сами, вмѣстѣ съ финскими племенами, интеллектуальному вліянію и власти скандинаво-германскаго, или варяжскаго, княжескаго рода, который потомъ, обрусѣвши и вѣнчавшись византійской мономаховой

діадемой, возвысился въ наслѣдственный домъ самодержавцевъ всероссійскихъ и сдѣлался главнымъ, самодержавнымъ регуляторомъ всей умственной жизни русскаго народа (стр. 10—12). Оцѣнивая вліяніе на русскую жизнь религіознаго начала, заимствованнаго изъ Византіи, г. Щаповъ говоритъ: «Восточно-византійская доктрина имѣла своей задачей не интеллектуальное, не научно-мыслительное развитіе русскаго народа, а одно нравственно-религіозное воспитаніе. Все главное ея назначеніе состояло въ развитіи грековосточнаго христіанскаго умонастроенія, греко-восточной христіанской вѣры и нравственности. Поэтому въ программу ея не входило ни возбужденіе всеобщей самодѣятельности мышленія, разума, ни распространеніе такихъ способовъ развитія мыслительныхъ способностей народа, какъ классическая литература и наука. Отсюда проистекали двѣ характеристическія особенности умственной жизни древней Руси, отразившіяся въ умонастроеніи новой Россіи: 1) совершенное преобладаніе восточно-византійскаго теологическаго начала надъ классико-космологическимъ и 2) совершенное преобладаніе вѣры и нравственности надъ разумомъ и мыслью». Этотъ выводъ г. Щаповъ подтверждаетъ многими фактами и соображеніями. Византія, въ то время, когда мы заимствовали оттуда религіозное ученіе, находилась сама въ глубокомъ упадкѣ: наука, преподаваемая въ ея школахъ, не заслуживала нисколько этого имени. «Творческій духъ грековъ, по справедливому замѣчанію одного русскаго изслѣдователя, ослабѣвалъ постепенно, и истинно-христіанское начало стѣснялось одностороннею догмой. Наука не имѣла жизненности, внутренней силы, свѣжести, не обращалась въ жизнь

и сама не питалась жизнью; облеченная въ отвлеченныя, сухія формы, она существовала отдѣльно, почти не касаясь живыхъ, современныхъ интересовъ общества. Утонченная діалектика въ области богословія, искусственныя и пустыя умозрѣнія въ философіи, декламація вмѣсто истиннаго краснорѣчія—вотъ что, болѣе всего, составляло ученыя занятія византійскихъ грековъ». При такой выродившейся, жалкой наукѣ, Византія, очевидно, не могла возбудить въ русскомъ народѣ развитія научной мыслительности. Въ самомъ христіанскомъ ученіи Византія, въ длинный періодъ схоластико-догматическихъ словопреній, почти нисколько не развивала умственно-образовательныхъ идей христіанства о человѣкѣ, объ общественныхъ отношеніяхъ, о началахъ любви и братства и т. п. Въ это время она только выработала и твердо, неподвижно установила догматъ о трехъ ипостасяхъ божества, о поклоненіи св. иконамъ, о почитаніи Богородицы и святыхъ, и разработала въ восточномъ духѣ церковную архитектуру, церковное богослуженіе, церковное пѣніе и церковную обрядность. Все это Византія передала и Россіи. Порабощенная и угнетенная потомъ турками, она и вовсе поступилась тѣми умственно-образовательными средствами, какія заключались въ твореніяхъ Аристотеля, Эвклида, Гиппократа и другихъ классическихъ геніевъ. Всѣ ея древнія рукописи достались не Россіи, а Западу. Такимъ образомъ, западные умы, предвосхитивши произведенія греческаго генія, были возбуждены ихъ идеями къ могучему умственному развитію, а Россія лишилась и этого образовательнаго импульса, и отстала отъ Запада. На Западѣ, какъ извѣстно, и монастыри служили проводниками не однѣхъ догматиче-

скихъ, но и классическихъ научныхъ идей. Такъ, напримѣръ, въ аббатствѣ Кройландскомъ, въ концѣ XI вѣка, было до 3,000 книгъ и въ томъ числѣ множество сочиненій римскихъ классиковъ; въ аббатствѣ Гластонберійскомъ библіотека заключала въ себѣ, въ 1248 году, 400 томовъ, и между ними, бо̀льшею частію, встрѣчались древне-классическія произведенія. Въ нашихъ же монастыряхъ, въ массѣ библейскихъ, святоотеческихъ и богослужебныхъ книгъ (какъ, напримѣръ, въ Соловецкомъ, Сергіевомъ, Кирилло-Бѣлозерскомъ и другихъ книгохранилищахъ) не находилось иногда ни одной древне-греческой или римской рукописи. Наконецъ, если такія рукописи попадали къ намъ и переводились на русскій языкъ, то и тутъ предпочтеніе оказывалось авторамъ въ родѣ, напримѣръ, Козьмы Индикоплавта, который, въ своей «Книгѣ міра», доказывалъ, что земля четыреугольна, небо, въ видѣ полукруга, прикрѣплено къ краямъ ея, и что окрестъ всей земли океанъ. «Такимъ образомъ—говоритъ г. Щаповъ въ заключеніе своей характеристики византійскаго вліянія—классицизмъ не былъ историческимъ началомъ интеллектуальнаго развитія въ Россіи, какимъ былъ на Западѣ. Онъ не былъ у насъ, какъ на Западѣ, предварительнымъ горниломъ испытанія мыслительности, не былъ предуготовительной школой возбужденія и воспитанія пытливой мысли и духа изслѣдованія... Русскому народу, такъ сказать, родившемуся уже на зарѣ новой исторіи человѣчества,—когда преемственно-историческій круговоротъ идей цивилизаціи долженъ уже исходить для всѣхъ новыхъ народовъ не только не съ востока дряхлаго, нѣкогда импульсировавшаго мыслительность древнихъ грековъ, но даже и не

изъ классическаго міра, Эллады и Рима, а съ запада Европы— русскому народу, закономъ всемірной исторіи, суждено было возбудиться, импульсироваться къ умственной жизни уже новымъ, западно-европейскимъ завѣтомъ великихъ, міровыхъ идей и открытій, а не ветхимъ завѣтомъ зачаточныхъ знаній классическаго міра... Поэтому, съ XVIII вѣка, съ вѣка Ньютона, Эйлера, и друг. уже поздно было почерпать умственно-образовательныя средства въ произведеніяхъ Аристотеля, Платона, Птоломея и др. Съ XVIII вѣка классицизмъ въ училищахъ русскаго народа былъ уже анахронизмомъ и мертвою буквою». Русскій умъ, покорно воспринимавшій въ себя византійскую доктрину, долгое время оставался глухъ ко всѣмъ вопросамъ и возбужденіямъ классицизма. Вмѣсто философіи и наукъ, въ древней Россіи заповѣдывалось учиться только смиренномудрію и каноническимъ книгамъ. Въ тѣ времена говорили: «Братія, не высокоумствуйте, но во смиреніи пребывайте, посему же и прочая разумѣвайте. Аще кто ти речетъ: вѣси ли всю философію? И ты ему рцы: эллинскихъ борзостей не текохъ, ни риторскихъ астрономъ не читахъ, ни съ мудрыми философы не бывахъ; учусь книгамъ благодатнаго закона, аще бо мощно моя грѣшная душа очистити отъ грѣхъ». Эта же боязнь сомнѣнія и трезваго изученія природы зашла изъ древней и въ новую Русь, и даже въ наши дни не перестаетъ смущать благочестивыя души разныхъ публицистовъ. Уже въ 1720 году, т. е. въ концѣ царствованія Петра I, силившагося пробудить русскую мысль, нѣкій іеромонахъ Кохановскій поучалъ: «аще бо и великостепенный человѣкъ училъ отъ своего мозга, не слушай и не пріемли». Когда извѣстнаго профессора Рихмана,

во время производства громооотводныхъ опытовъ, убило молніей, то публику объялъ такой суевѣрный страхъ, что Ломоносовъ боялся, чтобы этотъ случай не былъ перетолкованъ противъ естественныхъ наукъ. И дѣйствительно, современникъ этого событія, В. А. Нащокинъ, выражавшій, конечно, мнѣнія большинства, отозвался объ опытѣ Рихмана, какъ о нелѣпой и самонадѣянной попыткѣ—вырвать у природы ея секреты, передъ которыми нужно только безмолвствовать и слѣпо имъ подчиняться. «Профессоръ Рихманъ — говоритъ насмѣшливо Нащокинъ въ своихъ запискахъ—машиною старался объ удержаніи грома и молніи, дабы отъ идущаго грома людей спасти; но съ нимъ прежде всѣхъ случилось при той самой сдѣланной машинѣ, съ нимъ, Рихманомъ, о мудрованіи сходно произошло въ древности, какъ Эсхилъ тоже черезъ астрономію познaлъ убіеніе себя верженіемъ сверху: орелъ съ высоты опустилъ желвь (черепаху) и разбилъ лысую голову Эсхила». Даже по учрежденіи физико-математическихъ факультетовъ въ университетахъ, въ началѣ нынѣшняго столѣтія, профессора естественныхъ и математическихъ наукъ должны еще были, подобно Ломоносову, доказывать, что знаніе силъ природы не подрываетъ религіи, а, напротивъ, приводитъ къ ней и пр. и пр. Еслибы г. Щаповъ довелъ свое изслѣдованіе до нашихъ дней, то онъ долженъ былъ бы занести подъ ту же рубрику нелѣпые возгласы новѣйшихъ «спасителей отечества» (выраженіе, принадлежащее г. Тургеневу) противъ всякаго живаго научнаго слова, не укладывающагося на прокрустовомъ ложѣ благонамѣренно-полицейскихъ тенденцій.

III.

Какъ въ сферѣ нравственно-религіознаго міросозерцанія русскій народъ всецѣло подчинился вліянію византійской доктрины, такъ въ умственномъ образованіи своемъ онъ, вслѣдствіе того же отсутствія мыслящаго, руководящаго класса, поддался исключительно-государственной системѣ опеки и воспитанія, и его мыслительность, въ своемъ направленіи и развитіи, руководилась постоянно иниціативой правительства. Занятый вѣковою «борьбой за существованіе» среди доставшейся ему на долю суровой сѣверной природы, скупой на дары,—народъ нашъ естественно, въ періодѣ своей колонизаціонной дѣятельности, не имѣлъ достаточно досуга обдумывать и размышлять, а потому всякія умственныя дѣла и заботы долженъ былъ устранить отъ себя на много вѣковъ и уступить, предоставить ихъ думѣ правительственной—царской думѣ. Въ то время, когда народъ былъ весь погруженъ въ колонизаторскую работу и съ топоромъ, косой и сохой бродилъ врознь по великорусской и сибирской землѣ, въ «черныхъ, дикихъ лѣсахъ», отыскивая только, по свидѣтельству историческихъ актовъ, «теплыхъ и родимыхъ мѣстъ и корма или животовъ и промысловъ»—въ то время думѣ царской легко было «думать свою думу» за весь народъ и развить полную государственную систему приказной опеки, централизаціи и уставности или регламентовъ. Поэтому, еще въ XVII вѣкѣ, задолго до Петра Великаго, когда

земскіе люди собирались на соборы или земскія думы, они обыкновенно единогласно отвѣчали на тотъ или другой земскій вопросъ: «въ томъ какъ тебя, государя, Богъ вразумитъ и твоя государева мысль и воля: то наши рѣчи». Экономія русской природы была трудно доступна, а народъ, въ разработкѣ ея, руководился только поверхностнымъ указаніемъ пяти чувствъ; ему не сопутствовала могучая раціональная мысль, съ нимъ не было ни «рудознатцевъ», ни книгъ о разныхъ произведеніяхъ природы. Вотъ это-то неразуміе, это умственное безсиліе или неумѣнье народа справиться собственными средствами съ природой родной страны и было у насъ, по мнѣнію автора, основною, существенною причиной господства государственной опеки. «Въ русскомъ государствѣ—говоритъ Юрій Крыжаничъ—необходима казенная дума. Первое: ибо нашего народа люди суть коснаго разума и неудобно сами что выдумаютъ, если имъ не будетъ показано. Второе: ибо у насъ нѣтъ никакихъ книгъ объ земледѣліи и объ иныхъ промыслахъ, какія есть у другихъ народовъ. Третье: ибо нашъ народъ лѣнивъ и непромышленъ, и сами себѣ не хотятъ сдѣлать добра, если не будутъ принуждены какою либо силою. Четвертое: ибо здѣсь есть совершенное самовладство, и повелѣніемъ царскимъ можетъ учиниться по всей землѣ всякая поправа, гдѣ что будетъ полезно и потребно ввести въ обычай». Правительство, увидя, съ одной стороны, открытыя народомъ богатства природы, съ другой—умственное безсиліе самого народа въ обладаніи ими, призвало ученыхъ нѣмцевъ, и вооружившись такимъ образомъ европейской интеллигенціей, неизбѣжно стало во главѣ умственной дѣятельности въ Рос-

сіи. Вслѣдствіе этого, физико-математическія и другія науки пришлось вводить въ Россіи по указу и по повелѣніямъ царя — Петра-Великаго. О необходимости петровской реформы г. Щаповъ выражается слѣдующимъ образомъ: «Для того, чтобы въ умахъ русскихъ развить способность и возбудить любовь къ математическому и естественно-научному мышленію и знанію, надобно было, вопервыхъ, явиться во главѣ русскаго народа генію, образовавшемуся подъ вліяніемъ западнаго разума, и энергично предпринять систематическое ученіе молодыхъ поколѣній математикѣ и естественнымъ наукамъ; вовторыхъ, необходимо было начинать, такъ сказать, съ азбуки математики и естествознанія и все, относящееся къ этимъ наукамъ, начиная съ ариѳметики и кончая астрономіей, заимствовать на Западѣ, гдѣ геніи Коперниковъ, Декартовъ, Кеплеровъ, Ньютоновъ и Лейбницевъ давно обогатили естественныя и математическія науки великими открытіями и воспитали уже цѣлыя поколѣнія естествоиспытателей и математиковъ. И вотъ Петръ-Великій является первымъ нововводителемъ въ дѣлѣ реальнаго, естественно-научнаго воспитанія и развитія молодыхъ поколѣній въ Россіи... Желая просвѣтить народъ рабочій, практическій, Петръ-Великій и съ Запада заимствовалъ такія реальныя, математическія и естественныя науки, которыя преимущественно возбуждаютъ и воспитываютъ реалистическое умонастроеніе и относятся прямо или косвенно къ реальнымъ, физическимъ работамъ народа, къ народному и государственному хозяйству. На естествознаніе онъ больше смотрѣлъ съ утилитарной точки зрѣнія». Петръ-Великій основалъ въ Россіи первыя свѣтскія училища съ реально-

практическимъ характеромъ, а затѣмъ, смотря по развитію народныхъ потребностей, открывались у насъ и другія учебныя заведенія — гимназіи, университеты, собственно народныя школы, и все это становилось дѣломъ разныхъ коммисій, комитетовъ и регламентовъ правительства, которое постоянно думало за народъ, представляло собой его голову, его интеллигенцію. Отдавая должную справедливость просвѣтительной роли государства въ дѣлѣ введенія у насъ европейскихъ наукъ и устройства школъ, г. Щаповъ находитъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, что излишнее вліяніе правительственной опеки было весьма невыгодно для самостоятельнаго развитія и проявленія русской мысли. Вопервыхъ, задачей этой опеки было не свободное развитіе русской мысли, а направленіе ея по частнымъ видамъ правительства; по этой причинѣ общество русское, положившись на заботы правительства, само уже никогда не думало и не заботилось о лучшихъ способахъ и свободномъ направленіи своего умственнаго образованія. Отсюда развились (точнѣе сказать: удержались на долгое время) умственное рабство и умственная безпечность народа въ вопросахъ, близко касающихся его собственнаго благополучія. «Еслибы — говоритъ авторъ — отъ времени до времени не выходили новые указы, новыя учрежденія, умственная жизнь нашего общества, кажется, и вовсе не возбуждалась бы ничѣмъ. Не даромъ, въ современныхъ газетахъ нашихъ, мы часто читаемъ такія жалобы: общественная жизнь наша такъ безцвѣтна и однообразна, что еслибы не новыя, напримѣръ, судебныя учрежденія, общество совершенно, кажется, уснуло бы. Благодаря только выдающимся изъ обыденнаго уровня судебнымъ про-

цессамъ, отъ времени до времени появляющимся въ печати, общество оживляется, становится дѣятельнѣе, высказывается... Воспитываясь и получая направленіе въ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ, по казеннымъ программамъ, общественная мысль носитъ на себѣ отпечатокъ казенный, легальный, указно-регламентарный, уставный. Общественное міросозерцаніе не выработывается трудомъ раціональнаго общественнаго ученія и научнаго мышленія; энергической и постоянной самодѣятельностью общественной мысли, не почерпается изъ наукъ, изъ самодѣятельности разума, а цѣликомъ заимствуется только изъ свода законовъ... Вслѣдствіе вѣковой привычки къ умственной опекѣ, вѣковаго подчиненія умственно-образовательнымъ идеямъ, указамъ и учрежденіямъ правительства, въ обществѣ нашемъ нѣтъ даже привычки думать, жить и работать мыслью. Ничто такъ не чуждо нашему обществу, какъ элементъ раціональной и критической самодѣятельности мышленія». «Множество аномалій — говоритъ въ другомъ мѣстѣ г. Щаповъ— множество умственныхъ и нравственныхъ болѣзней разъѣдаетъ нашъ общественный организмъ, множество вопіющихъ недостатковъ въ нашемъ соціальномъ строѣ. И общество словно не чувствуетъ этихъ болѣзней, не сознаетъ этихъ аномалій и недостатковъ. Оно ждетъ сознанія и лѣченія ихъ со стороны правительства или съ восточно-азіатскимъ фатализмомъ предоставляетъ излѣченіе ихъ на произволъ судьбы. Еще не такъ давно даже передовые выразители общественной мысли, въ родѣ, напримѣръ Тютчева, взывали къ обществу, чтобы оно не думало, не разсуждало, а съ азіатскою, фаталистическою безпечностью уповало, что всѣ его

соціальныя раны заживутъ сами собою, во время его глубокаго умственнаго сна и безъ всякаго живительнаго лѣкарства просвѣщенія. Они проповѣдовали обществу:

Не разсуждай, не хлопочи:
Безумство ищетъ, глупость судитъ;
Дневныя раны сномъ лѣчи,
А завтра быть тому, что будетъ.» (Стр. 59).

Вовторыхъ, успѣшности государственной опеки препятствовали непостоянныя, измѣнчивыя направленія въ самомъ правительствѣ, хроническія реакціи, слишкомъ памятныя въ исторіи русской мысли. Если бы р о в н о и п о с л ѣ д о в а т е л ь н о развивались у насъ только такія попеченія правительства, какъ напримѣръ, заботы Петра о распространеніи европейскихъ наукъ или мѣры Александра Павловича къ развитію просвѣщенія въ первую половину его царствованія, то, безъ сомнѣнія, и мысль русская развивалась бы также непрерывно-послѣдовательно, безъ остановокъ и болѣзненныхъ кризисовъ. Но въ томъ-то и бѣда, что въ историческомъ развитіи правительственной опеки не было правильнаго, прогрессивнаго движенія, а, напротивъ, часто выпадали продолжительные періоды застоя и суровой реакціи. Такъ, напримѣръ, съ конца XVIII-го столѣтія, т.-е. со времени французской революціи, а потомъ послѣ 1815 года, послѣ заключенія священнаго союза, въ правительствѣ нашемъ, вмѣсто прежняго безбоязненнаго умственнаго влеченія къ Западу, высказавшагося въ дѣятельности Петра I, сталъ развиваться робкій, боязливый взглядъ на успѣхи науки и разума въ Западной Европѣ. Этой боязнью, этимъ поворотомъ назадъ объясняются гоненія на литературу въ концѣ царствованія Екатерины II-й, репрессивный характеръ павловскаго времени и,

наконецъ, незабвенные подвиги Магницкаго и Рунича, лавры которыхъ донынѣ не даютъ спать многимъ общественнымъ дѣятелямъ. Неодинаковые личные взгляды императоровъ Павла и Александра различно регулировали развитіе и направленіе русской мысли. Первый изъ нихъ, устрашенный событіями 90-хъ годовъ во Франціи, запретилъ совершенно привозъ изъ-за границы всякихъ книгъ и даже музыкальныхъ нотъ. Этотъ указъ сейчасъ же послужилъ камертономъ для тогдашней публицистики. Панегиристы временъ Павла стали говорить въ духѣ этого государя: «Мудрую прозорливость свою императоръ Павелъ доказалъ въ споспѣшествованіи истинному преуспѣянію наукъ чрезъ учрежденіе строгой и бдящей цензуры книжной. Познаніе и такъназываемое просвѣщеніе часто употреблено во зло чрезъ обольстительные нынѣшнихъ странъ напѣвы вольности и чрезъ обманчивые призраки мнимаго счастія. Европейскія правительства, спокойно взиравшія на сей развратъ, возъимѣли, наконецъ, правильную причину сожалѣть о своемъ равнодушіи. Сколь счастливою почитать себя должна Россія потому, что ученость въ ней благопріятными ограниченіями охраняется отъ всегубительной язвы возникающаго всюду лжеученія» и пр. и пр. Александръ I-й, не находя особенно «благопріятными» для науки эти ограниченія, отмѣнилъ ихъ сейчасъ же по вступленіи своемъ на престолъ и повелъ Россію совершенно противоположной дорогой. Реформаторскіе планы роились въ головѣ молодаго государя и его приближенныхъ совѣтниковъ; прежній способъ управленія признанъ вреднымъ для нашего отечества; между разными реформами, готовившимися для Россіи, рѣчь заходила и о

конституціи, которая должна была «увѣнчать» преобразованное и упроченное государственное зданіе. Учрежденіе министерствъ было только первымъ шагомъ на новомъ пути. Сообразно съ этимъ, измѣнился взглядъ на просвѣщеніе и проводниковъ его — литературу и общественныя училища; всѣ заговорили о свободѣ прессы, о свободѣ преподаванія и изслѣдованія. М. Н. Муравьевъ, товарищъ министра народнаго просвѣщенія, провозглашалъ, что залогъ успѣховъ цивилизаціи и нравственности заключается въ свободѣ научнаго изслѣдованія, и указывалъ въ примѣръ на умственное превосходство протестантской Германіи надъ католическою. «Въ различныхъ областяхъ одного народа — писалъ Муравьевъ — примѣчается великое противоположеніе въ поведеніи и общежитіи людей по мѣрѣ того, какъ просвѣщеніе покровительствуется или утѣсняется. Между тѣмъ, какъ въ католическихъ областяхъ нѣмецкой земли понятія народныя омрачены грубостью суевѣрія и невѣжества, протестантскія земли, гдѣ царствуетъ разумная свобода въ разбирательствѣ мнѣній, отличаются общимъ распространеніемъ просвѣщенія и благонравія». Но послѣ 1810, и особенно послѣ 1815 г., декораціи снова перемѣнились. Сочувствіе къ просвѣщенію и къ университетамъ протестантской Германіи поколебалось, и въ правительствѣ начали появляться защитники католической системы образованія, предвозвѣщавшіе приближеніе временъ Фотія, Магницкаго и Рунича. Іезуиты завладѣли общественнымъ воспитаніемъ, вербуя своихъ питомцевъ преимущественно въ богатыхъ и знатныхъ семействахъ. Министру народнаго просвѣщенія, А. К. Разумовскому, доказывали, что любовь къ наукамъ и забота о нихъ

есть опасная ошибка; въ учебныхъ заведеніяхъ, которыя учреждены были съ такими свѣтлыми надеждами во всѣхъ концахъ Россіи, стали видѣть скопище полузнаекъ, самоувѣренныхъ и заносчивыхъ, проникнутыхъ самыми разрушительными намѣреніями. Совѣтникомъ и руководителемъ Разумовскаго сдѣлался извѣстный въ литературномъ мірѣ графъ Жозефъ де-Местръ, сардинскій посланникъ при русскомъ дворѣ—врагъ естественныхъ и политическихъ наукъ, проповѣдникъ библейскихъ принциповъ въ геологіи, правовѣдѣніи и пр. Наконецъ, толки о конституціи замѣнились толками о военныхъ поселеніяхъ и о «богодухновенныхъ» пророчествахъ разныхъ, ополоумѣвшихъ отъ изувѣрства, ханжей и пустосвятовъ. Кромѣ хроническихъ реакціонныхъ дѣйствій, правительственная опека имѣла въ своихъ рукахъ еще одно постоянное учрежденіе или спеціально-регулятивное орудіе — цензуру, которая во время реакцій тоже, съ своей стороны, становилась реакціонерною. Заботы о предохраненіи русской мысли отъ соблазновъ начались еще съ тѣхъ поръ, какъ въ Россіи появился изъ Византіи церковно-іерархическій классъ, и мыслительность народная подчинилась авторитету византійскаго номоканона, догмата и преданія. Эти сдержки свободнаго проявленія мыслительной силы особенно развились съ тѣхъ поръ, какъ стали возникать въ Россіи различныя ереси. Уже въ Стоглавѣ, въ 1555 г., между многими правилами положено было: «книги списывать съ добрыхъ переводовъ да справлять; переписчикъ неисправныхъ книгъ подвергается великому запрещенію; покупающій не можетъ пользоваться такими книгами, а продающій лишается самыхъ книгъ». Сверхъ того, соборъ просилъ царя, «запретить

великимъ запрещеніемъ, чтобы христіане не читали и не держали у себя книгъ еретическихъ». Съ XIV-го вѣка до 1644 г. постоянно переписывалось въ сборникахъ и потомъ напечатано было въ руководство грамотному люду,—«правило о книгахъ, ихъ же подобаетъ чести и внимати, и ихъ же ни внимати, ни чести не подобаетъ». Одинъ соборъ въ XVII-мъ вѣкѣ запретилъ продавать книги «со многою ложью» и положилъ «чинить смиреніе» писателямъ. Но собственно цензура, или предварительный просмотръ рукописей, появляется у насъ только съ 1720 г. по поводу изданія черниговскою и кіевопечерскою типографіями книгъ «со многими противностями восточной церкви». Указомъ 20-го марта 1721 г. запрещалось продавать «книги писанныя и печатанныя безъ дозволенія, подъ страхомъ жестокаго отвѣта и безпощаднаго штрафованія». Далѣе вышло запрещеніе вывозить книги изъ за границы безъ разсмотрѣнія. Потомъ различными указами предписывалось, чтобы всѣ книги гражданскаго и богословскаго содержанія пересматривались въ академіи наукъ или въ губернскихъ правительственныхъ мѣстахъ. Наконецъ, указомъ 3-го ноября 1751 г. установлена цензура относительно газетъ. Болѣе же полное изложеніе началъ цензуры, какъ учрежденія, дѣйствующаго отдѣльно и независимо отъ законовъ уголовныхъ, принадлежитъ указу 1776 г. августа 22-го. При Александрѣ I, цензированіе печатныхъ книгъ окончательно замѣнилось предварительнымъ просмотромъ рукописей, и—«въ литературѣ, по выраженію одного писателя, образовались свои катакомбы» (стр. 74). Въ періодъ полнаго господства строгой цензуры, въ области русской науки и литературы появился особый необъятный

отдѣлъ предметовъ и вопросовъ, такъ называемыхъ, н е ц е н з у р н ы х ъ, преимущественно въ соціологіи и естественныхъ наукахъ. Въ естественныхъ наукахъ, напримѣръ, нецензурны были вопросы о физическомъ образованіи земли, о происхожденіи видовъ, о древности человѣка, о различныхъ явленіяхъ въ нервной физіологіи, о значеніи въ природѣ силы и матеріи и пр. и пр. Въ области соціальныхъ наукъ нецензурными считались вопросы о естественныхъ основахъ соціальнаго устройства и вообще о естественныхъ законахъ общежитія, о происхожденіи власти, о сословномъ и имущественномъ неравенствѣ людей и пр. и пр. Чѣмъ для развитія научной и литературной мысли была цензура—тѣмъ, для развитія народной мыслительности, было строгое ограниченіе массы народа въ ея умственныхъ правахъ. Простой, рабочій народъ исторически былъ обреченъ на одну страдную, физическую работу, и потому не имѣлъ досуга и возможности самостоятельно додуматься до научно-интеллектуальной работы. А потомъ, особенно съ XVII и въ началѣ XVIII вѣка, онъ обремененъ былъ государственными работами, податями и повинностями, и потому не могъ принять участія въ усвоеніи европейскихъ наукъ съ самаго начала умственно-образовательной реформы Петра-Великаго. Дальнѣйшая же его исторія, отъ тираніи бироновщины до пугачевщины, еще болѣе не благопріятствовала его интеллектуальному развитію. Вопервыхъ, съ возрастающимъ преобладаніемъ и усложненіемъ матеріальныхъ потребностей огромной имперіи—военныхъ, податныхъ и проч.—въ правительствѣ преобладалъ и увеличивался запросъ не на интеллектуальныя, а на матеріально-производительныя, физическія силы народа; съ раз-

витіемъ же сословности и табели о рангахъ установился взглядъ на простой, рабочій народъ, какъ исключительно на податное и государственно-рабочее сословіе, которому вовсе не нужно высшее интеллектуальное развитіе, какъ дворянству. Во вторыхъ, съ усиленіемъ сословныхъ претензій и крѣпостническихъ тенденцій въ средѣ самого дворянства, а также съ началомъ правительственныхъ реакцій, высшее научное развитіе рабочаго народа, или низшихъ классовъ, признавалось не только ненужнымъ, но даже невыгоднымъ и опаснымъ для государства. Въ началѣ XIX столѣтія, въ русской литературѣ раболѣпно высказывалась идея сословнаго ограниченія умственныхъ правъ, при чемъ нѣкоторые писатели, даже либеральнаго направленія, отводили для низшихъ классовъ самую тѣсную долю научнаго знанія (стр. 82—83). Малая подготовленность народа къ восприятію идей цивилизаціи была также причиной того, что у насъ долго не могъ установиться (и до сихъ поръ еще не установился съ должною прочностью) истинный методъ научнаго изысканія. «Во всѣхъ сферахъ мышленія и знанія—говоритъ Кондорсè—познаніе метода, употребляемаго для изысканія истинъ, гораздо важнѣе познанія самихъ истинъ, такъ-какъ въ немъ заключается зародышъ всего того, что остается еще открыть». И на западѣ этотъ истинный методъ умственнаго изслѣдованія открытъ давно, впервые указанъ еще въ «Novum Organon» Бакона, въ «Discours sur la méthode» Декарта, и потомъ утвержденъ всей новой исторіей интеллектуальнаго развитія Европы. Но неразвитый умъ, вслѣдствіе вѣковаго преобладанія низшихъ интеллектуальныхъ способностей надъ высшими мыслительными силами, не могъ

додуматься до истинно-научнаго метода изслѣдованія и, такимъ образомъ, не могъ стать на настоящую дорогу умственнаго движенія и прогресса. Вмѣсто положительно-философскаго, индуктивнаго метода мышленія, во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ нашихъ, даже въ университетахъ, долгое время преобладалъ методъ дедуктивно-идеалистическій и даже мистико-фантастическій; вмѣсто развитія научнаго, раціональнаго знанія, университетское обученіе долгое время обременяло собой только память учащихся или дѣйствовало на ихъ воображеніе, отвлекая его отъ производительной научной почвы. Въ университетахъ господствовали науки археологическія, историко-филологическія, этико-юридическія, эстетическія, развивавшія больше память, воображеніе и произвольно-измѣнчивое метафизическое міросозерцаніе. Самыя естественныя науки излагались у насъ теоретически, идеально, безъ опытовъ и наблюденій, да притомъ нерѣдко съ сильной закваской отвлеченно-философскаго и даже мистическаго духа. Такъ, напримѣръ, въ московскомъ университетѣ и медико-хирургической академіи, анатомія и хирургія преподавались безъ операцій и разсѣченія труповъ, вдали отъ больныхъ и анатомическаго театра; профессоръ кіевскаго университета, Зеновичъ, въ теоретической части органической химіи, находилъ умѣстнымъ доказывать, что «мудрость, или знаніе прошедшаго, настоящаго и будущаго, происходитъ отъ дѣйствія одной души, инстинктъ—отъ дѣйствія одного органическаго духа (?), а умъ происходитъ отъ совокупнаго ихъ дѣйствія» и пр. Профессоръ анатоміи Өедоровъ «сквозь видимое небо созерцалъ небо невидимое, духовное»; профессоръ физики Абламовичъ, уже въ 1834 г., преподавалъ съ каөедры, по

выраженію г. Шульгина,—«больше разный сумбуръ болтовни и городскихъ сплетенъ, чѣмъ физику». Даже въ лучшемъ случаѣ, преподаваніе естественныхъ наукъ ограничивалось накопленіемъ «раритетовъ» и «натуралій» въ одну безобразную кучу, и поверхностными «обсерваціями», мало привлекавшими серьезную естественно-научную любознательность (стр. 205, 242—244). Въ самомъ обществѣ, независимо отъ правительственныхъ гоненій, возникали анти-реалистическія реакціи, объясняемыя только полнѣйшимъ отсутствіемъ того духа сомнѣнія, скептицизма, который всегда служитъ предшественникомъ истиннаго познанія. Такъ, напр., извѣстный Новиковъ, одинъ изъ лучшихъ русскихъ людей XVIII столѣтія, гораздо раньше самой Екатерины, вооружился противъ «умствованій вольномыслящихъ мудрецовъ» и, отрицая открытія Лавуазье, Коперника и Кеплера, думалъ воскресить «химическую псалтирь» Парацельса и всѣ средневѣковыя, астрологическія и алхимическія бредни. Пробужденіе скептицизма было у насъ, по словамъ г. Щапова, «злополучно-несчастливо» и сопровождалось патологическими умственными явленіями. Скептическое настроеніе зародилось у насъ еще въ XVIII столѣтіи, но было задавлено наплывомъ обскурантныхъ и реакціонныхъ идей — и притомъ задавлено почти безъ борьбы, такъ-какъ, само по себѣ, настроеніе это было до крайности слабо и, за небольшими исключеніями, ограничивалось однѣми кощунственными фразами, заимствованными у Вольтера. Въ 1815—16 годахъ, послѣ заграничной кампаніи, вслѣдствіе невольнаго сравненія невозмутимой и праздной русской жизни съ дѣятельной и шумной жизнью западныхъ обществъ, всколыхнутыхъ политическимъ движе-

ніемъ,—скептицизмъ снова возродился у насъ въ видѣ безпокойнаго разочарованія, которое не удовлетворялось ни тогдашнимъ строемъ общественной жизни, ни «либеральными принсипами» администраціи. Это вторичное скептическое движеніе было гораздо глубже перваго, нò и оно замыкалось, въ большинствѣ случаевъ, въ безплодную оппозицію, въ неопредѣленное онѣгинское отрицаніе, не сознававшее ясно сферы отрицанія и идеала. Были, конечно, въ ту пору люди, которые знали, чтò осуждали, и стремились къ твердообозначеннымъ цѣлямъ; но объ этихъ людяхъ г. Щаповъ, по причинамъ понятнымъ, умалчиваетъ. Холодный, резонирующій скептицизмъ Сенковскаго, имѣвшій своею подкладкою полнѣйшее равнодушіе ко всѣмъ теоріямъ и убѣжденіямъ на свѣтѣ; его безразличный, легкомысленный смѣхъ надъ всѣмъ, что попадалось ему подъ руку—строго осуждены г. Щаповымъ. «Публика россійская—говоритъ г. Щаповъ—какъ беззаботное дитя, не знавшее мукъ сомнѣнія и борьбы, предовольно надрывала свои животы отъ безразличныхъ смѣхотворныхъ остротъ брамбеусовскаго скептицизма и преспокойно, крѣпко засыпала... И спасенье русской мысли и литературѣ, что скоро явился Бѣлинскій и зажегъ въ ней дѣйствительную, жгучую искру истиннаго реально-критическаго скептицизма» (стр. 304—307). Предѣлы статьи не позволяютъ намъ приводить съ бòльшею подробностью интересныя наблюденія и выводы г. Щапова; но изъ нашего сжатаго очерка читатели видятъ уже, какъ богата содержаніемъ его книга, какихъ важныхъ историческихъ вопросовъ касается она, и съ какимъ искусствомъ группируетъ авторъ всѣ, наиболѣе выдающіяся, явленія нашей обществен-

ной и государственной жизни. Мы, не обинуясь, скажемъ, что въ новомъ трудѣ г. Щапова, иногда одною меткою страницей, цѣлые періоды русской исторіи объясняются удачнѣе, чѣмъ въ какомъ-нибудь спеціальномъ трактатѣ, преисполненномъ de fond en comble сухихъ фактовъ и безплодной учености. Но книга г. Щапова имѣетъ также и свои слабыя стороны, на которыя мы сейчасъ укажемъ безъ всякаго стѣсненія, чтобы не подвергнуться упреку въ пристрастіи и не поднять кредита ярыхъ нападокъ, посыпавшихся на автора изъ противоположнаго лагеря...

IV.

Прежде всего, что̀ бросается въ глаза даже при поверхностномъ чтеніи книги—это ея разбросанность, утомительныя длинноты и частыя повторенія, которыя, конечно, парализуютъ вниманіе читателя. Авторъ подчасъ словно забываетъ, что онъ уже говорилъ о такомъ-то вопросѣ, говорилъ подробно и доказательно, и снова возвращается къ нему почти въ тѣхъ же самыхъ выраженіяхъ и на цѣлыхъ страницахъ. Это происходитъ, повидимому, оттого, что книга составилась изъ соединенія разныхъ статей, напечатанныхъ г. Щаповымъ, впродолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, въ петербургскихъ журналахъ—статей, въ которыхъ говорилось нерѣдко объ однихъ и тѣхъ же предметахъ или, по крайней мѣрѣ, проводилась одна и та же руководящая мысль. Статьи эти слѣдовало бы внимательнѣе пересмотрѣть съизнова, сократить ненужныя повторенія, развить мало-

доказательные тезисы, и стройнѣе систематизировать въ одно цѣлое; но авторъ произвелъ эту работу только въ очень слабой степени, и потому не избѣгъ недостатка, указаннаго нами. Вмѣсто такой необходимой передѣлки, г. Щаповъ ограничился тѣмъ, что возстановилъ въ прежнихъ статьяхъ многія выпущенныя мѣста, добавилъ кое-гдѣ нѣсколько новыхъ страницъ (эти добавки, кажется, сдѣланы по преимуществу въ концѣ книги) и, чтобы спаять плотнѣе отдѣльныя части своей книги, придумалъ для нея искусственную схему, которая не вполнѣ удачно охватываетъ собой богатое содержаніе его труда. Оказывается, напримѣръ, что, благодаря схематическому построенію, одни и тѣ же факты приводятся г. Щаповымъ,—то какъ причины, производящія извѣстныя слѣдствія, то какъ слѣдствія, вытекающія изъ этихъ же самыхъ причинъ. Такимъ образомъ, въ началѣ книги, господство религіозной и государственной опеки объясняется, какъ результатъ отсутствія въ нашемъ народѣ самодѣятельности мышленія, организованнаго мыслящаго класса, а въ концѣ — то же отсутствіе мыслящаго класса является уже результатомъ продолжительнаго государственнаго и церковнаго тяготѣнія надъ умственной дѣятельностію въ Россіи. Магницкій является въ разныхъ мѣстахъ книги,—то какъ органъ правительственнаго давленія на умы, то какъ продуктъ общественной анти-натуралистической реакціи въ третьемъ послѣ-петровскомъ поколѣніи. Здѣсь уже кроется не одна схематическая ошибка, но, вмѣстѣ съ нею, и чисто-историческій промахъ. Личности въ родѣ Магницкаго не имѣютъ никакихъ собственныхъ, хотя бы и ложныхъ, убѣжденій; они всегда сторонники силы, и

служатъ съ одинаковымъ рвеніемъ Сперанскому, Голицыну, Фотію и Аракчееву, смотря по тому, куда клонится перевѣсъ, и кто можетъ лучше вознаградить усердное рвеніе. Невозможно разсматривать этихъ людей, какъ самостоятельныя мыслящія единицы: они могутъ быть не чѣмъ инымъ, какъ орудіемъ въ рукахъ господствующей силы; поэтому-то они всегда и прилаживались у насъ къ правительству, которое своими инструкціями и предписаніями замѣняло для нихъ и совѣсть, и личныя мнѣнія. Новиковъ, Нѣвзоровъ, Лабзинъ—вотъ дѣйствительно общественные дѣятели, выражавшіе собой цѣлую полосу въ направленіи русской мысли; но Магницкому нѣтъ мѣста въ ихъ компаніи, такъ-какъ для него въ сущности было все равно: кощунствовать ли въ свѣтскихъ обществахъ на французскій ладъ, или биться лбомъ въ душной молельнѣ,—лишь бы то и другое занятіе оплачивалось приличнымъ образомъ, получало достодолжное вознагражденіе.—Рядомъ съ длиннотами и повтореніями встрѣчаются у г. Щапова крупные пробѣлы и опущенія, которые тѣмъ замѣтнѣе, чѣмъ шире логическая посылка, выставляемая авторомъ. Такъ, въ ряду фактовъ, имѣвшихъ вліяніе на складъ и направленіе русской мысли, г. Щаповъ совсѣмъ не упоминаетъ о татарскомъ игѣ и послѣдствіяхъ, оставленныхъ имъ въ нашей жизни, хотя, безъ сомнѣнія, не отрицаетъ громадной важности двухсотлѣтняго гнёта завоевательной орды—гнета, пріучившаго Россію къ безусловной покорности, измѣнившаго глубоко и понятіе о власти, и отношеніе этой власти къ народу. Унизительныя прогулки князей къ ханской ставкѣ, звѣрское обращеніе ханскихъ баскаковъ съ подвластнымъ народомъ—

всѣ эти картины азіатскаго раболѣпія, безмолвія или жестокости не могли проходить, и дѣйствительно не прошли, безслѣдно для нравственнаго чувства покореннаго племени. Страхъ передъ силою, нимало не стѣснявшейся въ своихъ грубыхъ проявленіяхъ, заглушалъ чувство собственнаго достоинства и не давалъ развиваться ему. Это—нравственная, и притомъ отрицательная, сторона татарскаго вліянія, но была въ немъ и положительная политическая сторона. Татарское иго сдѣлало жизненнымъ и неотразимо важнымъ для насъ вопросъ объ усиленіи государственной власти, которая одна могла поставить оплотъ противъ варварскаго гнета; оно же указывало образецъ этой власти въ своихъ ханахъ и баскакахъ. Въ то же время развивалось значеніе духовенства, которое давало народу единственно-возможное утѣшеніе. Слова пророка Исаіи: «кто дастъ на расхищенье Іакова и на разграбленіе Израиля? не Богъ-ли? ему же согрѣшили, не хотѣли ходить въ путяхъ его, ни слушать закона его, и навелъ онъ на нихъ гнѣвъ своей ярости»—эти слова приводятся въ одномъ поученіи московскаго митрополита Алексѣя, какъ побѣдоносное доказательство неизбѣжности монгольскаго ига, ниспосланнаго на Россію свыше, чтобы наказать ее за прежніе грѣхи и затѣмъ вывести на путь благочестія. Тотъ же митрополитъ Алексѣй на вопросъ: всякій ли царь или князь, или епископъ отъ Бога поставляется? отвѣтствовалъ слѣдующимъ образомъ: «нѣкоторые изъ царей или князей поставляются достойными такой чести отъ Бога, а недостойные поставляются противъ недостоинства людей, по Божью попущенію и хотѣнію», въ доказательство чего приводятся два при-

мѣра—мучителя Ѳоки въ Царьградѣ и одного недостойнаго епископа Ѳиваиды. «Итакъ — заключаетъ митрополитъ — когда видишь недостойнаго, злаго царя и князя или епископа, не дивися, ни Божія промысла оглаголуй, но научися и вѣруй, что по беззаконью такимъ мучителямъ предаемся». (См. Творенія св. отцовъ, изд. моск. духов. академіи, годъ шестой, кн. I.) Двѣ эти силы—духовная и мірская—дружно соединившись для достиженія одной цѣли, безъ труда забрали въ свои руки всѣ умственныя и матеріальныя средства мало развитой и небогатой страны. Замѣтимъ, что и въ Западной Европѣ не вездѣ природа щедро вознаграждаетъ труды рабочаго населенія (весь скандинавскій полуостровъ не больше насъ надѣленъ естественными богатствами); вспомнимъ, что и тамъ были обстоятельства, способствовавшія усиленію государственной власти, ибо мыслящіе люди также сосредоточивались, долгое время, въ правительствѣ и духовномъ классѣ; но развитіе Запада пошло, однако, другимъ путемъ,—именно потому, что свѣтская и духовная власть не дѣйствовали тамъ заодно противъ общаго варварскаго давленія, и своей взаимной враждою, своимъ постояннымъ соперничествомъ, давали возможность установиться въ обществѣ различнымъ политическимъ партіямъ и умственнымъ направленіямъ. Вообще, надо замѣтить, авторъ слишкомъ рѣдко проводитъ параллель между русской и западно-европейской исторіей, а это умолчаніе оставляетъ неразъясненными многія важныя стороны разсматриваемаго предмета. Желательно было бы, чтобы авторъ не упустилъ этого изъ виду въ своемъ обширномъ изслѣдованіи объ «умственномъ развитіи русскаго на-

рода», часть котораго составляетъ разбираемая нами книга. Также точно, въ новой русской исторіи, г. Щаповъ очень мало говоритъ о педагогической реформѣ Бецкаго, тогда какъ, въ нашихъ глазахъ, эта реформа да еще изданіе «Наказа» составляютъ самые крупные и плодотворные факты за весь періодъ екатерининскаго царствованія. Авторъ даже ошибочно, въ одномъ мѣстѣ (стр. 27 — 28), считаетъ толки о «нравственности», возбужденные Бецкимъ, какъ бы продолженіемъ тѣхъ же толковъ, служившихъ въ древности признакомъ умственной апатіи и господства неподвижныхъ догматическихъ началъ. Но та нравственность, которую проповѣдовалъ Бецкій въ своихъ уставахъ, а Екатерина въ своихъ педагогическихъ сочиненіяхъ, и также въ инструкціи Н. И. Салтыкову,—не есть догматическая формула нашихъ древнихъ книжниковъ, и имѣетъ съ нею столь же мало общаго, какъ мало общаго у Монтаня, Локка и Руссо съ Максимомъ Грекомъ, Ниломъ Сорскимъ и философомъ Сковородою. «Добродѣтель—говорилъ Бецкій—есть не иное что, какъ полезныя и пріятныя дѣла, творимыя нами для себя самихъ и для ближняго»; лучшее средство научить такой добродѣтели, это—примѣръ самихъ воспитателей, имѣющихъ «мысли вольныя, нравъ къ раболѣпству непреклонный». Здѣсь, очевидно, нравственность поставлена, такъ-сказать, на общественную почву и отдѣлена отъ своей прежней теологической основы. Такое мнѣніе высказалъ впервые Шарронъ въ своей книгѣ: «De la sagesse», и его же развивали впослѣдствіи французскіе энциклопедисты. Нравственность, понимаемая такимъ образомъ, вела къ «практическому исполненію обязанностей жизни» (выраженіе Шаррона), къ полнѣйшей вѣро-

терпимости, къ признанію солидарности отдѣльной личности со всѣмъ человѣческимъ родомъ. Бецкій предписывалъ внушать своимъ питомцамъ, что «каждый особливо и мы всѣ вообще принимаемъ участіе въ злоключеніи, отъ котораго страждутъ ближніе наши сосѣди и единоземцы, не меньше же и въ томъ несчастіи, которому подвергаются чужія государства... Хотя не прямо подвергаемся мы симъ несчастіямъ, но въ послѣдующее время, по обстоятельствамъ, взаимно сопрягающимся, и мы принимаемъ участіе въ семъ раззореніи и ущербѣ». Впрочемъ, въ другихъ мѣстахъ своей книги, г. Щаповъ относится къ Бецкому, какъ къ одному изъ передовыхъ дѣятелей своего времени, и приведенную нами неправильную сопостановку понятій можно, пожалуй, считать за lapsus linguae. Гораздо сильнѣе возраженія должны мы сдѣлать по поводу преувеличеннаго восторга, которому предается г. Щаповъ, мечтая о повсемѣстномъ учрежденіи школъ, въ которыхъ обучали бы однѣмъ естественнымъ наукамъ — химіи, ботаникѣ, минералогіи — съ исключеніемъ всѣхъ другихъ отраслей человѣческаго знанія. Въ началѣ своей книги г. Щаповъ, говоря объ успѣхахъ естественныхъ наукъ, придавалъ (и совершенно справедливо) наибольшую важность тому индуктивному, экспериментальному методу, который свилъ себѣ прочное гнѣздо въ этой области, и отсюда устремляетъ свои набѣги во всѣ другія сферы человѣческаго познанія; но чѣмъ дальше, тѣмъ больше съуживаетъ авторъ этотъ правильный взглядъ. Въ началѣ своей книги онъ цитируетъ, какъ вполнѣ основательное, мнѣніе А. Гумбольдта, который говорилъ: «То, что придало эпохѣ Колумба особенный ха-

рактеръ,—характеръ непрерывнаго и успѣшнаго стремленія къ открытіямъ въ пространствѣ, къ умноженію познаній о землѣ, — было предуготовлено медленно и различными путями: какъ, напримѣръ, небольшимъ числомъ смѣлыхъ мужей,—прежде того появлявшихся и возбуждавшихъ, въ одно время, и къ всеобщей самодѣятельности мышленія, и къ изслѣдованію отдѣльныхъ явленій природы;—вліяніемъ, которое имѣло на глубочайшіе источники духовной жизни, возобновленное въ Италіи, знакомство съ произведеніями греческой литературы; изобрѣтеніемъ типографскаго искусства, давшимъ мышленію крылья и прочное существованіе и пр. Когда платонизмъ вытѣсненъ былъ аристотелевой философіей, то эта послѣдняя начала оказывать самое рѣшительное вліяніе на умственное движеніе и именно въ одно время по двумъ направленіямъ: въ изслѣдованіяхъ умозрительной философіи и въ философской обработкѣ эмпирическаго естествознанія. Первое изъ этихъ направленій уже потому не можетъ быть пройдено молчаніемъ, что оно, посреди схоластической діалектики, привело нѣсколько благородныхъ, высоко-одаренныхъ мужей къ независимому мышленію въ различныхъ областяхъ знанія. Величественное физическое міросозерцаніе нуждается не въ одномъ только обиліи наблюденій, служащихъ основаніемъ для обобщенія идей: для него еще необходимо предварительное укрѣпленіе разума, духа мыслящаго, дабы въ вѣчной борьбѣ между знаніемъ и вѣрованіемъ не страшиться грозныхъ образовъ, которые до настоящаго времени

являлись у входовъ въ извѣстныя области опытныхъ наукъ и заграждали эти входы. Не должно разрознивать того, что въ постепенномъ развитіи человѣчества равномѣрно оживляло и чувство человѣческаго призванія къ научной свободѣ, и долго неудовлетворяемое стремленіе къ открытіямъ въ отдаленныхъ пространствахъ». Отсюда ясно, что не одно естествознаніе, какъ сумма физическихъ наблюденій надъ природою, но и всѣ другія отрасли знанія, руководимыя «самодѣятельностью мышленія», при условіяхъ научной свободы и раціонально-философской обработки, способствуютъ въ равной мѣрѣ развитію человѣчества. Но г. Щаповъ какъ бы забываетъ впослѣдствіи эту справедливую мысль Гумбольдта и наконецъ увлекается до того, что считаетъ обязательнымъ для каждаго деревенскаго парня сдѣлаться ученымъ огородникомъ, зоологомъ, минералогомъ, механикомъ и проч. и проч. (стр. 320—321). Авторъ даже упрекаетъ археографа Калайдовича за то, что онъ посвятилъ свои труды не спеціальному естествознанію, но разработкѣ русской исторіи и археологіи (стр. 529), хотя черезъ нѣсколько страницъ самъ замѣчаетъ, что недостатокъ серьезной умственной пытливости и, вслѣдствіе того, погоня за мелочными фактами, курьезами и раритетами одинаково парализировали дѣятельность нашихъ ученыхъ какъ въ области соціальныхъ познаній, такъ и въ кругѣ естественныхъ наукъ. Слѣдовательно, если Калайдовичъ интересовался часто ненужными мелочами въ исторіи, то онъ перенесъ бы такое же точно умонастроеніе и въ естественныя науки; если же онъ, при всемъ томъ, принесъ пользу въ своей спеціальности, то и не зачѣмъ было ему избирать другой родъ занятій.

Вѣдь историческіе факты, собранные нашей, положимъ, небогатой и односторонней наукой, дали, однако, возможность г. Щапову написать свою книгу, а мы думаемъ, что появленіе этой книги не менѣе полезно, чѣмъ какой-нибудь новый курсъ геогнозіи или механики. Умственное развитіе достигается не однимъ изученіемъ матеріальной природы, не однимъ обращеніемъ съ микроскопомъ и ретортою; къ нему ведетъ не менѣе прочнымъ образомъ изученіе условій и законовъ индивидуально-психологической и общественной жизни — словомъ, того, что составляетъ предметъ психологическихъ, соціальныхъ наукъ. Недаромъ Контъ поставилъ соціологію, или науку о проявленіяхъ личности въ обществѣ, на верхней ступени человѣческаго познанія, такъ-какъ знаніе ея подразумѣваетъ собой знакомство съ низшими отраслями наукъ, но далеко не исчерпывается ими. Мы не споримъ, что современная философія, исторія, юриспруденція, психологія, эстетика не удовлетворяютъ требованіямъ точной, раціональной критики, но онѣ еще менѣе будутъ удовлетворять имъ, если мы. ихъ оставимъ окончательно въ забросѣ и ограничимъ нашу умственную дѣятельность одними огородами, фабриками и лабораторіями. Хорошіе садовники и минералоги, ни въ какомъ случаѣ, не замѣнятъ намъ людей съ хорошимъ знаніемъ и пониманіемъ общественной жизни. Скажемъ, наконецъ, что авторъ, придавая большое значеніе природѣ страны въ развитіи національнаго характера, почти вовсе не касается этого предмета въ своей книгѣ.

Мы хотѣли еще замѣтить о нѣкоторыхъ фактическихъ ошибкахъ или, точнѣе, недосмотрахъ г. Щапова, а также

о странной стилистической манерѣ его (въ которой особенно непріятно выдается охота громоздить множество эпитетовъ одинъ на другой); но остановились, прочтя рецензію нѣкоего Варѳоломея Кочнева въ «Русскомъ Вѣстникѣ». Всѣ эти промахи и словечки тщательно собраны здѣсь, разцвѣчены особаго сорта юморомъ, почерпнутымъ изъ покойнаго «Весельчака» или «Рододендрона», и преподнесены публикѣ въ видѣ «нигилистическаго букета», къ которому надлежитъ— понятно! — питать отвращеніе. Статейка эта доказываетъ неопровержимымъ образомъ... что г. Щаповъ, живя въ Иркутскѣ, не имѣетъ такого удобства, какъ г. Кочневъ, пользоваться справочными книжками императорской публичной библіотеки и румянцевскаго музея; но никакого другого вывода, болѣе лестнаго для г. Кочнева и его научныхъ познаній, изъ статейки сдѣлать невозможно. Г. Щаповъ, не роняя себя, можетъ воспользоваться нѣкоторыми фактическими указаніями «Русскаго Вѣстника», но азбучную философію онъ, всеконечно, оставитъ для домашняго употребленія редакціи. Мы понимаемъ озлобленіе «Русскаго Вѣстника»: какъ! вмѣсто ликеевъ и атенеевъ съ двумя древними языками, намъ нужно заводить «химическія и ботаническія школы»? Что жь станется съ ликеемъ, воздвигнутымъ недавно въ нашей первопрестольной столицѣ? Но ужь если пошло на выборъ крайностей, то мы, не задумываясь, предпочтемъ крайность, въ которую впадаетъ г. Щаповъ, ибо въ ней есть все-таки чутье настоящихъ жизненныхъ потребностей, а не бездушное, упрямое старовѣрство.

ИДЕЯ ГРАЖДАНСКАГО БРАКА ВЪ РУССКОМЪ РАСКОЛѢ.

(Историческій очеркъ раскольническаго ученія о бракѣ. (Семейная жизнь въ русскомъ расколѣ). Выпускъ I. (Отъ начала раскола до царствованія императора Николая I). Экстраординарнаго профессора С.-Петербургской Духовной Академіи И. Нильскаго С.-Петербургъ. 1869 г.).

I.

Въ числѣ народныхъ «бѣдъ», потрясавшихъ собой нашу тысячелѣтнюю, но небогатую внутреннимъ смысломъ историческую жизнь, не послѣднее мѣсто занимаетъ церковный расколъ, который, начавшись съ мелкихъ обрядностей, дошелъ, въ нѣкоторыхъ своихъ сектахъ, до выработки замѣчательныхъ взглядовъ на религіозные вопросы и общественныя отношенія. Исторія раскола тѣмъ именно и поучительна, что по ней можно прослѣдить, какъ созрѣвало и крѣпло, независимо отъ государственной опеки и часто даже наперекоръ ей, самостоятельное мышленіе русскаго народа. Какой, въ самомъ дѣлѣ, долгій путь скептическаго анализа надлежало пройти этому народу, чтобы отъ внѣшняго, формальнаго пониманія религіи, какъ оно обнаружилось въ спорахъ о двуперстномъ знаменіи, хожденіи посолонь и т. п.— прійти къ тому стойкому раціонализму, который явственно сказывается въ религіозномъ мышленіи духоборцевъ и молоканъ? Съ другой стороны, какая бездна безсмыслія и дикаго изувѣрства отдѣляетъ этихъ самыхъ молоканъ отъ хлыстовъ,

скопцовъ и т. п. фанатиковъ, тоже вышедшихъ изъ народа подъ вліяніемъ другихъ, тяжелыхъ условій русской жизни. Связать воедино всѣ эти, по виду, разрозненные факты, обнять мыслью и логическій путь, и ненормальныя отъ него уклоненія въ расколѣ — вотъ прямая обязанность писателей, которыхъ пытливый умъ не ограничивается въ исторіи одной ея археологическою или курьезной стороною. Надо сказать правду, что въ послѣднее время, благодаря сравнительно-льготнымъ условіямъ русской прессы, исторія раскола сдѣлалась болѣе доступна критической обработкѣ; но мы все-таки далеко не можемъ утверждать, чтобы въ нашей литературѣ выяснились окончательно даже крупнѣйшіе фазисы религіознаго разномыслія на Руси. Объ иныхъ вопросахъ не говорится совсѣмъ, о другихъ говорится — но двусмысленно и уклончиво: цѣльнаго взгляда на расколъ еще не высказано нигдѣ, хотя матеріаловъ для него накопилось уже достаточно. Изслѣдованіе г. Нильскаго, лежащее передъ нами, даже не обогащаетъ литературы раскола никакими новыми идеями; но вопросъ, взятый имъ, такъ интересенъ самъ по себѣ, что даже въ сухомъ изложеніи, преисполненномъ длинныхъ, неудобочитаемыхъ цитатъ, онъ можетъ расшевелить любознательность читателя. Какъ сложилась семейная жизнь въ русскомъ расколѣ? Какія формы выработала она для себя, оторвавшись отъ традиціонной почвы?—вопрошаетъ г. Нильскій, и отвѣчаетъ на это пространнымъ трактатомъ, въ которомъ факты говорятъ гораздо краснорѣчивѣе авторскихъ размышленій. Мы воспользуемся прежде этими фактами, а потомъ скажемъ нѣсколько словъ объ отношеніи автора къ своему предмету.

Извѣстно, что на первыхъ порахъ лица, возставшія противъ церковныхъ преобразованій Никона и получившія, по соборному постановленію 1666—7 года, названіе раскольниковъ, не имѣли въ виду устроить свою религіозную жизнь на какихъ нибудь новыхъ началахъ, но хотѣли только спасти «древлее благочестіе», удерживая безъ малѣйшей перемѣны ту церковную практику, которую признавали, какъ правильную, предшественники Никона. Къ этому мы прибавимъ съ своей стороны, что раскольники смотрѣли на дѣло совершенно такъ же, какъ какой нибудь крутицкій митрополитъ Іона (и даже самъ патріархъ Филаретъ) въ царствованіе Михаила Ѳедоровича, во время исправленія «Потребника». Ученыхъ справщиковъ этой книги, по приказанію Іоны, потребовали къ отвѣту, обвиняли въ еретичествѣ и засадили въ тюрьму единственно за то, что они вычеркнули изъ «Потребника» ненужную поправку: и огнемъ въ молитвѣ водоосвященія: «пріиди, Господи, и освяти воду сію Духомъ твоимъ и огнемъ». Отсюда возникли противъ нихъ обвиненія, что они — «Духа святого не исповѣдаютъ, яко огнь есть». За это одного изъ справщиковъ, а именно архимандрита Діонисія, отказавшагося дать взятку въ 500 р., душили «дымомъ на палатяхъ», морили голодомъ и выводили въ кандалахъ на площадь, гдѣ народъ забрасывалъ его грязью, какъ еретика. Страданія мнимыхъ еретиковъ продолжались цѣлый годъ и кончились, только благодаря вмѣшательству іерусалимскаго патріарха Ѳеофана, который, прибывъ въ Москву для сбора милостыни, не безъ труда убѣдилъ Филарета, уже патріарха, въ ненужности прибавки: «и огнемъ». (См. «Русскіе исповѣдники просвѣщенія», статья

г. Соловьева, «Рус. Вѣстн.» 1857 г. № 17). Такое невѣжественное упорство въ сохраненіи буквы священнаго писанія,— и притомъ буквы, искаженной переписчиками,—объясняется очень просто повальной безграмотностью и непроходимою тупостью, господствовавшей въ до-петровское время. Митрополитъ газскій, Паисій Лигаридъ, занимавшійся, по порученію Алексѣя Михайловича, опроверженіемъ «Челобитной» соловецкаго монастыря (между русскими іерархами не нашлось человѣка, способнаго на такой трудъ), не даромъ говорилъ, что все это «наводненіе ересей истекало и возрастало на общую пагубу отъ лишенія и неимѣнія народныхъ учителей». Понятно, что, коренясь въ слѣпой приверженности къ старинѣ, расколъ, и въ ученьѣ о бракѣ, не отходилъ сначала слишкомъ далеко отъ мнѣній и обычаевъ, принятыхъ въ господствующей церкви. Вся разница состояла въ томъ, что, по мнѣнію раскольниковъ, слѣдовало употреблять при обрядѣ вѣнчанія не новыя, а старопечатныя книги и благословлять брачущихся двуперстнымъ знаменіемъ. Такъ шло дѣло до тѣхъ поръ, покуда живы были «истинные іереи», т.-е. рукоположенные до Никона, у которыхъ раскольники могли вѣнчаться, не нарушая старыхъ церковныхъ правилъ. Но положеніе это должно было измѣниться, когда правительство рѣшилось твердо преслѣдовать расколъ, а число священниковъ, вѣрныхъ преданію, стало быстро убывать какъ по причинѣ естественной смерти, такъ и вслѣдствіе гоненій, воздвигнутыхъ на нихъ духовной и свѣтской властями. Тогда появились новые, роковые вопросы: откуда достать священниковъ, поставленныхъ по «древнему чину», и можно ли вѣнчаться въ «еретическихъ» церквахъ по ис-

правленнымъ книгамъ и съ нарушеніемъ прежнихъ обрядовъ? Между духовенствомъ, возставшимъ противъ церковныхъ распоряженій Никона, былъ только одинъ епископъ, Павелъ Коломенскій, который могъ, нѣкоторое время, пополнять законнымъ образомъ раскольничью іерархію; но и онъ умеръ въ самомъ началѣ раскола; слѣдовательно, сторонникамъ древняго благочестія, рано или поздно, угрожала опасность остаться совсѣмъ безъ священниковъ и безъ церковныхъ таинствъ. Это предвидѣли раскольники и однажды спросили самого Павла Коломенскаго: какъ имъ быть въ случаѣ прекращенія правильной іерархіи? Отвѣтъ Павла передается различно раскольниками, смотря по сектѣ, къ которой принадлежатъ они. Такъ, поповцы, въ оправданіе своего обычая принимать бѣглыхъ поповъ, совершая надъ ними мѵропомазаніе, утверждаютъ, что Павелъ Коломенскій указалъ именно на это средство для сохраненія благодати за «новорукоположенными» священниками; безпоповцы же, отвергающіе церковную іерархію по причинѣ «оскудѣнія священной руки», говорятъ, что коломенскій архіерей запретилъ своимъ послѣдователямъ всякое общеніе съ православною церковью и заповѣдалъ совершать нѣкоторыя таинства, какъ напр., крещеніе и покаяніе, самимъ міряпамъ. На сторонѣ безпоповцевъ стоитъ и такой авторитетъ, какъ знаменитый протопопъ Аввакумъ, который внушалъ раскольникамъ непримиримую ненависть къ новопоставленному духовенству. «А съ водою какъ онъ (т.-е. никоніанскій священникъ) пріидетъ въ домъ твой — писалъ раздраженный протопопъ къ своимъ духовнымъ чадамъ — а въ дому бывъ, водою намочитъ, и ты послѣ его вымети

метлою, а робятамъ вели по запечью отъ него спрятаться, а самъ съ женою ходи тутъ и виномъ его пой, а самъ говори: «прости, бачка, нечисты.... и не окачивались, недостойны къ кресту». Онъ кропитъ, а ты рожу-то въ уголъ вороти, или въ мошну въ тѣ поры полѣзай да деньги ему добывай. А жена за домашними дѣлами поди да говори ему, раба Христова: «бачка, какой ты человѣкъ! аль по своей попадьѣ не разумѣешь? не время мнѣ!» Да какъ нибудь отживите его. А хотя и омочитъ водою тою, душа бы твоя не хотѣла». Вслѣдствіе этой ненависти къ новой церковной іерархіи, доходившей до комическаго «отворачиванья рожи» отъ православнаго священника, значительная часть въ расколѣ отказалась совсѣмъ отъ совершенія таинствъ, допуская только тѣ изъ нихъ, которыя, по завѣту Павла Коломенскаго, могли поддерживаться и мірскими людьми. Затѣмъ безпоповщинскій расколъ, оторвавшись отъ всякой традиціонной связи съ господствующей церковью, пошелъ своей особой дорогою, и въ немъ образовалось скоро новое разномысліе относительно брака, о которомъ раскольники не могли почерпнуть изъ преданія никакого категорическаго рѣшенія. До этого рѣшенія имъ приходилось добираться самимъ, посредствомъ разныхъ доводовъ и соображеній, которые, конечно, измѣнялись, смотря по развитію личности, бравшейся за самостоятельную разработку спорнаго вопроса. Здѣсь-то и обнаружилась та внутренняя, органическая сила, о присутствіи которой въ расколѣ наша публика имѣетъ еще, до сихъ поръ, весьма слабое понятіе. Въ первое время по образованіи раскола, идея безбрачія, вслѣдствіе не-
и «правильнаго» совершенія брачнаго таинства, по-

лучила, повидимому, господство въ массѣ раскольниковъ, чему способствовали многія обстоятельства, изъ которыхъ одно—именно вражда къ господствующей церковной іерархіи—уже упомянуто нами. Эта вражда вызвала у протопопа Аввакума прямое запрещеніе раскольникамъ—вѣнчаться въ православныхъ церквахъ: «Аще вѣнчаеми бываютъ у нихъ, то не браки, а прелюбодѣющіи; аще ли имутъ истинныхъ іереевъ, да вѣнчаются снова. Аще кто не имать іереевъ да живетъ просто». Эту послѣднюю фразу: «да живетъ просто» нужно, по всей вѣроятности, понимать, какъ требованіе безбрачной жизни, потому что самъ Аввакумъ былъ усерднымъ ея защитникомъ и часто «унималъ другихъ отъ блуда»; но справедливо также и мнѣніе г. Щапова (противъ котораго полемизируетъ однако г. Нильскій), что эта фраза, растолкованная въ извѣстномъ смыслѣ, пришлась какъ нельзя болѣе кстати для распущенности нравовъ, составлявшей типическую черту въ тогдашнемъ русскомъ обществѣ. Едва ли возможно сомнѣваться, что широкое удовлетвореніе половыхъ страстей, которое такъ прилично и удобно прикрывалось обѣтомъ вынужденнаго безбрачія, было не послѣднею причиной того, что пропаганда брака, въ видѣ гражданскаго сожитія мужа съ одною женою, находила сильный отпоръ въ раскольничьей средѣ. Подобное стѣсненіе, конечно, не нравилось тѣмъ благочестивымъ людямъ, которые скоро привыкли къ тому, чтобы ихъ духовныя сестры приносили имъ (говоря раскольничьимъ языкомъ) «пустынные плоды своего чрева»; уклоняясь отъ брака подъ благовиднымъ предлогомъ, они сохраняли за собой право имѣть сколько угодно «стряпухъ» и «посестрій»; но лицемѣрный

декорумъ былъ при этомъ соблюденъ, и имъ оставалось только искусно прятать концы своихъ любовныхъ связей. Впрочемъ, нѣкоторыя секты (какъ напр. стефановщина) мало обращали вниманія даже на соблюденіе этого декорума, и—по словамъ, приводимымъ у самого г. Нильскаго—ихъ наставники частенько жили «въ кельяхъ на уединеніи съ зазорными лицы и съ духовными дочерьми». И такое явленіе нисколько не удивительно: формальное благочестіе древней Руси, передъ которымъ такъ умиляются наши любители старины, ничего другаго и не могло скрывать подъ собою, кромѣ животной разнузданности, плохо замаскированной лицемѣрными обрядами. Извѣстенъ напр. обычай нашихъ предковъ занавѣшивать образа въ комнатѣ, приготовляясь къ нѣкоторому грѣховному дѣлу... Лики угодниковъ не видѣли грѣха, и совѣсть грѣшника была успокоена. Счастливыя исключенія, разумѣется, встрѣчались всегда, но они не измѣняли общаго характера нашего религіознаго благочестія, крайне узкаго, односторонняго, поглощеннаго одною внѣшностью и обрядностью. Кромѣ того, на помощь нравственной распущенности, пришли и другія обстоятельства, которыхъ также не слѣдуетъ терять изъ виду. Первое изъ нихъ заключалось въ томъ, что, по общему мнѣнію раскольниковъ, вслѣдъ за упадкомъ древней вѣры, настанетъ въ кратчайшій срокъ царство антихриста; слѣдовательно истиннымъ христіанамъ нечего было и хлопотать о женѣ и дѣтяхъ. Тотъ же Аввакумъ, много подвизавшійся по части распространенія раскола, удостоился первый видѣть народившагося антихриста. «Я, братія мои,—сообщаетъ онъ въ одномъ изъ своихъ посланій—видѣлъ антихриста, собаку бѣшеную право видѣлъ.

Плоть у него вся смрадъ и зѣло дурна, огнемъ пышетъ изо рта, а изъ ноздрей и изъ ушей пламя смрадное исходитъ». А въ 1669 г., по всему пространству необъятной Россіи, раскольники, бросивъ всѣ свои обычныя занятія, бѣгутъ цѣлыми семействами изъ домовъ въ лѣса и пустыни, и тамъ, собравшись толпами, постятся, молятся, приносятъ другъ другу покаяніе въ грѣхахъ, пріобщаются старинными дарами и, надѣвъ чистыя рубахи и саваны, ложатся въ заранѣе приготовленные гробы. Изъ этихъ гробовъ, въ ожиданіи трубы архангела, раздается заунывный напѣвъ:

Древянъ гробъ сосновый
Ради меня строенъ;
Въ немъ буду лежати,
Трубна гласа ждати.
Ангелы вострубятъ,
Изъ гробовъ возбудятъ.
Я хотя и грѣшенъ,
Пойду къ Богу нà судъ и пр. и пр.

На сей разъ ангелы однако не вострубили, и пришествіе антихриста откладывалось потомъ на различные сроки. Такъ, напримѣръ, его ожидали въ 1691 г., затѣмъ въ 1699 году, наконецъ, въ 1702 г. Этотъ послѣдній срокъ, среди начавшихся реформъ Петра Великаго, казавшихся большинству неправославными, антихристіанскими, представлялся до того вѣроятнымъ, что мысль о наступленіи царства антихристова въ началѣ XVIII-го вѣка сдѣлалась достояніемъ нетолько раскольниковъ, но и многихъ изъ православныхъ, и проповѣдь Талицкаго, возвѣщавшаго близкое разрушеніе міра, выслушивалась, съ одинаковымъ страхомъ, какъ самимъ народомъ, такъ и высшими лицами изъ духовенства и бояръ. Вслѣдствіе этого безпоповщинскіе учителя, какъ

это видно изъ ихъ сочиненій, требуя отъ своихъ послѣдователей безбрачной жизни, никогда не упускали случая, для бо́льшей убѣдительности своихъ словъ, указывать на скорое появленіе антихриста, какъ на неизбѣжное событіе, которое дѣлаетъ излишними долговременныя житейскія связи. Второе обстоятельство, также повліявшее на отрицаніе брака, по крайней мѣрѣ, въ извѣстный періодъ времени, кроется въ тѣхъ звѣрскихъ гоненіяхъ, которыя подняты были на раскольниковъ, начиная съ 1684 г., ихъ прежней покровительницей, Софьей Алексѣевной. Внезапно, въ этомъ году, появилось противъ раскола постановленіе, узаконявшее пытки и «огненную смерть» для тѣхъ, кто «не принесетъ покоренія св. церкви», сулившее жестокое наказаніе тѣмъ изъ православныхъ, которые скрывали у себя раскольниковъ и не доносили объ нихъ, осуждавшее «на смерть безъ всякаго милосердія» раскольничьихъ перекрещивателей, хотя бы они раскаявались и «св. таинъ причаститися желали истинно», подвергавшее кнуту всѣхъ перекрещивавшихся у раскольниковъ, даже и въ томъ случаѣ, если они «учнутъ винитися безъ всякія противности», и наконецъ отсылавшее подъ кнутъ даже тѣхъ раскольниковъ, которые «отъ неразумѣнія или въ малыхъ лѣтахъ, стояли въ упрямствѣ въ новоисправленныхъ книгахъ» и пр. и пр. Вслѣдъ затѣмъ начались военныя экзекуціи, которыя распространили еще бо́льшій ужасъ въ раскольничьемъ населеніи. «Лютое нападеніе,—по выраженію раскольниковъ,—суровое свирѣпство, звѣриная наглость» храбрыхъ воиновъ, посылаемыхъ для этой междоусобной рѣзни, наводили панику на цѣлыя области и заставляли подумать о средствахъ избавиться отъ

мученій. Менѣе фанатическіе ревнители старой вѣры спасались бѣгствомъ въ сосѣднія страны — въ Польшу, Швецію, Турцію, Пруссію и на Кавказъ. При этомъ поголовномъ бѣгствѣ положено было основаніе знаменитой слободѣ Вѣткѣ на землѣ пана Халецкаго, и «мнози течаху въ оная прославляемая мѣста». Яростные же фанатики, предвидя «нашествіе мучителей и ихъ наѣздъ съ оружіемъ и съ пушками», сжигали себя сами, цѣлыми массами, для полученія царствія небеснаго. Въ 1687 г. раскольники, въ числѣ 2,700 человѣкъ, сожглись въ Палеостровскомъ монастырѣ; въ томъ же монастырѣ въ 1689 г. сгорѣло до 500 раскольниковъ. Въ 1693 г., въ одной деревнѣ Новгородской губерніи, сожглось до 800 раскольниковъ, а въ 1709 г., по донесенію іеремонаха Игнатія св. Дмитрію Ростовскому, въ одномъ его приходѣ — «сожглося душъ обоего пола и всякаго возраста 1,920, кромѣ иныхъ окрестныхъ селъ и деревень, въ коихъ безчисленное множество народа пожглося», такъ что «наполняшеся воздухъ, отъ труповъ сгарающихъ, смрадной вони на многи дни». Св. Дмитрій Ростовскій, какъ извѣстно, неослабно наблюдалъ за раскольниками... Вообще, вслѣдствіе узаконенія 1684 г., у насъ погибла не одна тысяча народа. Въ такое суровое время народу некогда было думать объ утѣхахъ семейной жизни, и вопросъ о бракѣ, естественно, устранялся на задній планъ. Даже поповщинская секта, — рѣшившаяся принимать къ себѣ бѣглыхъ поповъ «новаго поставленія», при помощи которыхъ можно было бы безпрепятственно совершать браки, — даже и она воздерживалась, въ это время, отъ семейной жизни предъ ежеминутной грозою смертной казни или мучительныхъ пытокъ.

II.

Но поголовныя избіенія раскольниковъ—собственно за ихъ религіозное несогласіе—прекратились со вступленіемъ на престолъ Петра I. Суровый указъ 1684 г. продолжалъ еще существовать въ качествѣ неотмѣненнаго закона, но практическое приложеніе его, съ самаго начала царствованія Петра, сдѣлалось мягче, снисходительнѣе, хотя раскольники являлись, въ большинствѣ случаевъ, личными врагами молодаго царя. Правда, и при Петрѣ, въ первые же годы, было немало случаевъ преслѣдованія раскольниковъ; но эти преслѣдованія были больше дѣломъ личнаго усердія второстепенныхъ властей (какъ, напримѣръ, Питерима, прозваннаго Петромъ въ шутку «равноапостольнымъ»), нежели слѣдствіемъ внушеній самого государя. Терпимость и даже индифферентизмъ Петра къ конфессіональнымъ распрямъ достаточно извѣстны изъ исторіи, и отсюда безошибочно опредѣляется его отношеніе къ расколу, какъ къ религіозному толку. Насмѣшливый реформаторъ и раціоналистъ, устраивавшій публичныя пародіи на муфтіевъ и патріарховъ, подъ именемъ «всешутѣйшаго собора», не могъ враждовать серьезно съ двуперстнымъ знаменіемъ и хожденіемъ пôсолонь. Больше не нравились ему борода и стариннаго покроя платье, какъ вывѣски грубаго суевѣрія и невѣжества—и за нихъ раскольники должны были расплачиваться особымъ штрафомъ. Въ 1702 г. Петръ

всенародно объявлялъ, что онъ «совѣсти человѣческой приневоливать не желаетъ и охотно предоставляетъ каждому христіанину, на его отвѣтственность, пещись о блаженствѣ души своей», и обѣщалъ при этомъ «крѣпко смотрѣть, чтобы никто, какъ въ своемъ публичномъ, такъ и въ частномъ отправленіи богослуженія, обезпокоенъ не былъ». Въ томъ же году случилось Петру переходить изъ Архангельска въ Повѣнецъ черезъ извѣстную рѣку Выгъ (по имени которой названа безпоповщинская Выговская пустыня), и ему было доложено, что на этой рѣкѣ живутъ раскольники. «Пускай живутъ!—отвѣчалъ онъ по свидѣтельству историка Выговской пустыни—и поѣхалъ смирно, яко отецъ отечества благоутробнѣйшій». Вскорѣ послѣ этого (въ 1705 г.) Петръ, чрезъ своего любимца Меншикова, входитъ даже въ прямыя сношенія съ обитателями «пустыни»—бывшей главнымъ притономъ тогдашней безпоповщины—и, въ награду за согласіе ихъ работать на повѣнецкихъ заводахъ, даетъ имъ указомъ право на открытое, свободное отправленіе богослуженія по старопечатнымъ книгамъ. Поручая въ 1706 г. Питериму заняться обращеніемъ раскольниковъ въ Нижегородской губерніи, Петръ внушалъ ему: «съ противниками церкви съ кротостію и разумомъ поступать, по апостолу: быхъ беззаконнымъ, яко беззаконенъ, да беззаконныхъ пріобрящу, быхъ всѣмъ вся да всяко нѣкіе спасу—а не такъ, какъ нынѣ, жестокими словами и отчужденіемъ». Въ 1708 г., когда Карлъ XII вступилъ въ Малороссію и достигъ стародубскаго края, нѣкоторые изъ стародубскихъ раскольниковъ напали на непріятеля, нѣсколько сотенъ побили, а живыхъ привели плѣнниками къ государю, бывшему

тогда въ Стародубѣ. За такой патріотизмъ Петръ тогда же приказалъ переписать всѣхъ стародубскихъ раскольниковъ и утвердилъ ихъ лично за собою «съ тѣмъ, чтобъ впредь оными никто не могъ владѣть». Въ 1714 г. Петръ торжественно даруетъ раскольникамъ право, наравнѣ со всѣми другими подданными, жить въ селеніяхъ и городахъ «безо всякаго сомнѣнія и страха», лишь бы только они объявляли о себѣ въ приказѣ церковныхъ дѣлъ и записывались въ платежъ двойнаго оклада. Дальше, указами 1719, 1720 и 1722 годовъ, позволено было раскольникамъ не ходить на исповѣдь, вѣнчаться не у церкви, носить бороду и платье стараго покроя, съ условіемъ только платить за всѣ эти льготы опредѣленную денежную пеню. Всѣми этими мѣрами Петръ показалъ, что, не видя серьезной опасности въ религіозномъ «пререканіи» раскольниковъ съ государственной церковью, онъ подводитъ его подъ разрядъ обыкновенныхъ полицейскихъ провинностей, за которыя достаточно брать, въ видѣ штрафа, усиленный подушный окладъ. Штрафъ же этотъ обращался на заведеніе флота, на прорытіе каналовъ, на устройство школъ и тому подобныя потребности реформы. Только въ самомъ концѣ своего царствованія, убѣдившись изъ дѣла царевича Алексѣя и многихъ другихъ частныхъ случаевъ, что раскольники ведутъ подкопъ—не противъ одной лишь церковной обрядности, но и противъ всѣхъ европейскихъ нововведеній, Петръ причислилъ раскольничьи дѣла «къ злодѣйственнымъ» и снова обратился, хотя далеко не съ прежней жестокостью—къ тому уголовному арсеналу, который былъ у него подъ руками. Лично раздраженный и лично ненавидимый раскольниками, спасая отъ разрушенія свое

любимое дѣло, Петръ забылъ уже тутъ свою прежнюю умѣренность и просвѣщенные взгляды на расколъ. Тѣмъ не менѣе, раскольники, въ царствованіе Петра, чувствовали себя гораздо спокойнѣе и безопаснѣе, чѣмъ прежде, а главный пріютъ безпоповщины — Выговская пустыня, гдѣ умный и хитрый настоятель Андрей Денисовъ успѣлъ убѣдить своихъ единовѣрцевъ въ возможности соединенія истиннаго христіанства съ подданствомъ Петру,—разбогатѣлъ до такой степени, что обитатели его, нѣкогда сами терпѣвшіе голодъ, нашли возможнымъ помогать изъ своихъ средствъ не только раскольникамъ, бывшимъ въ зависимости отъ монастыря, но и постороннимъ лицамъ, разумѣется, съ тайною цѣлью привлечь ихъ въ свои ряды. Фанатизмъ Выговскихъ скитовъ, выражавшійся прежде въ открытой враждѣ къ власти и въ покушеніяхъ къ самосожигательству, сталъ теперь, мало-по-малу, слабѣть, а вслѣдъ затѣмъ началъ колебаться и ихъ прежній аскетизмъ. Проповѣдники суроваго житія, проводившіе прежде сами строгую жизнь,—теперь, среди всеобщаго изобилія и довольства, стали позволять себѣ такія утѣхи въ жизни, которыя ясно показывали, что ревнители иноческаго подвижничества далеко не прочь и отъ наслажденія благами міра сего. «Пустынные плоды чрева инокинь» приносились все чаще и чаще, и самъ Андрей Денисовъ, доказывавшій необходимость безбрачной жизни, началъ снисходительнѣе смотрѣть на брачное сожитіе раскольниковъ, видя въ немъ средство избавиться отъ перемѣннаго разврата. Если прибавить къ этому, что ученіе о близкой кончинѣ міра, также служившее препятствіемъ къ брачнымъ союзамъ, хотя и продолжало существовать въ Выгов-

скомъ скиту, но уже только въ одной теоріи, и плохо мирясь съ спокойнымъ, обезпеченнымъ положеніемъ раскольниковъ, — то мы легко поймемъ, что удовольствія правильно-организованной семейной жизни снова стали рисоваться въ воображеніи людей, отдохнувшихъ отъ преслѣдованій. Къ тому же, въ ихъ средѣ уже перевелись тѣ выходцы изъ разныхъ монастырей, которые хотѣли весь раскольническій міръ превратить въ одну громадную монастырскую общину. Тогда-то и обнаружилось въ безпоповщинскомъ расколѣ сильное движеніе въ пользу брака, которое повело сначала къ литературной полемикѣ, а потомъ и къ распаденію самаго раскола на двѣ враждебныя партіи. Первымъ раскольникомъ, признавшимъ, что бракъ, заключенный въ православной церкви, слѣдуетъ считать законнымъ и не расторгать,—былъ Ѳеодосій Васильевъ, который вздумалъ, въ концѣ XVII вѣка, основать отдѣльное раскольническое общество, съ тѣмъ, чтобы самому стать во главѣ его. Съ этою цѣлью Ѳеодосій оставилъ Новгородъ, убѣжалъ со всею семьею въ Польшу и здѣсь положилъ основаніе особому раскольническому толку, получившему, по его имени, названіе ѳедосѣевщины. Своимъ ученіемъ о бракѣ Ѳеодосій сталъ въ противорѣчіе съ своими прежними единомышленниками—поморцами, и это дало поводъ къ спорамъ между ними, окончившимся не въ пользу брака. Ѳеодосій, какъ видно, слишкомъ слабо мотивировалъ свое уклоненіе отъ прежнихъ взглядовъ, и потому, хотя онъ самъ устоялъ до конца жизни въ своемъ противорѣчіи, но послѣдователи его, замѣтивъ недостаточность его доказательствъ, признали нужнымъ, вскорѣ послѣ его смерти, разводить всѣхъ повѣнчанныхъ до перехода въ расколъ — «на чистое житіе». Го-

раздо стойче и рѣшительнѣе была поддержка, оказанная браку Иваномъ Алексѣевымъ—однимъ изъ стародубскихъ раскольниковъ, попавшимъ въ упомянутую нами перепись при Петрѣ. Это былъ весьма умный и энергическій человѣкъ, очень начитанный и наблюдательный, не закрывавшій глазъ на недостатки своего общества. Наставниковъ ѳедосѣевскихъ онъ безъ церемоніи сравнивалъ за ихъ невѣжество и умственную слѣпоту, съ «нѣкими нетопырями темными, кои зрящихъ истинно досаждаютъ», и открыто нападалъ на тотъ безшабашный развратъ, которому предавались эти наставники, прикрытые благовидной ширмой иноческаго житія. Долго думая надъ вопросами о бракѣ, Алексѣевъ пришелъ къ тому заключенію, что вынужденное безбрачіе безпоповцевъ имѣло нѣкогда историческое оправданіе—въ отсутствіи правильнаго священства и въ строгомъ аскетизмѣ первоначальныхъ безпоповцевъ, жившихъ, по стеченію неблагопріятныхъ обстоятельствъ, въ лѣсахъ и пустыняхъ;—но что теперь второе изъ этихъ условій замѣнилось полнѣйшей физической разнузданностью, а о чистотѣ нравовъ нѣтъ и помину. Что же касается до перваго условія, которое Алексѣевъ, какъ вѣрный раскольникъ, обязывался признавать съ прежней рѣзкостью, — то онъ постарался обойти его совсѣмъ въ этомъ вопросѣ, доказывая, что священникъ есть только простой свидѣтель при совершеніи брака и что самый бракъ есть тайна, но не въ смыслѣ таинства, какъ понимаетъ его православная церковь—таинства, въ которомъ чрезъ пресвитерское вѣнчаніе и благословеніе сообщается брачущимся особенная благодать св. Духа,—а въ смыслѣ таинственнаго значенія супружеской любви, какъ образа любви Христа

къ церкви. Продолжая развивать свой взглядъ на бракъ, Алексѣевъ говорилъ, что бракъ установленъ самимъ Богомъ еще при созданіи первыхъ людей, что основаніемъ его служитъ благословеніе, данное Богомъ Адаму и Евѣ, а чрезъ нихъ и всѣмъ ихъ потомкамъ, и что поэтому, для заключенія брака, не требуется особенная благодать, исходящая отъ іерея, но должны быть соблюдены только слѣдующія три правила: вопервыхъ, согласіе вѣнчающихся на бракъ, при взаимной любви; вовторыхъ, «общенародное» выраженіе этого согласія передъ свидѣтелями (къ числу которыхъ принадлежитъ и священникъ); наконецъ, втретьихъ — согласіе родителей, необходимое для того, чтобы выразить въ немъ законную родительскую власть надъ дѣтьми, и также, чтобъ не допустить въ бракѣ какихъ либо злоупотребленій, напримѣръ, близкаго родства, дурнаго выбора жениха или невѣсты и пр. Но что̀ же послѣ этого значитъ церковное вѣнчаніе брака, принятое во всѣхъ христіанскихъ церквахъ? Это, по словамъ Алексѣева, не больше, какъ «общенародный христіанскій обычай», неимѣющій прямаго отношенія къ существу брака; введено же церковью вѣнчаніе для того, чтобы имъ отличить законное сопряженіе брачущихся лицъ отъ блуднаго сожитія, въ соотвѣтствіе «нѣкоему чину», употреблявшемуся при заключеніи браковъ еще въ ветхомъ завѣтѣ между іудеями, и «общенародному обычаю», существовавшему въ древности въ разныхъ формахъ и существующему донынѣ между язычниками. Отсюда Алексѣевъ дѣлаетъ выводъ, что, при неимѣніи православнаго священства, можно вѣнчаться и въ церкви еретической. Христіанскій общенародный обычай чрезъ это будетъ соблюденъ, а благодать, необходимая

для брака, которой еретики не имѣютъ, зависитъ не отъ вѣнчанія, а отъ первоначальнаго Божія благословенія. «Очевидно—присовокупляетъ г. Нильскій—что Алексѣевъ смотритъ на бракъ съ естественной, а не съ христіанской точки зрѣнія, и разумѣетъ собственно бракъ, такъ-называемый, гражданскій» (стр. 122). Для подкрѣпленія этого гражданскаго брака, Алексѣевъ заимствовалъ свои аргументы и изъ большаго катихизиса, и изъ Кормчей книги, и изъ церковной исторіи, причемъ выказалъ замѣчательную богословскую эрудицію и ловкую діалектику, съ которой не всегда удачно борется г. экстраординарный профессоръ духовной академіи. Прежде всего Алексѣевъ выбралъ изъ большаго катихизиса и изъ Кормчей книги такія опредѣленія брака, въ которыхъ—по словамъ г. Нильскаго—«повидимому, подается та мысль, что единственнымъ основаніемъ брака служитъ первоначальное Божіе благословеніе, данное въ лицѣ Адама и Евы всѣхъ ихъ потомкамъ, и затѣмъ — взаимное согласіе желающихъ вступить въ бракъ, выраженное словами передъ свидѣтелемъ». Такъ, напримѣръ, въ большомъ катихизисѣ, на вопросъ: что есть бракъ? дается такой отвѣтъ: «бракъ есть тайна, ею же женихъ и невѣста отъ чистыя любви своея въ сердцѣ своемъ усердно себѣ изволятъ и согласіе между собою, и обѣтъ сотворятъ, яко произволительно, по благословенію Божію, въ общее и нераздѣльное житіе сопрягаются: якоже Адамъ и Ева прежде паденія и безплотьскаго смѣшенія правъ и истинный бракъ имѣста»; а на вопросъ: «кто есть дѣйственникъ тайны брака?» говорится, что это—вопервыхъ, Богъ, сказавшій: «раститеся и множитеся», а вовторыхъ, сами брачущіеся, давшіе другъ

другу обѣты вѣрности. Объ участіи священника не упоминается совсѣмъ. Въ Кормчей же книгѣ сказано: «форма, или образъ совершенія брака, суть словеса совокупляющихся, изволеніе ихъ внутреннее предъ іереемъ извѣщающая», и это выраженіе: предъ іереемъ привело Алексѣева къ той мысли, что священникъ, участвующій въ заключеніи брака, есть небольше, какъ одинъ изъ свидѣтелей взаимнаго согласія жениха и невѣсты на вступленіе въ брачный союзъ, но отнюдь не совершитель этого священнодѣйствія. Далѣе, изучая библейскую и «многія другія исторіи», Алексѣевъ замѣтилъ, что было время, когда браки заключались въ обществѣ человѣческомъ безъ всякаго «священнословія», т.-е. безъ всякаго внѣшняго обряда, по одному взаимному согласію лицъ, желавшихъ вступить въ бракъ, съ дозволенія родителей брачившихся. Такъ, по словамъ Алексѣева,—«по Адамѣ сущіи народы на единомъ любовномъ основаніи брака начало и конецъ творяху: начало сего—благохотѣніе взаимное, конецъ же—словеса общаго хотѣнія родителей жениха и невѣсты и самихъ жениха и невѣсты». Такъ заключались браки въ «естественномъ законѣ, даже до закона писаннаго», и не только между язычниками, но и между іудеями. Въ примѣръ подобныхъ браковъ между послѣдними Алексѣевъ указываетъ на бракъ Исаака съ Ревеккою. Въ послѣдствіи времени, говоритъ Алексѣевъ, у язычниковъ браки стали совершаться въ капищахъ, у іудеевъ же установился обрядъ приведенія брачущихся въ храмъ. Но такъ-какъ этотъ обрядъ явился уже въ законѣ писанномъ, а браки заключались прежде и считались законными, то очевидно—говоритъ раскольничій учитель—что заключеніе браковъ въ храмахъ и капи-

щахъ было учреждено не потому, чтобы безъ этого брачныя сопряженія не имѣли законности и силы, но единственно для того, чтобы, кромѣ согласія родителей, а также жениха и невѣсты, дать мѣсто еще и «согласію общенародному» и тѣмъ, съ одной стороны, сдѣлать бракъ формально болѣе твердымъ, а съ другой—предохранить вступившихъ въ него отъ разнаго рода нареканій, показавъ всѣмъ и каждому, что они начали свое сожитіе не «яко тати», какъ дѣлаютъ блудники, а «подобательнымъ путемъ», т.-е. открыто, черезъ бракъ. Переходя затѣмъ къ исторіи новозавѣтной, Алексѣевъ и въ ней нашелъ основанія думать, что церковное вѣнчаніе не имѣетъ существеннаго значенія для брака. Такъ онъ говоритъ, что и въ церкви христіанской «первѣе бяше бракъ, сему же послѣдоваша церковное дѣйство», и въ подтвержденіе своихъ словъ указываетъ на книгу Діонисія Ареопагита «о церковномъ священноначаліи», изъ которой будто бы видно, что при апостолахъ не было еще обычая совершать браки въ церкви, такъ-какъ Діонисій, перечисляя разныя таинства, не говоритъ ничего о вѣнчаніи брака. Алексѣевъ ссылается также и на другое обстоятельство изъ практики первенствующей церкви,—именно на то, что, при обращеніи язычниковъ къ вѣрѣ христовой, церковь совершала надъ ними крещеніе, міропомазаніе и др. таинства, но никогда не совершала надъ ними брака, если они находились до обращенія въ брачномъ сожитіи, а позволяла имъ жить по прежнему, какъ мужу и женѣ. Точно также, продолжаетъ Алексѣевъ, поступала церковь и съ еретиками, и притомъ не только съ такими, которыхъ принимали чрезъ одно отреченіе отъ ереси, но и съ такими, надъ которыми, при пріе-

мѣ ихъ, совершалось крещеніе. Наконецъ, Алексѣевъ указываетъ на то, что церковь православная никогда не перевѣнчивала лицъ православныхъ же, но вступавшихъ въ бракъ, по какимъ либо обстоятельствамъ, въ церквахъ еретическихъ. Всѣ эти разсужденія, вкратцѣ приведенныя нами, быть можетъ, ошибочны съ догматической точки зрѣнія; но они имѣютъ огромную важность для историка, наглядно показывая, что нашъ расколъ — по крайней мѣрѣ, въ лицѣ наиболѣе развитыхъ его представителей — не удовольствовался однимъ формализмомъ и религіозною казуистикой, но затронулъ, въ нѣкоторыхъ сектахъ, весьма крупные вопросы, имѣющіе ближайшее отношеніе къ общественной жизни. Стоитъ замѣтить, что простой раскольникъ-крестьянинъ, небывшій ни въ какихъ школахъ и академіяхъ, одною силою умственной пытливости, дошелъ до того, что могъ совершенно перенести вопросъ о бракѣ съ церковной на гражданскую почву, то-есть сдѣлать изъ брака тотъ общественный договоръ, который только очень недавно въ Европѣ пріобрѣлъ положеніе равноправное съ церковной формою брака. Врядъ-ли послѣ этого можно отрицать въ расколѣ присутствіе дѣятельной мысли и внутреннее прогрессивное движеніе, только замедляемое внѣшними препятствіями.

Доводы Алексѣева въ пользу брака нашли себѣ много приверженцевъ и служатъ до настоящаго времени опорною точкой для поморцевъ, вступающихъ въ бракъ. Но ѳедосѣевцы отвергнули ихъ, какъ еретичество, забывъ, что, въ такомъ случаѣ, самъ основатель ихъ секты былъ упорнымъ еретикомъ. Роли перемѣнились: поморцы, прежде нападав-

шіе на бракъ, сдѣлались его сторонниками, а ѳедосѣевцы, которымъ приличнѣе было бы, съ самаго начала, не противиться этому нововведенію, стали озлобленно нападать на «новоженовъ», рѣшавшихся войти хоть на полчаса, для совершенія брака, въ православную церковь. Началась ожесточенная борьба, продолжавшаяся довольно открыто въ царствованіе Екатерины и Александра, такъ-какъ въ это время, — особенно при Александрѣ, — расколъ пользовался уже значительнѣйшими, противъ прежняго, послабленіями и льготами. На сторонѣ брака, какъ гражданскаго обряда, который возможно совершать даже и при отсутствіи священника, стояли: Емельяновъ, одинъ изъ настоятелей покровской часовни въ Москвѣ, и Павелъ Любопытный, извѣстный раскольничій писатель. Противъ брака вооружались: знаменитый основатель преображенскаго московскаго кладбища, купецъ Ковылинъ, названный «отличнымъ бракоборцемъ», и бѣглый заводскій крестьянинъ, Гнусинъ,—«семиименная особа» (по выраженію Павла Любопытнаго), разгуливавшая по Россіи подъ семью различными именами. Аргументы Алексѣева въ защиту брака дополнялись и развивались его послѣдователями—и въ этой переработкѣ раскольничій бракъ сдѣлался окончательно гражданскимъ актомъ, такъ что въ Покровской часовнѣ, гдѣ совершались подобные браки, вошло даже въ обычай составлять особые свадебные контракты, подписываемые женихомъ и невѣстой (стр. 339).

Нельзя не поблагодарить г. Нильскаго за трудолюбивое собираніе всѣхъ этихъ свѣдѣній, бросающихъ новый свѣтъ на исторію нашего раскола; но нельзя не указать также и

на пристрастный тонъ, съ которымъ относится онъ къ нѣкоторымъ мнѣніямъ и даже къ фактамъ, имъ излагаемымъ. Такъ, напримѣръ, ему очень хочется доказать, что раскольничьи гражданскіе браки никогда не признавались нашимъ правительствомъ законными, а между тѣмъ изъ его доказательствъ выходитъ только то, что правительство часто колебалось въ своемъ взглядѣ на этотъ вопросъ, и что св. синодъ нерѣдко пользовался случаемъ, чтобы расторгать такіе браки. Но въ дѣлѣ, приведенномъ у Павла Любопытнаго (стр. 343), а именно въ дѣлѣ раскольника Монина, женившагося по обряду поморской церкви, митрополитъ Платонъ, а за нимъ и весь святѣйшій синодъ, рѣшили этотъ вопросъ въ пользу Монина. Въ другой разъ тульская духовная консисторія привлекла къ отвѣтственности одного безпоповца за его бракъ, но св. синодъ, принявъ во вниманіе гражданскія узаконенія, на которыя сослался отвѣтчикъ, приказалъ преслѣдованіе это прекратить (стр. 403). Стало быть, были гражданскіе законы, служившіе, такъ-сказать, щитомъ для раскольниковъ. Они, дѣйствительно, приводятся у самого г. Нильскаго. Первый законъ, на который ссылались раскольники, изданъ Петромъ въ 1719 г. и упомянутъ Екатериной II въ 1762 г. при вызовѣ бѣглыхъ раскольниковъ изъ-за границы; онъ состоитъ въ томъ, что раскольничьи браки, совершенные «не у церкви, безъ вѣнечныхъ памятей» — не расторгались, но только оплачивались извѣстнымъ штрафомъ такъ же, какъ, напримѣръ, ношеніе бороды. Второй законъ — это высочайше утвержденное мнѣніе государственнаго совѣта (по дѣлу поручика Шелковникова о разводѣ его съ женою), въ которомъ говорится: «для охра-

ѳенія твердости брачныхъ союзовъ постановить правиломъ, чтобы никакія въ гражданскомъ управленіи мѣста и лица не допускали и не утверждали между супругами обязательствъ и другихъ актовъ, въ коихъ будетъ заключаться условіе жить имъ въ разлученіи или какое либо другое произвольное ихъ желаніе, клонящееся къ разрыву супружескаго союза». Постановленіе это распространялось «на всѣ христіанскія исповѣданія, т.-е. какъ на тѣ, въ коихъ брачный союзъ почитается таинствомъ, такъ и на тѣ, въ коихъ онъ принимается за гражданскій актъ». Раскольники сейчасъ же причислили свои браки къ числу гражданскихъ актовъ, допускаемыхъ закономъ, и министерство внутреннихъ дѣлъ, повидимому, согласилось съ этою ихъ претензіею. По крайней мѣрѣ, въ томъ же 1819 г., министерство внутреннихъ дѣлъ не утвердило тѣхъ положеній комитета войска донскаго, которыми браки раскольниковъ, совершенные внѣ церкви, признавались недѣйствительными, а совершители такихъ браковъ предавались суду наравнѣ съ учителями раскола. Положенія эти были найдены «противными правиламъ кротости и служащими, съ одной стороны, поводомъ къ ожесточенію раскольниковъ, а съ другой — побужденіемъ прибѣгать къ средствамъ обмана и подлога» (стр. 405). Такая резолюція министерства показываетъ, что не одинъ московскій магистратъ смотрѣлъ на «брачную книгу» Покровской часовни, какъ на оффиціальный документъ, подтверждающій раскольничьи браки, но что этого же взгляда придерживались и разумные люди въ нашемъ высшемъ правительствѣ.

ЦЕНЗУРНЫЙ ПРОЕКТЪ МАГНИЦКАГО.

(Изъ исторіи цензуры въ Россіи).

I.

Русская литература,—за небольшимъ исключеніемъ книгъ, издаваемыхъ университетами и учеными обществами на ихъ собственной отвѣтственности,—находилась нѣсколько десятковъ лѣтъ подъ непосредственнымъ вліяніемъ администраціи, и только съ ея дозволенія, выраженнаго красными чернилами цензора, могла бряцать на лирахъ, философствовать о природѣ и размышлять о предметахъ «общественнаго благоустройства». Это прямое вліяніе и руководительство официіальныхъ стражей надъ печатнымъ словомъ бывало повременамъ довольно снисходительно къ свободѣ мысли, допуская ее на столько, на сколько требовала развитая часть самого общества; но гораздо чаще оно же ложилось тяжкимъ гнетомъ надъ развитіемъ литературы, произвольно стѣсняя, урѣзывая и даже подавляя совсѣмъ тревожную мысль, неумѣвшую подладиться къ существующимъ требованіямъ. Легко понять, какъ безгранично было въ послѣднемъ случаѣ давленіе цензуры и какъ больно отражалось оно въ сознаніи мыслящихъ писателей, искренно убѣжденныхъ и дорожившихъ правильнымъ, неискаженнымъ выраженіемъ своей мысли. Тогда цѣлыя отрасли литературы становились невозможными,

такъ-какъ въ нихъ самовластно распоряжалось «благоусмотрѣніе» цензора, навязывая писателю не только казенныя, рутинныя мысли, но и казенный способъ ихъ выраженія. Была ли возможность, напримѣръ, при такихъ условіяхъ, развить стройную философскую систему, освѣтить правильнымъ взглядомъ рядъ историческихъ фактовъ, оцѣнить всестороннимъ образомъ какое-нибудь крупное явленіе современной общественной жизни? Философія и исторія могли существовать только въ жалкомъ видѣ; публицистика становилась почти совсѣмъ невозможною. Конечно, велика изобрѣтательность человѣческаго ума, и за недостаткомъ прямыхъ путей для выраженія мыслей существуютъ еще пути окольные; но въ этихъ уловкахъ и стремленіяхъ обойти цензурные рифы, тратилось задаромъ много силъ, а результатъ все-таки выходилъ неудовлетворительный. Литература мельчала и начинала удаляться отъ серьезныхъ вопросовъ, предпочитая бесѣдовать съ любителями о погодѣ, лунѣ и дѣвѣ; вмѣсто философскаго направленія, въ ней появлялось ребяческое легкомысліе или трусливое двоедушіе; самый языкъ ея становился блѣднымъ, темнымъ, лишеннымъ красокъ, силы и энергіи. Въ серьезныхъ сочиненіяхъ установилась особая, условная азбука, и публика научилась читать не только по строкамъ, но и между строками, понимая нѣкоторыя выраженія въ обратномъ смыслѣ, разумѣя подъ одними предметами другіе. Такъ, напримѣръ, Турція и Австрія (меттерниховскаго закала) постоянно, въ теченіе долгаго времени, отдувались за Россію. Въ публицистическихъ статьяхъ появились уклончивые пріемы, состоявшіе въ неясныхъ намекахъ, въ нѣкоторомъ, такъ сказать, киваньѣ и подмигиваньѣ читателю; мимоходомъ вставлялись

фразы и даже страницы, повидимому, противорѣчившія основной мысли, но которыя понаторѣлый читатель безошибочно объяснялъ «обстоятельствами, отъ редакціи независящими». Упадокъ литературы подъ вліяніемъ строгаго административнаго надзора былъ уже давно замѣчаемъ мыслящими людьми, хотя, по особымъ обстоятельствамъ, замѣчанія эти и не могли, до послѣдняго времени, попадать въ русскую печать.

«Истинные сыны отечества—писалъ въ 1801 г. въ негласной запискѣ одинъ образованный человѣкъ того времени, видѣвшій, что и правительство благопріятствовало свободѣ печати,—ждутъ уничтоженія цензуры, какъ послѣдняго оплота, удерживающаго ходъ просвѣщенія тяжкими оковами и связывающаго истину рабскими узами. Свобода писать въ настоящемъ философскомъ вѣкѣ не можетъ казаться путемъ къ развращенію и вреду государства. Цензура нужна была въ прошедшихъ столѣтіяхъ, нужна была фанатизму невѣжества, покрывавшаго Европу густымъ мракомъ, когда варварскіе законы государственные, догматы невѣжествомъ искаженной вѣры и деспотизмъ самый безчеловѣчный утѣсняли свободу людей, и когда мыслить — было преступленіе... Словесность наша всегда была подъ гнетомъ цензуры. Сто лѣтъ, какъ она составляетъ отдѣлъ въ исторіи ума человѣческаго и его произведеній: мы имѣемъ много хорошихъ поэтовъ, прозаиковъ, видимъ на нашемъ языкѣ сочиненія математическія, физическія и др., но философіи—нѣтъ и слѣда! Можетъ быть, скажутъ, что у насъ есть переводы философскихъ твореній. Это правда, но всѣ наши переводы содержатъ только отрывки своихъ подлинниковъ: рука цензора

съумѣла убить ихъ духъ... Цензоръ и простой гражданинъ смотрятъ на книги неодинаково. Простой просвѣщенный гражданинъ видитъ въ общихъ философскихъ положеніяхъ истины или заблужденія, однѣ признаетъ полезными, другія вредными, но вредными болѣе для самого писателя, показывающаго слабость своихъ умственныхъ способностей. Цензоръ же, напротивъ того, въ самыхъ важныхъ и общихъ истинахъ, чуждыхъ всякихъ частностей и личностей, видитъ опасность и расположенъ толковать ихъ въ худую сторону, увлекаясь или честолюбіемъ, или своенравіемъ, или боязнью потерять свое мѣсто». Отражая ходячій упрекъ, что свобода печати произвела будто бы французскую революцію, неизвѣстный авторъ высказывалъ слѣдующую, замѣчательно вѣрную мысль: «Если Сена послужила могилою для цѣлыхъ семействъ, бросившихся въ нее отъ голода; если улицы Парижа наполнены были день и ночь грабителями и убійцами; если кредитъ окончательно упалъ и во всемъ былъ страшный недостатокъ, то писатели въ этомъ отнюдь неповинны. Если я спокоенъ и счастливъ, говори мнѣ философъ, что угодно, я не пожертвую своимъ настоящимъ благосостояніемъ для неизвѣстнаго будущаго: такъ думаетъ народъ» *. Голосъ анонимнаго автора, такъ горячо вступившагося за свободу печатнаго слова, не былъ одинокимъ въ русскомъ обществѣ: недовольство цензурными порядками, не ограничиваясь негласнымъ ихъ

* Матеріалы для исторіи просвѣщенія въ Россіи въ царствованіе Александра I. М. Сухомлинова, стр. 19—20.

порицаніемъ, проскальзывало, хотя изрѣдка, и въ печатныя книги, сквозь стѣснительныя рогатки, мѣшавшія откровенному обсужденію этого щекотливаго вопроса. Такъ, напримѣръ, Радищевъ говорилъ въ своей извѣстной книгѣ: «Теперь свобода имѣть всякому орудія печатанія; но то, что печатать можно, состоитъ подъ опекою. Цензура сдѣлана нянькою разсудка, остроумія, воображенія, всего великаго и изящнаго. Но гдѣ есть няньки, то слѣдуетъ, что есть ребята, которыя ходятъ на помочахъ, отчего у нихъ бываютъ нерѣдко кривыя ноги. Гдѣ есть опекуны, слѣдуетъ, что есть малолѣтніе, незрѣлые разумы, которые собою править не могутъ. Если же всегда пребудутъ няньки и опекуны, то ребенокъ долженъ ходить на помочахъ, и совершенный на возрастѣ будетъ калѣка». Здѣсь же разсказывается случай, какъ въ управу благочинія (занимавшуюся тогда цензированіемъ книгъ) принесенъ былъ для пропуска переводъ романа: «переводчикъ, слѣдуя автору, назвалъ любовь лукавымъ богомъ; мундирный цензоръ, исполненный духа благочестія, почернилъ сіе выраженіе, говоря: неприлично божеству называться лукавымъ». Еще замѣчательнѣй осужденіе цензуры, произнесенное Пнинымъ—уже по выходѣ перваго цензурнаго устава — въ «Журналѣ Россійской Словесности» (1805 г.). Статья его имѣетъ форму діалога между сочинителемъ и цензоромъ, и названа авторомъ — вѣроятно, для успокоенія совѣсти лица, пропускавшаго ее — «переводомъ съ манчжурскаго». Сочинитель приноситъ къ цензору рукопись подъ заглавіемъ: «Истина», прося разсмотрѣть и дозволить ее къ печати. Цензоръ поражается прежде всего дерзкимъ заглавіемъ, и, углубившись въ чтеніе тетради, нахо-

дитъ въ ней подозрительныя мысли въ такомъ родѣ: «не отнимайте ничего другъ у друга, просвѣщайте другъ друга, храните справедливость другъ къ другу» и т. п. Остановившись на нѣкоторыхъ, наиболѣе сомнительныхъ мѣстахъ, цензоръ требуетъ ихъ исключенія, и между нимъ и авторомъ завязывается назидательный споръ. «Вы — говоритъ авторъ своему литературному стражу—отнимая душу у моей «Истины», лишаете всѣхъ ея красотъ, хотите, чтобы я согласился, въ угожденіе вамъ, обезобразить ее, сдѣлавъ ее нелѣпою? Нѣтъ, г. цензоръ, ваше требованіе безчеловѣчно: виноватъ ли я, что истина моя вамъ не нравится, и вы не понимаете ее?... Познаніе истины ведетъ къ благополучію. Лишать человѣка сего познанія, значитъ, препятствовать ему въ его благополучіи, значитъ, лишать его способовъ сдѣлаться счастливымъ. Если можно не позволить одну истину, то должно уже не позволять никакой, ибо истины между собою составляютъ непрерывную цѣпь. Исключить изъ нихъ одну—значитъ, отнять изъ цѣпи звено и его разрушить. Притомъ же истинно великій мужъ не опасается слушать истину, не требуетъ, чтобъ ему слѣпо вѣрили, но желаетъ, чтобъ его понимали». При этомъ авторъ отстаиваетъ свое право, какъ совершеннолѣтняго, «отвѣчать самому за свой образъ мыслей и за дѣла свои». «Я уже не дитя—говоритъ онъ—и не имѣю нужды въ дядькѣ». Кромѣ того, по мнѣнію автора, цензорская подпись недѣйствительна даже и для того, чтобы успокоить литературнаго дѣятеля насчетъ судьбы его книги. «Ваше засвидѣтельствованіе—замѣчаетъ онъ цензору—можно назвать ничего не значущимъ, ибо опытъ показываетъ, что оно ни-

сколько не обезпечиваетъ ни книги, ни автора». Подъ этимъ опытомъ авторъ діалога, безъ сомнѣнія, подразумѣвалъ несчастную судьбу книги Радищева, пропущенной полицейскою цензурой, а также запрещеніе своего собственнаго этюда: «Опытъ о просвѣщеніи», дозволеннаго гражданскимъ губернаторомъ и остановленнаго въ продажѣ цензурнымъ комитетомъ. Дальнѣйшая исторія русской прессы могла бы представить на этотъ случай много, не менѣе сильныхъ, примѣровъ... Наконецъ, Пнинъ указываетъ и на принципъ собственности, попираемый произволомъ административнаго лица. «Моя истина—защищается выведенный имъ писатель—стоила мнѣ величайшихъ трудовъ: я не щадилъ для нея моего здоровья, просиживалъ дни и ночи—словомъ, книга моя есть моя собственность. А стѣснять собственность никогда не должно, ибо чрезъ сіе нарушается справедливость и порядокъ» *). Но на всѣ эти резоны цензоръ отвѣчаетъ холодною фразой: «я не позволяю, и, слѣдовательно, это непозволительно», такъ что автору остается только одно, не слишкомъ большое утѣшеніе, что его «истина пребудетъ неизмѣнно въ его сердцѣ,-исполненномъ любви къ человѣчеству,-которое не имѣетъ нужды ни въ какихъ свидѣтельствахъ, кромѣ собственной своей совѣсти».

Всѣ приведенные примѣры показываютъ намъ, что подчиненное положеніе русской литературы никогда не принималось ею безропотно и не удовлетворяло вполнѣ дѣйствительному захвату русской мысли; напротивъ того, стѣснительныя рамки, насильственно съуживавшія наше литера-

*) Журн. Россійской Словесности 1805 г. № 12.

турное развитіе, вызывали по временамъ, насколько это было возможно, рѣзкіе протесты, удачно мотивированные съ различныхъ точекъ зрѣнія. Правà разсудка, науки, литературной собственности, необходимость нести каждому юридическую отвѣтственность за себя—все это противопоставлялось произвольной опекѣ, налагавшей цѣпи на интеллектуальную жизнь развитыхъ личностей, лишавшей ихъ свободнаго слова для выраженія насущныхъ потребностей или невполнѣ еще сознанныхъ, но вѣрныхъ инстинктовъ цѣлаго общества. Скрытая по необходимости, но упорная борьба съ этой опекой становилась задачей передовыхъ писателей, и хотя много зрѣлыхъ мыслей и обдуманныхъ произведеній погибало цѣликомъ въ неравномъ бою, но тѣмъ не менѣе и цензурныя рамки, переполненныя до краевъ литературнымъ содержаніемъ, раздвигались до нѣкоторой степени, уступая давленію, ежедневно повторяющихся, настойчивыхъ попытокъ. Извѣстно, напримѣръ, что «Мертвыя Души», потерпѣвъ крушеніе въ одной цензурной инстанціи, пробили-таки себѣ дорогу въ печать, впрочемъ, съ измѣненіемъ главы о капитанѣ Копѣйкинѣ. Въ послѣдніе годы существованія предварительной цензуры или, правильнѣе сказать, незадолго до введенія новаго закона о печати (такъ-какъ предварительная цензура не отмѣнена этимъ закономъ окончательно, и продолжаетъ дѣйствовать въ ограниченныхъ размѣрахъ)—въ эти тревожные годы возникновенія разныхъ «вопросовъ», напоръ литературныхъ силъ и, соотвѣтствовавшая ему, невольная уступчивость административнаго контроля чувствовались уже въ такой сильной степени, что понадобилось регулировать иначе самыя отношенія прессы къ администра-

ціи. Словомъ, понадобилось (какъ это и выражено въ законѣ 6-го апрѣля) «облегчить» незавидную участь литературы, то есть дать ей нѣкоторыя права въ обсужденіи общественныхъ вопросовъ, въ пропагандѣ теоретическихъ мнѣній, и затѣмъ перенести. отвѣтственность за все напечатанное съ цензоровъ на авторовъ и редакторовъ періодическихъ изданій.

Этотъ тяжелый путь, пройденный нашею литературою,— тяжелый въ особенности для періодической прессы, какъ такой ея вѣтви, которая соприкасается ближайшимъ образомъ съ общественными интересами, а также и со всѣми случайными колебаніями въ правительственныхъ намѣреніяхъ,—путь, усыпанный далеко не розами и отразившійся на самыхъ свойствахъ нашего печатнаго слова, знакомъ по слухамъ русской публикѣ; но знакомство это едва-ли не ограничивается, до сихъ поръ, нѣсколькими анекдотами о цензорахъ, преимущественно сороковыхъ годовъ, которые, страшась повсюду либерализма, вымарывали изъ корректуръ, въ кухонныхъ книгахъ, выраженія въ родѣ «вольнаго духа». Довольно распространены также анекдоты о цензорѣ Красовскомъ, который, въ двадцатыхъ годахъ, творилъ невозбранно чудеса въ русской литературѣ,

Конечно, и эти анекдотическія подробности не лишены своего значенія, показывая до какихъ геркулесовыхъ столбовъ могла доходить придирчивость усерднаго цензора; но не поставленныя въ связь съ дѣйствовавшимъ законодательствомъ и со взглядами высшаго правительства, онѣ получаютъ характеръ отрывочный и невразумительный, тогда какъ, на самомъ дѣлѣ, наиболѣе курьезныя цензурныя запрещенія всегда совпадали или съ буквой закона о печати,

или съ настроеніемъ, господствовавшимъ въ правительственныхъ сферахъ. Въ равной мѣрѣ и развитіе литературы, объемъ и сила идей, въ ней выражаемыхъ, находились въ тѣсной зависимости отъ тѣхъ ограниченій, которыя налагались на нее цензурной практикой. Опредѣлить точнѣе эту зависимость, выяснить на фактахъ взаимодѣйствіе между интенсивностью мысли (каково бы ни было ея относительное значеніе) и упругостію преградъ, для нея поставленныхъ,—принадлежитъ настоящему времени, когда многіе цензурные документы, обнародованные самимъ правительствомъ или найденные въ архивахъ частными изыскателями, проливаютъ новый свѣтъ на ту затаенную борьбу литературы съ репрессіею, которая то затихала, то поднималась съ новою силою въ предѣлахъ цензурнаго вѣдомства. Изслѣдованіе этого предмета составитъ, со временемъ, любопытный отдѣлъ въ исторіи русской литературы и, быть можетъ, повытѣснитъ изъ нея формулярные списки авторовъ, сшитые на бѣлую нитку и пересыпанные эстетическими разглагольствіями о величіи державинскаго стиха и сладости карамзинской прозы... Будемъ ждать; а покуда познакомимъ нашихъ читателей съ однимъ важнымъ моментомъ въ исторіи цензурныхъ постановленій. Но прежде, чѣмъ перейти собственно къ предмету нашей статьи, т.-е. къ цензурному проекту Магницкаго, мы должны объяснить происхожденіе предварительной цензуры и характеръ ея въ началѣ царствованія Александра I-го. Это сопоставленіе начала и конца «цензурнаго періода» представитъ контрастъ, не лишенный занимательности.

II.

Наше правительство, съ тѣхъ поръ, какъ появился на Руси первый печатный станокъ, никогда не отказывало себѣ въ правѣ наблюдать за содержаніемъ выпускаемыхъ книгъ, соображаясь съ собственными видами и намѣреніями. Правильнѣе сказать, печатный станокъ введенъ въ Россію правительствомъ, чтобы прекратить распространеніе въ народѣ рукописей священнаго писанія, искаженныхъ по невѣжеству или небрежности переписчиковъ. Такимъ образомъ, первыя печатныя книги входили у насъ въ обращеніе по приказанію царя Іоанна IV, а само общество не только не пользовалось типографскимъ искусствомъ, но даже смотрѣло на него, какъ на орудіе нечистой силы. Преслѣдованіе и истребленіе книгъ по ихъ напечатаніи началось гораздо позже, а именно со времени богословскихъ распрей между кіевскимъ и московскимъ духовенствомъ; при этомъ сочиненія кіевскихъ ученыхъ, зараженныя латинскою ересью, предавались сожженію. О преслѣдованіи свѣтской литературы не могло быть и рѣчи. Чисто-свѣтская литература началась у насъ при Петрѣ I-мъ, и опять таки по иниціативѣ самого государя, которому приходилось еще развивать въ нашемъ грамотномъ людѣ охоту къ чтенію подобныхъ книгъ. Наиболѣе развитые люди этого царствованія, способные къ литературной работѣ, раздѣляли вполнѣ стремленія преобразователя и, при такой полной солидарности правительства съ мыслящею частію общества, для репрессивныхъ мѣръ не

представлялось никакого достаточнаго повода. Разногласіе это встрѣчается только во второй половинѣ екатерининскаго правленія, когда въ русскомъ обществѣ появилась уже нѣкоторая самодѣятельность мысли, не всегда отвѣчавшая, по своему характеру, желаніямъ правительства. Сначала Новиковъ, а потомъ Радищевъ возбуждаютъ противъ себя гоненія властей, заподозрившихъ въ ихъ литературныхъ трудахъ сокровенную и притомъ враждебную для правительства политическую цѣль. Новиковъ и всѣ масоны подозрѣвались въ тайныхъ связяхъ съ наслѣдникомъ престола; книга-же Радищева была принята Екатериною, какъ сигналъ для какого-то, впрочемъ несостоявшагося, политическаго бунта въ духѣ французской революціи. На этотъ разъ печатный станокъ былъ признанъ средствомъ, столько же удобнымъ для поддержки правительственныхъ плановъ, какъ и для противодѣйствія имъ. Отсюда начинается стремленіе правительства замѣнить ненадежный полицейскій контроль надъ напечатанными уже книгами—системой предварительнаго просмотра и одобренія рукописей, предназначенныхъ къ напечатанію. Такъ напр. въ 1802 г.,—т.-е. въ то время, когда дѣйствовалъ указъ о «свидѣтельствованіи печатныхъ книгъ», а уставъ предварительной цензуры не былъ еще составленъ,—на дѣлѣ уже господствовалъ обычай представлять рукописи для предварительнаго просмотра, и нѣкто Августъ Видманъ жаловался министру на запрещеніе петербургской цензурой представленнаго такимъ порядкомъ сочиненія. Это первое запрещеніе предварительно-просмотрѣнной книги было мотивироваио тѣмъ, что «ему (т.-е. Видману) не слѣдуетъ писать о таковыхъ матеріяхъ и что сіе принадле-

жить однимъ знатнымъ особамъ». (Истор. свѣд. о ценз. стр. 12). Также точно въ 1803 г. Новосильцевъ препровождалъ къ гр. Завадовскому (первому министру народнаго просвѣщенія) сообщенную ему рукопись подъ названіемъ «Траянъ и Александръ», прося — «приказать разсмотрѣть оную цензурѣ для одобренія къ напечатанію». Повидимому, авторы и издатели, напуганные прежними арестами и конфискаціями отпечатанныхъ книгъ, сами предпочли — искать предварительнаго одобренія, чтобы сколько нибудь застраховать себя отъ бѣды. «Обстоятельство это — справедливо замѣчаетъ авторъ исторической записки о цензурѣ въ Россіи, изданной въ небольшомъ количествѣ экземпляровъ въ 1862 г.—не покажется удивительнымъ, если сообразить, что лишь при извѣстной силѣ общественнаго мнѣнія и при извѣстныхъ условіяхъ юридическаго развитія государства, такъ называемая карательная система цензуры представляетъ для писателя достаточныя гарантіи; послѣдствія, къ которымъ приводитъ предварительное цензированіе, мудрено было въ то время предвидѣть, и многимъ, если не всѣмъ, безопаснѣе должно было казаться: знать напередъ мнѣніе правительства о своемъ сочиненіи, нежели рисковать, что оно будетъ конфисковано, и самъ авторъ подвергнется преслѣдованію». Наконецъ, въ 1804 г., вышелъ первый уставъ предварительной цензуры. Обстоятельства, при которыхъ возникъ онъ, были весьма благопріятны для развитія литературы. Молодой императоръ, окруженный либеральными совѣтниками, составлявшими, вчетверомъ, такъ-называемый comité du salut public, готовъ былъ на всевозможныя уступки въ пользу свободы мысли

и слова. Когда вопросъ о печати былъ поставленъ на очередь для обсужденія, то одинъ изъ членовъ этого интимнаго комитета, Н. Н. Новосильцевъ, попечитель петербургскаго учебнаго округа, предложилъ ввести у насъ датскій уставъ о свободномъ книгопечатаніи, и главное правленіе училищъ сильно склонялось на сторону этого проекта. Датскій уставъ, который, при нѣкоторыхъ перемѣнахъ, казался Новосильцеву достаточной гарантіей для свободы слова, равно какъ достаточной охраной противъ злоупотребленій ею, былъ изданъ королемъ Христіаномъ VII (1766—1808) подъ вліяніемъ графа Струэнзе, извѣстнаго поклонника либеральныхъ идей, и сопровождался манифестомъ слѣдующаго содержанія: «Находя въ высшей степени вреднымъ для безпристрастнаго изслѣдованія истины и открытія закоренѣлыхъ предразсудковъ и заблужденій—запрещеніе гражданамъ, одушевленнымъ любовью къ отечеству и общему благу, свободно высказывать свои убѣжденія и обличать злоупотребленія и предразсудки, мы рѣшились дать неограниченную свободу книгопечатанію и окончательно уничтожить всякаго рода цензуру». Это рѣшеніе датскаго короля привело, въ свое время, въ восторгъ всѣхъ европейскихъ писателей, и Вольтеръ откликнулся на него хвалебнымъ посланіемъ, въ которомъ краснорѣчиво доказывалъ, что печать никогда не приносила вреда для общества и что если въ народѣ составлялись заговоры и разыгрывались мятежи, то не вслѣдствіе появленія той или другой книги, а вслѣдствіе иныхъ, болѣе существенныхъ политическихъ причинъ. Но съ паденіемъ Струэнзе, поднявшаго противъ себя своими энергическими мѣрами множество тайныхъ и явныхъ враговъ, измѣнилось и либеральное на-

строеніе датскаго правительства. Различныя новыя постановленія были направлены къ тому, чтобы ограничить свободу слова и дать правительству болѣе средствъ бороться съ оппозиціонной печатью. Признавалось нужнымъ выдѣлить и опредѣлить особый разрядъ преступленій по дѣламъ печати, причемъ вниманіе суда должно было обращаться не только на фактическую часть книги, но также на ея духъ и направленіе. Причины такой строгости объясняются въ манифестѣ короля отъ 1799 г. Отсюда узнаемъ мы, что «книгопечатаніе сдѣлалось, къ несчастію, орудіемъ страстей самыхъ низкихъ и произвело слѣдствія самыя пагубныя какъ для общественнаго спокойствія, такъ и для безопасности частной», что нѣкоторые «злоумышленные люди съ соблазнительною и достойною кары дерзостью ежедневно нападаютъ на все, что во всякомъ благоустроенномъ государствѣ должно быть драгоцѣнно и священно для цѣлаго общества (?), не перестаютъ распространять самыя ложныя понятія о вещахъ и стараются разсѣвать неправильныя мнѣнія о предметахъ самыхъ важныхъ для человѣка и гражданина, чрезъ что малосвѣдущая и невполнѣ образованная часть народа, особенно же неопытное юношество, можетъ удобно развращаться и впадать въ заблужденіе». «Нѣтъ сомнѣнія—говорилось далѣе—что развратъ сей можно было бы всего надежнѣе предупредить, подвергнувъ разсмотрѣнію правительства всѣ книги, назначаемыя къ печати. Но какъ этому сопутствуетъ принужденіе, непріятное всякому благомыслящему и просвѣщенному человѣку, желающему быть полезнымъ чрезъ сообщеніе другимъ своихъ свѣдѣній, то мы и не желаемъ употребить подобное средство. Вмѣсто же сего вознамѣрились

мы опредѣлить и утвердить положительнымъ закономъ, сколько возможно, предѣлы свободнаго книгопечатанія, назначивъ также и соразмѣрное наказаніе для тѣхъ, которые дерзнутъ преступать наши отеческія и благонамѣренныя повелѣнія». Законъ, возникшій по такимъ соображеніямъ, отличался далеко не отеческой строгостью и особенно преслѣдовалъ анонимныя сочиненія, признавая ихъ «вопіющимъ зломъ, безнравственнымъ орудіемъ для оскорбленія священнѣйшихъ правъ гражданина». Вслѣдствіе этого, на каждой печатной книгѣ требовалось выставленіе именъ: автора, издателя и типографщика. Въ числѣ самостоятельныхъ преступленій печати, кромѣ клеветъ, ложныхъ извѣстій, оскорбительныхъ или неприличныхъ выраженій, поименовывались и такія, въ преслѣдованіи которыхъ судья уже явнымъ образомъ переставалъ быть судьею и становился послушнымъ орудіемъ въ рукахъ административной власти: до такой степени произвольно и субъективно было здѣсь опредѣленіе «преступности» печатнаго слова. Сюда относятся: «насмѣшки надъ государственными учрежденіями, возбужденіе ненависти противъ своего правительства, презрительные отзывы о дружественныхъ державахъ, невыгодные слухи о королѣ» и пр. Между тѣмъ, за каждое изъ такихъ неясныхъ, но тягучихъ преступленій виновные авторы подвергались весьма чувствительнымъ наказаніямъ, начиная отъ срочнаго тюремнаго заключенія и кончая вѣчной каторжной работой въ цѣпяхъ. Авторъ же книги, «заключающей въ себѣ совѣты и внушенія произвести перемѣну въ правленіи, установленномъ государственными законами, и сдѣлать возмущеніе противъ короля, повиненъ былъ

смертной казни». Представляя въ главное правленіе училищъ переводъ датскаго манифеста, Новосильцевъ считалъ невозможнымъ переносить его цѣликомъ на нашу почву и предложилъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, свои видоизмѣненія — съ цѣлію смягчить суровость датскихъ постановленій и сдѣлать удобнымъ примѣненіе ихъ къ Россіи. Вотъ пункты, предложенные имъ:

1) Требованіе датскаго правительства—печатать имя каждаго автора и переводчика—особенно тягостно для молодыхъ литераторовъ, впервые выступающихъ на поприще словесности и изъ скромности скрывающихъ свои имена. Можно бы предоставить свободу печатать книги и безъ означенія имени автора или переводчика. Для отвращенія же злоупотребленій не безполезно средство, отчасти принимаемое датскимъ законодательствомъ, хотя и по другому поводу. Если кто либо изъ сочинителей или переводчиковъ пожелаетъ, чтобы имя его не было поставлено на издаваемой книгѣ, въ такомъ случаѣ двое или трое изъ гражданъ, имѣющихъ гдѣ либо постоянное пребываніе, должны дать типографщику письменное обязательство въ томъ, что въ случаѣ надобности они объявятъ имя автора.

2) Взысканія за нарушеніе цензурныхъ правилъ, принятыя въ Даніи и несоотвѣтствующія русскимъ законамъ и обычаямъ, должны быть замѣнены другими, сообразными съ русскимъ законодательствомъ.

3) Датскимъ постановленіемъ требуется, чтобы одинъ экземпляръ каждаго періодическаго изданія, журнала, газеты и каждой книги, до выпуска въ свѣтъ, былъ представляемъ копенгагенскому полицеймейстеру. Если полицеймей-

стеръ найдетъ въ книгѣ что либо предосудительное или неблагопристойное, то немедленно долженъ запретить ея продажу, опечатать всѣ экземпляры и препроводить задержанную книгу въ королевскую канцелярію. Въ Россіи право конфискаціи подозрительныхъ книгъ удобнѣе предоставить не полиціи, а университетамъ и академіямъ, съ тѣмъ чтобы они, увѣдомивъ мѣстное начальство, представляли мнѣнія свои, вмѣстѣ съ экземпляромъ книги, въ главное правленіе училищъ.

4) Обвиняемый въ сочиненіи или изданіи предосудительной книги обыкновеннымъ ли порядкомъ долженъ быть судимъ или же нужно учредить особый родъ суда и разбирательства? Если дѣла печати предоставить обыкновеннымъ судамъ, въ которыхъ часто засѣдаютъ чиновники, не имѣющіе научныхъ познаній, то могутъ произойти пагубныя для подсудимыхъ писателей слѣдствія, для отвращенія которыхъ слѣдовало бы учредить особый родъ суда. Главное правленіе училищъ составитъ списокъ государственныхъ чиновниковъ, имѣющихъ требуемыя свѣдѣнія и пользующихся уваженіемъ въ обществѣ. Въ случаѣ обвиненія въ изданіи вредной книги правленіе назначитъ изъ помѣщенныхъ въ спискѣ лицъ опредѣленное число (четыре, шесть или восемь) посредниковъ, живущихъ въ томъ городѣ, гдѣ находится обвиняемый. Для скорѣйшаго теченія дѣлъ и для избѣжанія переписки можно предоставить и университетамъ право назначить посредниковъ изъ лицъ, внесенныхъ въ списокъ въ главномъ правленіи. Если обвиняемый будетъ оправданъ посредниками, то онъ освобождается отъ всякаго суда, а книга его отъ запрещенія и конфискаціи; обвинитель же под-

вергается взысканію на основаніи законовъ.

5) Постановленіе о свободномъ книгопечатаніи не должно касаться цензуры книгъ духовныхъ, наблюденіе за которыми вполнѣ предоставлено св. синоду.

Нельзя не замѣтить, съ перваго разу, того доброжелательства и уваженія къ печатному слову, которое выражается въ предложенныхъ Новосильцевымъ перемѣнахъ. Личность писателя и судьба его мнѣній гарантируются особымъ судомъ, составленнымъ изъ лицъ по выбору главнаго правленія училищъ (которое, въ то время, было расположено покровительствовать литературѣ); право конфискаціи подозрительныхъ книгъ переходитъ отъ полиціи къ университетамъ; наконецъ, и самъ обвинитель приглашается быть осмотрительнѣе, такъ-какъ, въ случаѣ несправедливаго обвиненія, онъ отвѣчаетъ передъ судомъ. Но проекту Новосильцева не суждено было перейти въ практику, хотя соображенія, выставленныя противъ него, показываютъ, что и противоположное мнѣніе руководствовалось отнюдь не враждебнымъ чувствомъ къ литературѣ. Озерецковскій и Фусъ—также члены главнаго правленія училищъ,—которымъ предоставлено было окончательное рѣшеніе вопроса: какой цензурный порядокъ болѣе соотвѣтствуетъ нашей странѣ, нашли, что учрежденіе предварительной цензуры будетъ цѣлесообразнѣе, во-первыхъ, потому что «предохранитъ совершенно общество отъ злоупотребленія свободой слова», а во-вторыхъ потому, что «предохранитъ самую литературу отъ давленія пристрастныхъ и некомпетентныхъ судовъ». На 4-й пунктъ Новосильцевскихъ предложеній Озерецковскій и Фусъ возражаютъ

такимъ образомъ: «великое неудобство было бы предавать авторовъ обыкновенному суду; но чрезвычайно затруднителенъ также и выборъ посредниковъ, вполнѣ способныхъ оцѣнить степень виновности писателя, проникнутыхъ истинно либеральными мыслями и чуждыхъ пристрастія и всякаго рода предразсудковъ. Какъ бы ни разграничивали преступленія и постепенность наказаній,—тонкость и неуловимость оттѣнковъ въ нарушеніи закона, различіе въ воззрѣніи и требовательности судей, способъ толкованія намековъ и мѣстъ, имѣющихъ двоякій смыслъ и т. п., дѣлаютъ въ высшей степени затруднительнымъ приговоръ надъ книгами и авторами». Съ другой стороны, Озерецковскій и Фусъ не скрывали неудобствъ и стѣсненій предварительной цензуры: «сочиненіе — говорили они — исполненное полезнѣйшихъ истинъ, но поражающихъ своею новизною и смѣлостью, можетъ подвергнуться запрещенію мнительнаго и робкаго цензора». Но чтобы оградить литературу отъ такой робости оффиціальныхъ ея стражей, они считали достаточнымъ составить «подробныя наставленія цензорамъ въ духѣ терпимости и любви къ просвѣщенію».—Эти возраженія, сдѣланныя составителями перваго цензурнаго устава противъ свободной печати, не могутъ быть объясняемы какимъ либо скрытымъ нерасположеніемъ къ литературѣ: напротивъ Фусъ, въ самыя горькія времена цензурнаго террора, былъ единственнымъ, хотя и не особенно энергическимъ защитникомъ русской печати. Вѣрнѣе думать, что оба члена главнаго правленія училищъ желали пользы литературѣ и въ самомъ дѣлѣ смущались и отступали передъ мыслью — подвергать авторовъ уголовной

отвѣтственности по нашимъ строгимъ законамъ. Ихъ замѣчаніе о невозможности учредить правильный судъ надъ литературою совершенно справедливо въ томъ отношеніи, что духъ, т.-е. направленіе книги—преслѣдованіе котораго не устранялось проектомъ Новосильцева—дѣйствительно не подлежитъ судебной юрисдикціи, и тутъ всегда пойдутъ въ ходъ чисто личныя, произвольныя мнѣнія судей. Направленіе сочиненія есть то же, что физіономія у человѣка; возможно ли судить кого нибудь за физіономію? Другое дѣло—тѣ простые, матеріальные факты (какъ напр. клевета, вредящая лично человѣку, призывъ къ употребленію физической силы и т. п.), которые легко поддаются судебному опредѣленію и не требуютъ для себя особаго уголовнаго кодекса. Но нетрудно доказать, что такимъ простымъ дѣломъ не захотѣлъ бы ограничиваться нашъ прежній судъ, если ужь имъ не ограничивается и нынѣшній. Способъ толкованія намековъ и мѣстъ, имѣющихъ двоякій смыслъ,—тотъ способъ, котораго въ особенности боялись Озерецковскій и Фусъ,—могъ бы повредить немало только что становившейся на ноги литературѣ. Къ чести перваго цензурнаго устава слѣдуетъ замѣтить, что это выискиваніе преступнаго смысла было строго осуждено имъ. «Цензура — гласилъ 21-й параграфъ этого устава — въ запрещеніи печатанія и пропуска книгъ и сочиненій (періодическихъ) руководствуется благоразумнымъ снисхожденіемъ, удаляясь всякаго пристрастнаго толкованія сочиненій или мѣстъ въ оныхъ, которыя по какимъ либо мнимымъ причинамъ кажутся подлежащими запрещенію. Когда мѣсто, подверженное сомнѣнію, имѣетъ двоякій

смыслъ, въ такомъ случаѣ лучше истолковать оное выгоднѣйшимъ для сочинителя образомъ, нежели его преслѣдовать». Либеральное направленіе составителей устава всего яснѣе видно изъ ихъ доклада объ учрежденіи цензуры. «Разумная свобода книгопечатанія—читаемъ мы въ проектѣ, доклада, написанномъ рукою самого Фуса—обѣщаетъ слѣдствія благія и прочныя; злоупотребленіе же ея приноситъ вредъ только случайный и скоропреходящій. Поэтому нельзя не сожалѣть, что правительства, самыя либеральныя по своимъ принципамъ, находятся иногда въ необходимости ограничивать свободу слова, побуждаясь къ тому примѣромъ, стеченіемъ обстоятельствъ, неотразимымъ вліяніемъ духа времени. Сожалѣніе усиливается при мысли, что такое ограниченіе трудно удержать въ надлежащихъ предѣлахъ, и что оно, будучи доведено до крайности, становится положительно вреднымъ. Неоспоримо, что строгость цензуры всегда влечетъ за собой пагубныя послѣдствія: истребляетъ искренность, подавляетъ умы и, погашая священный огонь любви къ истинѣ, задерживаетъ развитіе просвѣщенія. Неоспоримо и то, что свобода мыслить и писать есть одно изъ сильнѣйшихъ средствъ къ возвышенію народнаго духа, и что даже свободное высказываніе ложной мысли ведетъ только къ бо̀льшему торжеству истины: едва заблужденіе отважится заговорить во всеуслышаніе, множество умовъ готово будетъ вступить съ нимъ въ гибельную для него борьбу. Наконецъ, нѣтъ сомнѣнія, что истиннаго успѣха въ просвѣщеніи, прямаго и прочнаго стремленія къ достижимому для человѣчества со-

вершенству можно ожидать только тамъ, гдѣ безпрепятственное употребленіе всѣхъ душевныхъ силъ даетъ свободу умамъ, гдѣ дозволяется открыто разсуждать о важнѣйшихъ интересахъ человѣчества, объ истинахъ, наиболѣе дорогихъ для человѣка и гражданина». Такимъ образомъ, предварительная цензура допускалась съ сожалѣніемъ, какъ необходимое зло, размѣры котораго должны быть, по возможности, ограничены. *) Цензурный уставъ, вытекшій изъ такихъ прецедентовъ, естественно отразилъ на себѣ, благопріятное для литературы, настроеніе правительства. «Скромное и благоразумное изслѣдованіе всякой истины, относящейся до вѣры, человѣчества,—сказано въ уставѣ—не только не подлежитъ и самой умѣренной строгости цензуры, но пользуется совершенной свободой печати, возвышающей успѣхи просвѣщенія». Для боязливыхъ цензоровъ существовало вышеприведенное правило о толкованіи сомнительныхъ мѣстъ. Словомъ, въ уставѣ нѣтъ никакого желанія поймать и сократить всякій порывъ свободной мысли, и, руководясь имъ добросовѣстно, можно было отчасти замѣнить для литературы полную свободу книгопечатанія. На первыхъ порахъ дѣло поведено было, дѣйствительно, на широкихъ основаніяхъ, и русскіе журналы, расплодившіеся во множествѣ, получили право и возможность касаться такихъ предметовъ, о которыхъ они никогда не говорили прежде. Толки объ освобожденіи крестьянъ, о гласномъ судѣ, о конституціи, наконецъ, даже о вредѣ предварительной цензуры, которая, несмотря на свою

*) Матер. для истор. просвѣщ., стр. 13—17.

снисходительность, не удовлетворяла нѣкоторыхъ писателей—все это стало появляться на страницахъ нашихъ періодическихъ изданій, возбуждая участіе и вызывая различныя мнѣнія въ публикѣ. Между заявленіями тогдашнихъ «неумѣренныхъ» прогрессистовъ слышались сдерживающіе голоса умѣренной партіи; раздавалось по временамъ и злобное, но покуда безвредное шипѣніе враговъ просвѣщенія и политическаго развитія. Всѣ оттѣнки общественныхъ направленій были добросовѣстно представлены прессою, съ преобладаніемъ, конечно, либеральнаго элемента, и правительству не предстояло особеннаго труда соразмѣрять свои дѣйствія съ требованіями той или другой стороны, не подавляя самаго выраженія этихъ требованій и мнѣній. Но, къ сожалѣнію, принципъ непосредственной опеки надъ народной жизнью и канцелярскаго управленія ею такъ проникъ въ сердце нашей администраціи, что она, видя быстрое развитіе общественной самодѣятельности, отнеслась къ нему не съ сочувствіемъ, какъ бы слѣдовало, но сначала съ недовѣріемъ, а потомъ и съ явнымъ неудовольствіемъ. Сообразно съ этимъ измѣнялось и направленіе въ цензурѣ; надъ нею начало сбываться предсказаніе Фуса, что ограниченіе, наложенное на литературу, «трудно удержать въ надлежащихъ предѣлахъ». Административная машина такъ устроена, что малѣйшее давленіе сверху сейчасъ же отражается въ низу іерархической лѣстницы: какъ бы ни былъ лично либераленъ и просвѣщенъ отдѣльный цензоръ, онъ не можетъ устоять противъ этого давленія, и, дорожа своимъ мѣстомъ, охотно или неохотно подчиняется общему лозунгу. Покуда государь сочувствовалъ свободѣ мысли, бю-

рократическая опека дѣлала ей значительныя уступки; но вотъ рѣзкая перемѣна произошла въ самомъ Александрѣ, и онъ отвернулся, съ какою-то грустью и неудовлетвореннымъ чувствомъ, отъ своихъ прежнихъ идеаловъ и задушевныхъ мечтаній, сохраняя, однако, въ душѣ ихъ слабые слѣды. «Привязанность — по наблюденію Шишкова—или какъ бы нѣкая страсть его къ прежнимъ своимъ дѣяніямъ и образу мыслей, не взирая на силу опытовъ и убѣжденій, не могли въ немъ истребиться, такъ что, казалось, онъ, самъ съ собою борясь, увлекался поперемѣнно то тѣми, то другими мыслями *). Здѣсь коренится та двойственность въ политикѣ, которая отмѣчаетъ собой вторую половину царствованія Александра. Эта же двойственность отразилась и въ положеніи русской литературы.

III.

При измѣнившихся политическихъ обстоятельствахъ цензурный уставъ 1804 г. перестал удовлетворять требованіямъ правительства, и явилась мысль—основать наблюденіе за литературою на новыхъ реакціонныхъ началахъ, которыя уже врывались широкой струей въ нашу внутреннюю жизнь. Съ этою цѣлью, въ средѣ главнаго правленія училищъ, образовался особый комитетъ, который, начавъ свои дѣйствія въ іюнѣ 1820 г.,



*) Записки А. С. Шишкова, стр. 111.

выработалъ проектъ устава, въ окончательной редакціи, въ маѣ 1823 г. Въ составленіи новаго устава принялъ дѣятельное участіе знаменитый Магницкій, и одно это имя, столь памятное въ лѣтописяхъ русскаго просвѣщенія, уже достаточно ручается за угрожающій смыслъ цѣлаго законодательнаго акта. Дѣло началось съ того, что Магницкій изложилъ предварительно, въ особой запискѣ, свое мнѣніе о цензурѣ вообще и о началахъ, на которыхъ она должна быть устроена въ Россіи, а затѣмъ, принявъ въ соображеніе кое-какія (весьма немногія) замѣчанія своихъ сочленовъ, представилъ проектъ новаго устава и секретной инструкціи цензурному комитету. Какъ самый уставъ, такъ, въ особенности, инструкція—предназначались спеціально для того, чтобы противодѣйствовать духу времени, предупреждать «всѣ его уловки и извороты», насколько обнаружатся они въ отдѣльныхъ книгахъ и въ журнальныхъ статьяхъ. Пояснительная записка, предшествовавшая, какъ мы сказали, самому уставу, состояла изъ четырехъ раздѣловъ. Вотъ какимъ путемъ приходилъ Магницкій къ сознанію необходимости усилить у насъ строгость цензуры.

Въ первомъ раздѣлѣ записки мы находимъ краткое обозрѣніе происхожденія и устройства цензурныхъ установленій въ Европѣ. Здѣсь авторъ, коснувшись вкратцѣ положенія древнихъ римскихъ цензоровъ, обязанныхъ наказывать «преступленія, гражданскимъ правосудіемъ недосягаемыя», говоритъ, что въ христіанскомъ обществѣ учрежденіе это оказалось, сначала, совершенно излишнимъ, что̀ и доказывается исторіей первыхъ вѣковъ христіанства. «Но — продолжаетъ онъ—когда вѣра ослабла, когда наконецъ сдѣ-

лялась она въ массѣ европейскихъ народовъ, въ лицахъ и сословіяхъ, ими управляющихъ, нѣкоторымъ только званіемъ, тогда старались замѣнить и ее, и цензоровъ римскихъ (!!) такъ-называемой честью и даже обществомъ, исключительно сію честь ограждавшимъ (рыцари). Но и отъ него вскорѣ остались только нѣкоторыя права и наименованія, т.-е. дворянство и ордены кавалерскіе». Не стоитъ опровергать это невѣжественное мнѣніе: всѣ привыкли думать, что эпоха рыцарства,—монашескихъ орденовъ и крестовыхъ походовъ,—была временемъ наивысшаго развитія религіозныхъ инстинктовъ, а по словамъ Магницкаго выходило, что въ это-то именно время, когда люди жертвовали и своей жизнью, и своимъ достояніемъ, во имя отвлеченныхъ христіанскихъ идеаловъ, — религія «ослабла,» и ее пришлось поддерживать искусственными мѣрами. «Между тѣмъ — нашептывалъ дальше лукавый ренегатъ — люди, управлявшіе народами, увидѣли, что развратъ сердца и мысли, не насыщаясь собственными порочными удовольствіями, находитъ наслажденіе въ распространеніи своего круга и въ заразѣ нетолько современниковъ, но и будущихъ поколѣній (а признано всѣми, и тѣми даже, кои отвергали ученіе евангельское, что государства на одной только нравственности могутъ стоять надежно); то и старались изъ развалинъ Рима воскресить цензоровъ, переодѣвъ ихъ прилично новѣйшему образу правленій. Установлены цензоры для удержанія вредныхъ вѣрѣ, законной власти и нравственности книгъ». Такимъ образомъ возникла цензура, въ до-революціонный періодъ, во всѣхъ европейскихъ государствахъ. Исключеніе составляли только немногія государства, о которыхъ Магницкій произносилъ

самый нелестный приговоръ. Въ Швейцаріи, напримѣръ,—конечно, не безъ участія бѣсовской силы, которой объяснялись въ системѣ нашихъ изувѣровъ міровыя событія—«всѣ безбожныя книги, запрещенныя во Франціи, могли невозбранно появляться, благодаря свободѣ книгопечатанія»; въ Даніи же предварительная цензура отмѣнена извѣстнымъ министромъ Струэнзе, «самовластно управлявшимъ молодымъ государемъ». (Нельзя же было не кольнуть, при сей вѣрной оказіи, либеральнаго министра, тѣмъ болѣе, что гнусный намекъ этотъ могъ относиться и къ нѣкоторымъ русскимъ дѣятелямъ въ началѣ царствованія Александра). Тѣмъ не менѣе—присовокупляетъ Магницкій, желая ослабить значеніе приводимыхъ фактовъ — «въ Даніи и въ Англіи свобода книгопечатанія гораздо строже цензуры, ибо подвергаетъ сочинителя уголовному суду, и когда, напримѣръ, кто напечатаетъ что либо оскорбительное противъ короля, его судятъ въ оскорбленіи величества и, слѣдовательно, подвергаютъ смерти». Во второмъ раздѣлѣ записки авторъ переходитъ къ Россіи и, разсказавъ вкратцѣ исторію цензуры съ 1783 г., говоритъ въ заключеніе, что правительство наше сочло нужнымъ, «сообразуясь съ опаснымъ движеніемъ умовъ въ Европѣ, обозрѣть предметъ цензуры во всей его обширности и сдѣлать для него установленія, сообразнѣйшія прежнихъ съ обстоятельствами и временемъ». Третій отдѣлъ посвященъ разсмотрѣнію того переворота въ образѣ мыслей, который произошелъ въ Европѣ за послѣдніе годы и отразился у насъ, по увѣренію Магницкаго. Здѣсь встрѣчаются пространныя разсужденія въ такомъ родѣ: «тотъ духъ, который скрывался у Вольтера и Руссо подъ скромнымъ плащемъ филантропіи, у Робеспьера подъ шапкою свободы, у

Бонапарта подъ трехцвѣтнымъ перомъ консула и наконецъ подъ короною императора,—есть тотъ самый духъ, который нынѣ, съ трактатами философіи и хартіями конституцій въ рукѣ, поставилъ престолъ свой на западѣ и хочетъ быть равенъ Богу». Наконецъ, въ четвертомъ и послѣднемъ отдѣлѣ раскрываются главныя начала, на которыхъ должна быть учреждена цензура въ Россіи. Эти начала суть слѣдующія: «1) Всякое сочиненіе, въ которомъ прямо или косвенно отвергается, ослабляется или представляется сомнительнымъ ученіе откровенія, отвергать и запрещать безъ пощады. 2) Всякое сочиненіе, нетолько возмутительное противъ властей предержащихъ, но и ослабляющее, въ какомъ-либо отношеніи, должное къ нимъ почтеніе, запрещать. 3) Всякое сочиненіе, заключающее въ себѣ какой либо духъ сектаторства или смѣшивающее чистое ученіе вѣры евангельской съ древними подложными ученіями, либо съ такъ-называемой магіей, кабалистикой и масонствомъ — запрещать. 4) Запрещать равнымъ образомъ всѣ тѣ сочиненія, въ коихъ своевольство разума человѣческаго усиливается разъяснить и доказать философски недоступныя для него таинства вѣры. 5) Запрещать все противное добрымъ нравамъ, благопристойности и свѣтскимъ приличіямъ, чести народной и личной». Съ особенной строгостью относился Магницкій къ медицинѣ и вообще къ естественнымъ наукамъ, и въ этомъ случаѣ предупредилъ во многомъ нашихъ современныхъ противниковъ реализма. «Въ настоящее время — писалъ онъ — когда науки математическія и даже географія несутъ часто на себѣ отпечатокъ невѣрія, могутъ ли не подлежать строжайшему надзору творенія медицинскія, въ коихъ разсужде-

нія о дѣйствіяхъ души на органы тѣлесные и о возбужденіи въ тѣлѣ различныхъ страстей подаютъ обильные способы къ утвержденію матеріализма самымъ косвеннымъ и тонкимъ образомъ». Въ томъ же отдѣлѣ предполагается разграничить, ясно и положительно, «часто смѣшиваемую цензуру министерства просвѣщенія и министерства полиціи». Дѣйствіе первой цензуры — по мнѣнію автора записки — есть нравственное и ученое, дѣйствіе второй—только вспомогательное и внѣшнее, а потому министерство полиціи и должно ограничиться: 1) надзоромъ за тѣмъ, чтобы книги не печатались и не продавались безъ разрѣшенія цензуры, и 2) просмотромъ афишъ и другаго рода публичныхъ объявленій. Эти руководящія начала, изложенныя Магницкимъ въ его запискѣ, вызвали нѣсколько замѣчаній со стороны членовъ ученаго комитета. Одинъ изъ нихъ (академикъ Фусъ) вступился за математику, обвиненную въ духѣ невѣрія, и счелъ нужнымъ—вѣроятно для избавленія себя отъ какихъ нибудь заглазныхъ нареканій—засвидѣтельствовать тутъ же, что онъ, «занимаясь болѣе пятидесяти лѣтъ математикою, перечиталъ нѣсколько тысячъ математическихъ книгъ, но вѣра его осталась непоколебимою». Но другой членъ, гр. Лаваль, до-того вошелъ во вкусъ инквизиціонныхъ подозрѣній, что предложилъ внести въ уставъ особый параграфъ, запрещающій «всякія колкія осужденія правительствъ и государей, находящихся съ нашимъ дворомъ въ дружествѣ, союзѣ или родствѣ» и, кромѣ того, посовѣтовалъ запретить во всѣхъ журналахъ, за исключеніемъ двухъ или трехъ, печатаніе и оцѣнку политическихъ событій. Вскорѣ послѣ того Магницкій, поощренный сочувствіемъ большинства своихъ сослуживцевъ, представилъ

самый проектъ устава и секретную инструкцію для руководства цензурнымъ комитетамъ. Необходимость подобной инструкціи объяснялась, по его словамъ, тѣмъ, что «невозможно выразить краткими положеніями и слогомъ закона всѣ подробности, для руководства цензурнаго комитета нужныя», а между тѣмъ цензорамъ полезно знать «начала, послужившія основаніемъ новому уставу о цензурѣ». Это назначеніе — обнаруживать сокровенныя мысли и намѣренія законодателей—инструкція исполняетъ превосходно: въ ней, дѣйствительно, отражается, какъ въ фокусѣ, тотъ печальный моментъ нашей государственной жизни, когда не одна какая нибудь наука, не та или другая личность, а вообще человѣческій интеллектъ, съ его естественнымъ стремленіемъ къ познанію—въ наукѣ—и къ усовершенствованіямъ—въ общественной жизни—былъ заподозрѣнъ въ попыткѣ ниспровергнуть до корня всякій гражданскій порядокъ. «Съ седьмаго надесять вѣка—гласитъ инструкція — духъ времени явно возсталъ въ Европѣ на Бога ученіями матеріализма, потомъ адскими поруганіями надъ св. библіею и наконецъ отверженіемъ искупителя и личнымъ (?) на него остервененіемъ. Тогда явились первыя разрушительныя начала теорій права естественнаго. (Это право, дававшее возможность выводить политическія формы изъ нормальныхъ условій человѣческаго общежитія, помимо всѣхъ метафизическихъ построеній, вызывало противъ себя всю злобу Магницкаго). За ними послѣдовало во Франціи низверженіе алтарей христовыхъ и законныхъ властей. Нынѣ, когда внѣшніе враги утихли, системы невѣрія, дотолѣ Англію и Францію только обтекавшія, со всею хитростью духа злобы явились подъ новою

личиною въ Германіи. Безъ открытаго уже опроверженія библіи, въ молчаніи объ искупителѣ, подъ именемъ чистаго разума, въ совершеннѣйшихъ противъ прежняго системахъ наукъ философскихъ, естественныхъ, историческихъ, и въ произведеніяхъ изящной словесности, разливается нынѣ ядъ опаснѣйшаго всѣхъ прежнихъ временъ невѣрія. Подобно новому Пилату, разумъ человѣческій, со всею правильностью умозрительныхъ формъ своихъ, осуждаетъ и предаетъ на пропятіе богочеловѣка». Противъ этого-то духа времени, «якобы» охватывающаго собой всѣ рѣшительно проявленія мыслящей силы, и должна быть направлена дѣятельность цензурнаго комитета. Замѣчательно, что, по смыслу этой инструкціи, цензоръ уже перестаетъ быть чиновникомъ, призваннымъ къ охраненію закона и ограниченнымъ въ своей дѣятельности извѣстными легальными формами:—нѣтъ! цензурный комитетъ рисовался Магницкому въ образѣ инквизиціоннаго трибунала, который не только охраняетъ религію и гражданскій порядокъ, но самъ, во всеоружіи власти и по непосредственному «благословенію господнему», нападаетъ на ихъ мнимыхъ или дѣйствительныхъ враговъ и одерживаетъ побѣду тѣмъ успѣшнѣе, что противная сторона совершенно лишена всякихъ способовъ къ защитѣ. Законъ, какъ точное указаніе дозволенной границы, пригодное и для нападенія, и для защиты, не долженъ отнынѣ стѣснять служебную задачу цензоровъ, и пресловутая инструкція выражается на этотъ счетъ съ такимъ поразительнымъ цинизмомъ, который былъ бы невозможенъ для обнародованнаго правительствомъ документа. Въ ней прямо говорится, что къ запрещенію книги всегда можно найти предлогъ — если не въ чемъ другомъ,

то въ неисправности слога и т. п. Явный смыслъ фразы тоже нисколько не ограждаетъ авторовъ. Къ числу книгъ, порицающихъ администрацію и правительство—предусмотрительно замѣчаетъ инструкція—«можно отнести сочиненія, въ которыхъ хотя бы и не заключалось явной хулы на настоящій образъ нашего правительства, но подразумѣвалась бы оная въ излишнихъ похвалахъ какимъ-либо конституціямъ, силою народа и войскъ у законныхъ государей исторгнутымъ». Изученіе исторіи, какъ науки, значительно затруднялось запрещеніемъ книгъ, въ которыхъ порицаются особы отечественныхъ государей, въ Бозѣ почивающихъ. Противъ этого запрещенія, выраженнаго притомъ въ неопредѣленныхъ словахъ, возсталъ даже гр. Лаваль, хотя онъ относился сочувственно къ основнымъ началамъ инструкціи и предложилъ,—какъ мы видѣли,—внести въ уставъ особый пунктъ, запрещающій колкія «осужденія правительствъ и государей, находящихся съ нашимъ дворомъ въ дружествѣ». Но запретить такое осужденіе правительственныхъ лицъ возможно было, по его мнѣнію, только въ настоящемъ; что же касается до прошедшаго времени, то это было бы — «все равно, что запретить изученіе исторіи, сего верховнаго судилища, на которомъ разбираются добрыя и худыя дѣла: ни одна историческая книга во Франціи не умолчала ни о жестокостяхъ Людовика XI, ни о фанатизмѣ Карла IX, стрѣлявшаго въ своихъ подданныхъ — протестантовъ; во всѣхъ историческихъ запискахъ того времени ясно изображено, какимъ образомъ Марія Медичи заставляла партизановъ своихъ дѣйствовать для вооруженія руки Равальяка противъ Генриха IV». Но Лаваль

могъ утѣшиться и тѣмъ, что его мысль о вредѣ политическихъ разсужденій въ русскихъ журналахъ не была пропущена Магницкимъ мимо ушей. «Хотя особое будетъ сдѣлано распоряженіе — говорилось въ инструкціи — въ разсужденіи того, чтобы всѣ политическія вѣдомости почерпали сообщаемыя ими заграничныя извѣстія изъ одного оффиціальнаго источника; но комитету, и за сею мѣрою, наблюсти должно, чтобы ничто противное уставу въ нравственномъ отношеніи появиться въ публичныхъ листахъ не могло. Таковъ, напримѣръ, процессъ англійской королевы. Краткое извѣстіе о немъ могло быть напечатано, но подробности и слова ея обвинителей, изъ почтенія къ высокости ея сана, изъ уваженія даже къ ея полу и къ добрымъ нравамъ, должны были бы, по правиламъ нынѣ изданнаго устава, быть пройдены въ молчаніи». Направленіе русской литературы представлялось Магницкому въ такой степени рѣзкимъ и враждебнымъ правительству, что онъ счелъ нужнымъ подмалевать и пустить въ дѣло тотъ, никогда не употреблявшійся, параграфъ прежняго устава, по которому цензора обязывались доносить на авторовъ сочиненій, явно возмутительныхъ, отвергающихъ бытіе Бога, оскорбляющихъ верховную власть и т. п. Въ передѣлкѣ Магницкаго, этотъ параграфъ принялъ такую форму, болѣе удобную для преслѣдованія личности негласнымъ путемъ: «Извѣщеніе министра (просвѣщенія) о сочинителѣ о п а с н о й книги (самое выраженіе: «опасная книга» уже крайне эластично) должно быть учиняемо немедленно и тайно, дабы, до сообщенія онаго министру внутреннихъ дѣлъ, не могъ онъ укрыться отъ полиціи и закона. Посему каждый цензоръ, не ожидая въ сихъ случаяхъ засѣданія

комитета, остановленную рукопись съ своими примѣчаніями обязанъ представить министру духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія. Въ первомъ засѣданіи комитета долженъ онъ объявить сіе собранію, которое до разрѣшенія и хранитъ дѣло въ тайнѣ». Исполненіе всѣхъ этихъ обязанностей называлось въ инструкціи — «служеніемъ Царству Божію по прямому разумѣнію и по чистой совѣсти, вѣрою освѣщаемымъ»; сами исполнители должны были смотрѣть на себя, какъ на «стражей, охраняющихъ вѣру Христову, нравы отечественные и самый языкъ нашъ, не оскверненный еще ни богохуленіями, ни разрушительными воплями противъ власти царской, ни нечистотами разврата и сладострастія». Одновременно съ инструкціей былъ представленъ и проектъ устава, проникнутый, конечно, тѣмъ же духомъ нетерпимости и вражды къ просвѣщенію. Ни въ комъ изъ членовъ комитета эти проекты не возбудили такого теплаго участія, какъ въ извѣстномъ сподвижникѣ Магницкаго—Руничѣ. Этотъ послѣдній нашелъ ихъ вполнѣ цѣлесообразными, но для вящаго усовершенствованія совѣтовалъ распространить списокъ книгъ, осуждаемыхъ цензурою, нѣсколькими новыми подраздѣленіями. Такъ, напримѣръ, по его мнѣнію, сюда должны быть отнесены: 1) «книги, какого бы рода ни были, не ведущія къ истинной высокой цѣли — къ водворенію въ составѣ общества постояннаго и спасительнаго согласія между вѣрою, вѣдѣніемъ и законною властью; 2) книги, въ коихъ описаны частныя видѣнія, откровенія, внутреннія ощущенія, частныя и общія прорицанія, и всякаго рода сочиненія, за вдохновенныя выдаваемыя; 3) книги о нравственной философіи и умозрительномъ законода-

тельствѣ (то-есть естественномъ правѣ), въ коихъ **отдѣляется нравственность отъ вѣры**» (подчеркнутая фраза буквально внесена Магницкимъ въ новый уставъ, несмотря на свой до-нельзя туманный смыслъ) и пр. и пр. Къ книгамъ естественно-научнаго содержанія, и безъ того осужденнымъ Магницкимъ,—по мнѣнію Рунича,—слѣдовало еще прибавить: «сочиненія, называемыя историческими, философическими и филологическими, безъ всякой связи и цѣли представляющія безпорядочный сборъ матерій, умствованій и умозрѣній, противныхъ не только евангельскому ученію, но и здравому смыслу». (??) Откровенный Руничъ, не видѣвшій никакой надобности церемониться съ общественнымъ мнѣніемъ, потребовалъ даже, чтобы первые пункты его запретительнаго реэстра были введены не въ инструкцію, а въ самый уставъ; «потому что уставъ—говорилъ онъ—какъ коренное законоположеніе, не подлежитъ измѣненіямъ, инструкція же, напротивъ того, по обстоятельствамъ и духу времени, можетъ онымъ подвергнуться; по наименованію же секретной и не дойдетъ до всеобщаго свѣдѣнія». А ему бы хотѣлось увѣковѣчить свою выдумку, застраховать ее отъ всякихъ перемѣнъ и безбоязненно «довести до всеобщаго свѣдѣнія» публики, суда которой, по причинамъ понятнымъ, избѣгалъ даже Магницкій! Вмѣстѣ съ проектомъ Магницкаго разсматривался въ комитетѣ другой проектъ цензурнаго устава, составленный Стурдзою. Но такъ-какъ послѣдній уставъ все еще отличался нѣкоторой мягкостью сравнительно съ первымъ, то и рѣшено было оставить его безъ вниманія. Иначе взглянулъ комитетъ на цензурныя правила Царства Польскаго, духъ и цѣль которыхъ были, по его

мнѣнію, совершенно одинаковы съ принятымъ имъ проектомъ. По опредѣленію комитета, изъ этихъ правилъ слѣдовало заимствовать нѣсколько запретительныхъ параграфовъ.

Вопервыхъ, «запрещается всякое сочиненіе, въ которомъ заключаются прямыя или косвенныя нападенія на ту непреложную истину, что монархическій образъ правленія, въ началѣ обществъ, данъ въ примѣръ самимъ Богомъ и составляетъ единое твердое, законное и благотворное ихъ основаніе». Вовторыхъ, «запрещается всякое сочиненіе, прямо или косвенно устремленное противъ той царственной думы, коей ввѣрено свыше охраненіе и благоденствіе всего христіанскаго міра, верховная стража алтарей божіихъ и престоловъ помазанниковъ, и которая наименована союзомъ священнымъ». Подлежало также заимствованію и указаніе тѣхъ литературныхъ средствъ, «которымъ пользуется нечестивое скопище любителей переворотовъ». Къ числу подобныхъ средствъ цензурный уставъ Царства Польскаго относилъ, между прочимъ: «разсказы, очерки, характеристики, взятые изъ временъ и странъ отдаленныхъ; искусныя и тонкія аллегоріи; искаженныя историческія событія; возмутительныя и по большей части вымышленныя картины, въ которыхъ изображены дѣйствія фанатизма или тираніи; выписки изъ рѣчей, проникнутыхъ революціоннымъ духомъ, искусство ловко напоминать блистательныя явленія въ эпоху народныхъ смутъ и волненій (по этому пункту можно было бы запретить цѣликомъ «Мароу Посадницу» Карамзина, такъ-какъ въ ней «ловко напоминаются блистательныя явленія въ эпоху народныхъ смутъ»); коварное опроверженіе безнравственныхъ идей, посредствомъ котораго онѣ еще

сильнѣе укореняются въ умѣ читателя; лукавые разборы нечестивыхъ сочиненій (сюда можно было подвести самое невинное изложеніе философскихъ и политическихъ системъ, несогласныхъ съ нашею доморощенною политикою и философіей); ложные слухи, распространяемые и дополняемые для смущенія умовъ; остроты и сатирическія выходки, изъ которыхъ секта энциклопедистовъ, предводимая Вольтеромъ, сдѣлала себѣ орудіе противъ началъ здраваго смысла» (?).

IV.

Цензурный уставъ, вышедшій изъ рукъ Магницкаго и дополненный сотрудничествомъ разныхъ друзей русскаго просвѣщенія, естественнымъ образомъ, совмѣстилъ въ себѣ весь «здравый смыслъ» и все благоуханіе тѣхъ «началъ», которыя положены были въ основу оффиціальнаго наблюденія за литературою. Что̀ не попало въ уставъ, то вошло въ инструкцію—конечно, въ болѣе сжатой формѣ (ибо для вмѣщенія всего краснорѣчія Рунича и комп. не хватило бы цѣлаго кодекса), но съ сохраненіемъ существеннаго смысла. Читать между строками и перетолковывать въ худую сторону смыслъ читаемаго—становилось уже прямою обязанностью цензора.

Для политическихъ мнѣній устанавливалась разъ навсегда одна казенная мѣрка, философія замѣнялась теософическими мечтаніями, лишенными почвы и доказательствъ;

даже порядокъ дѣлъ въ союзныхъ государствахъ принимался подъ обязательную защиту русскихъ цензурныхъ комитетовъ. Все это завершалось драконовскими угрозами содержателямъ типографій и книгопродавцамъ. Не вошли въ уставъ только замѣчанія о масонствѣ, сектаторствѣ и «мнимо-вдохновенныхъ» книгахъ, потому что министромъ просвѣщенія все еще былъ князь Голицынъ, извѣстный своей наклонностью къ мистицизму, и невозможно было нападать открыто на предметъ его слабости. Взамѣнъ этого, въ уставъ вошелъ другой параграфъ, навѣянный духомъ библейскихъ обществъ: «всякое твореніе, въ которомъ, подъ предлогомъ защиты или оправданія одной изъ церквей христіанскихъ, порицается другая, яко нарушающее союзъ любви, всѣхъ христіанъ единымъ духомъ во Христѣ связующей, подвергается запрещенію». Роль общей полиціи въ дѣлахъ печати, по одному изъ параграфовъ новаго устава, ограничивалась «наблюденіемъ за непремѣннымъ исполненіемъ» цензурныхъ правилъ; но въ слѣдующемъ затѣмъ параграфѣ роль эта значительно расширялась и, министерство внутреннихъ дѣлъ получало право извлекать изъ продажи «не токмо запрещенныя цензурою или безъ ея одобренія напечатанныя книги, но и книги, до изданія сего устава напечатанныя и противныя его правиламъ». Хотя окончательное запрещеніе такихъ книгъ оставалось все-таки за министерствомъ народнаго просвѣщенія; но тѣмъ не менѣе полиція могла бы, по силѣ этого постановленія, привязаться, каждую минуту, къ книгопродавцу, арестовать любую книгу, какъ «противную правиламъ» новаго устава, и тѣмъ убить окончательно книжную торговлю,

и безъ того мало привлекательную для капитала. Кромѣ того, министерство народнаго просвѣщенія снабжалось неслыханнымъ полномочіемъ—придавать закону обратное дѣйствіе, чтò противорѣчитъ уже самымъ элементарнымъ юридическимъ понятіямъ. Но составители новаго устава смотрѣли на него, какъ пушкинскій Пименъ на свою лѣтопись, то есть какъ на «долгъ, завѣщанный отъ Бога»; оканчивая свои занятія, они выразили надежду, что трудъ ихъ предохранитъ надолго вѣру, правительство и народные нравы отъ преступнаго на нихъ посягательства. Къ счастію для литературы, этому уставу не пришлось дѣйствовать и предохранять отечество въ томъ видѣ, въ какомъ былъ онъ составленъ: внесенный на обсужденіе главнаго правленія училищъ въ 1823 году, онъ былъ задержанъ вслѣдствіе того, что одновременно съ нимъ вырабатывался св. синодомъ новый уставъ духовной цензуры и, по сличеніи ихъ, оказалось, что оба устава касаются, въ нѣкоторыхъ статьяхъ, однихъ и тѣхъ же предметовъ. Поэтому признано необходимымъ распредѣлить болѣе точнымъ образомъ обязанности свѣтской и духовной цензуры *). Дѣло снова затянулось...

Здѣсь стòитъ остановиться и подумать о томъ: насколько своевременны были, особенно въ двадцатыхъ годахъ, суровыя мѣры противъ литературы, предпринятыя нашими бездарными администраторами въ родѣ Магницкаго и Рунича. Припомнимъ, что въ это время, въ нашемъ обществѣ, вслѣдствіе частыхъ и непосредственныхъ сноше-

*) Матер. для истор. русск. просв. Сухомлинова, стр. 82.

ній съ Европою, шла тревожная и открытая борьба старыхъ понятій съ новыми идеями, заносимыми къ намъ съ Запада: жизнь требовала улучшеній; всѣ вопіяли противъ разныхъ стѣснительныхъ порядковъ, и этотъ либеральный протестъ, по признанію Греча, былъ такъ великъ и громогласенъ, что даже ему съ Булгаринымъ приходилось поддѣлываться подъ общій тонъ. Такое напряженное состояніе общества требовало, по возможности, широкой литературной борьбы, въ которой могли бы выясниться какъ хорошія, такъ и дурныя стороны предлагаемыхъ нововведеній:— умѣстно ли было въ эту именно минуту прекратить возможность публичнаго обсужденія вопросовъ, которые у всѣхъ были на языкѣ?! Самые вопросы не исчезали отъ этого, а тревожное состояніе общества усиливалось и, не находя себѣ выраженія и оцѣнки въ литературѣ, порождало тайныя сходки, которыхъ дѣятельность слишкомъ извѣстна и памятна...

Проектъ Магницкаго не погибъ: онъ былъ препровожденъ обратно въ ученый комитетъ, и, уже подъ непосредственнымъ наблюденіемъ новаго министра Шишкова, цензурный уставъ переработанъ и утвержденъ 10 іюня 1826 г. Но литературѣ немного стало легче отъ этой передѣлки: Шишковъ принадлежалъ къ тѣмъ невѣжественнымъ противникамъ либеральныхъ реформъ, которые съ особенной настойчивостью и при каждомъ удобномъ случаѣ указывали на потрясеніе государственныхъ основъ, какъ на неизбѣжное слѣдствіе распространявшагося вольнодумства. Литература и школа—главные проводники вредныхъ идей—требовали, по его мнѣнію, скораго и рѣшительнаго обузданія.

Еще въ 1815 г. Шишковъ два раза читалъ въ государственномъ совѣтѣ свое мнѣніе, въ коемъ развивалась мысль, что «цензура должна быть учреждена на лучшемъ и надежнѣйшемъ основаніи», что безъ этого условія, при старомъ неполномъ и неопредѣленномъ уставѣ, въ издаваемыхъ книгахъ всегда будутъ появляться «умышленныя и неумышленныя худости, служащія къ воспламененію умовъ и къ распространенію заблужденій».

Въ 1822 г., по дѣлу о профессорахъ петербургскаго университета, обвиненныхъ чуть не въ якобинствѣ, за нѣсколько весьма нехитрыхъ мыслей (въ родѣ того, напримѣръ, что «крѣпостное сословіе земледѣльцевъ есть великая преграда для улучшенія земледѣлія») — Шишковъ вспомнилъ свое прежнее мнѣніе и похвастался своею прозорливостью. «Нынѣшняя исторія съ профессорами — писалъ онъ по этому поводу — показываетъ, что я не безъ основанія называлъ сѣмена сіи плодовитыми, и что способы къ искорененію ихъ становятся тѣмъ труднѣе, чѣмъ долѣе росли. Учители, пріучась сами думать и писать обо всемъ свободно, или, лучше сказать, разсуждать и умствовать дерзко, не соображаясь ни съ какими общими правилами, нижѐ съ нравоученіями вѣры, тому же научаютъ и учениковъ своихъ». Средствомъ противъ этого зла, Шишковъ опять выставлялъ «благоразумную и наблюдающую свою должность цензуру». Цензура была, какъ видно, любимымъ конькомъ суроваго славянофила, и ея слабостью готовъ онъ былъ объяснять всякое несчастіе въ государствѣ. Далеко не всѣ профессора писали и печатали свои труды, но и въ ихъ образѣ мыслей оказалась виновною снисходительная цензура. При такомъ рве-

